

«ЦЕПЬ НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕДАНИЯ...»

“Цепь
непрерывного
предания...”



Российский
государственный гуманитарный
университет



*“Цель
непрерывного
предания...”*

Сборник памяти А.Г. Тартаковского

Москва 2004

ББК 63.3(0)я43
Ц40

Составители:
В.А. Мильчина, А.Л. Юрганов

Ответственный редактор
А.Л. Юрганов

Художник Михаил Гуров

ISBN 5-7281-0663-3

© Авторы статей, 2004
© Российский государственный
гуманитарный университет, 2004



А.Г. Тартаковский
1931 – 1999

Содержание

От составителей

9

Кнабе Г.С.

Рождение экзистенциального человека

Перевод глав X–XII девятой книги «Исповеди» Блаженного Августина и некоторые краткие размышления по их поводу

13

Каменский А.Б.

Русское общество в 1740 году

22

Боленко К.Г.

А.С. Шишков и П.А. Зубов: к истории одного назначения

36

Безотосный В.М.

Группировки российских генералов в 1812–1814 годах

48

Киселева Л.Н.

Фаддей Булгарин о наполеоновских войнах: к вопросу о прагматике мемуарного текста

91

Андреев А.Ю.

«Грибоедовская Москва» в документах семейного архива князя И.Д. Щербатова

105

Мильчина В.А.

Франция, 1829 год: два прогноза

140

Мазур Н.Н.

Из истории формирования русской национальной идеологии (первая треть XIX в.)

196

Немзер А.С.

Об «антиисторизме» Лермонтова

251

Долбилов М.Д.

Полезная недостоверность: о критике мемуарных сочинений творцов крестьянской эмансипации

266

Оболенская С.В.

Крестьянские читатели и интеллигентные «просветители» в России конца XIX века

295

Дубровский А.М.

«Table-Talk», или Тетрадь ссыльного

319

Боровикова М.В., Гузаиров Т.Т., Лейбов Р.Г.,

Сморжевских-Смирнова М.А., Фрайман И.Д., Фрайман Т.Н.

Русские мемуары в историко-типологическом освещении: к постановке проблемы

346

Историкам и филологам, изучающим русскую историю и литературу XVIII – первой половины XIX в., не нужно объяснять, кто такой Андрей Григорьевич Тартаковский. Они обращаются к его монографиям «1812 год и русская мемуаристика» (1980), «Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX века. От рукописи к книге» (1991), «Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века» (1997) не для механического расширения библиографии, а потому, что без этих работ понимание исторического и литературного процессов указанного периода останется неточным и неполным.

Андрей Григорьевич Тартаковский родился 27 апреля 1931 г. в семье врачей. В 1955 г. окончил исторический факультет МГУ. Его учителями были крупнейшие специалисты по русской истории С.С. Дмитриев, П.А. Зайончковский. Интерес к русской истории Андрей Григорьевич не потерял даже в годы работы в Институте востоковедения Академии наук СССР, в секторе по изучению Таиланда (на работу, более отвечающую полученному образованию и научным пристрастиям, беспартийного еврея не брали). До тех пор пока ему не удалось перейти в Институт истории СССР, Андрей Григорьевич был вынужден делить свою жизнь на две части: одна, официальная, проходила в стенах Института востоковедения, другая, неофициальная, но зато настоящая – в Исторической библиотеке, где он погружался в материалы по истории Отечественной войны 1812 года. Плодом этого многолетнего труда стала кандидатская диссертация «Русская армейская публицистика Отечественной войны 1812 года», защищенная в Институте исто-

рии СССР в 1965 г. Докторская диссертация «1812 год и русская мемуаристика. Опыт источниковедческого изучения», законченная 20 годами позже, в 1983 г., подводила итог исследованиям в этой же области. Защитил ее Тартаковский только со второго раза и не в родной Москве, а в Ленинграде: в первый раз антисемитски настроенной части ученого совета московского Института истории СССР удалось провалить блестящую работу. Как ни странно, Тартаковский любил вспоминать историю первой, в высшей степени драматичной защиты и рассказывать о ней: он говорил, что эти дни были не только трудными, но и счастливыми. Никогда он не слышал от коллег и друзей столько слов поддержки; история незащищенной докторской оказалась позорной не для «неудачника»-соискателя, а для его гонителей.

Основные вехи научной деятельности Тартаковского перечислить легко: 1956 г. – сотрудник Отдела рукописей библиотеки В.И. Ленина; 1958–1969 гг. – младший научный сотрудник Института востоковедения АН СССР; с 1969 г. – младший, старший, наконец ведущий научный сотрудник Института истории СССР (ныне Институт российской истории). Но это еще не все; кроме того, он – ответственный секретарь оргкомитета всесоюзных источниковедческих конференций (1972–1983), научный редактор библиографической серии «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах» (1984–1989), с 1989 г. – научный руководитель с российской стороны совместного с американскими учеными проекта по подготовке библиографического свода «Мемуаристика российского зарубежья. 1917–1991», член редколлегий декабристской серии «Полярная звезда» и исторического ежегодника «Одиссей», организатор научных чтений памяти Н.Я. Эйдельмана, член ученых советов Государственного музея им. А.С. Пушкина, Государственной публичной исторической библиотеки, действительный член Академии гуманитарных исследований России, почетный член международного Наполеоновского общества (Франция–Канада).

Тартаковский был большим ученым, но, разумеется, не только этим объясняется ощущение нехватки чего-то

важного, которое испытали люди, знавшие Андрея Григорьевича, после его смерти. Андрей Григорьевич был не просто человеком обаятельным, веселым, ценившим общение и умевшим слушать не только себя, но и собеседника. Он был настолько лишен высокомерия и снобизма, что мог воспринять любое рассуждение, любую научную гипотезу, от кого бы она ни исходила, лишь бы оказалась интересной и доказательной. Как и его друзья, к сожалению, тоже ушедшие от нас – Натан Яковлевич Эйдельман и Вадим Эразмович Вацуро, он соединял с исчерпывающим знанием фактического материала, источниковедческой базы умение видеть силовые линии исторического процесса, его главные и неглавные направления, его динамику. Все, кто знал Андрея Григорьевича, лишились с его смертью такого заинтересованного, внимательного и доброжелательного читателя их работ, каких, увы, на свете не так уж много.

Андрей Григорьевич умер 25 сентября 1999 г., не закончив биографию Павла I (о том, какой она должна была быть, можно судить по ее первому наброску – очерку, вошедшему в двухтомник 1997 г. «Романовы. Исторические портреты, 1762–1917»). Император Павел, русская мемуаристика, посвященная Отечественной войне 1812 года, и, шире, русские мемуары XVIII – первой половины XIX в. – вот сфера непосредственных научных интересов Тартаковского. Уже по оглавлению нашего сборника видно, что тематика его гораздо шире. Ни Блаженный Августин, ни С.В. Бахрушин, ни творцы крестьянской эмансипации (герои некоторых статей предлагаемого сборника), безусловно, не фигурировали на страницах работ Тартаковского. Однако, составляя сборник его памяти, мы решили не ограничиваться статьями, посвященными только темам, которыми он занимался. Ведь Андрей Григорьевич был открыт новой информации в самых разных областях исторического, и не только исторического, знания. Среди коллег, за чьим научным творчеством он пристально следил и к которым питал заинтересованную дружескую привязанность, были историки и филологи, медиевисты и специалисты по истории XX в., люди его возраста и совсем молодые. Об этой, не столь уж распространенной, открытости

свидетельствовал, в частности, состав участников Эйдельмановских чтений, которые Тартаковский проводил в течение 10 лет.

Вопрос: Выбирая статьи для сборника, мы прежде всего старались понять, заинтересовал ли бы тот или иной текст (и темой, и исследовательским подходом) Тартаковского? Хочется верить, что он одобрил бы наш выбор.

В.А. Мильчина, А.Л. Юрганов

Рождение экзистенциального человека

Перевод глав X–XII девятой книги «Исповеди»

Блаженного Августина

и некоторые размышления

по их поводу

Глава X

Приближался день, нам неведомый, но Тебе известный, в который предстояло ей¹ расстаться со здешней жизнью, и однажды случилось, как полагаю, не без тайного Твоего промысла, что мы оказались одни, у окна, выходявшего в сад дома, что приютил нас. Было это в Остии, на Тибре, мы отдыхали от тягот долгого переезда и в уединении готовились продолжить свой путь по морю. Беседа наша с глазу на глаз была исполнена сладости необычайной. Забыв о былом и сосредоточившись лишь на грядущем², стремились мы постичь Истину, нам в Тебе явленную, представить себе вечную жизнь, ожидающую святых, – ту, что недоступна ни уху нашему, ни глазу, ни сердцем не представима, и лишь устами сердца собирали мы небесную влагу из Твоего источника – влагу, что несет жизнь, в Тебе обретающуюся, дабы, в меру нам отпущенную утолив жажду, попытаться охватить мыслью столь великие предметы.

И беседа исполнила нас ликующего чувства, с которым не может сравниться никакое плотское наслаждение и никакой зримый свет и рядом с которым жизненные радости не заслуживают не то что сравнения, но даже упоминания. С небывалой силой пережили мы все это, начали малопомалу восходить над миром телесным, а потом и над самим небом, откуда солнце, и луна, и звезды озаряют землю, и восходили все выше и дальше, размышляя, и беседуя, и восхищаясь совершенством дел Твоих, так что вошли всецело в средоточие духа своего, а потом превзошли и его пределы, достигнув тех краев неиссякаемого блаженства, где Ты питаешь Израиль вечною пищей истины и где

жизнь есть сама мудрость, из коей рождается всё – и бывшее, и грядущее. Сама же истина не возникает, но пребывает такою, какой была всегда, и не прейдет, ибо нет для нее ни прошедшего, ни будущего, но одно лишь безусловное бытие. Только оно вечно, а все то, что есть прошедшее или будущее, не вечно. Беседуя таким образом и стараясь исполниться этой истины, мы, как ни напрягали силы свои, смогли лишь едва почувствовать ее близость. Свершая путь души, со вздохом останавливались мы где-то в самом его начале, обреченные снова и снова довольствоваться словами произносимыми, в которых мысль и чувство, едва забрежут, тотчас иссякают, и что же общего в них с Твоим словом, Господи, вечным, никогда не стареющим и обновляющим все, чего ни коснется?

Вот почему продолжали мы беседу свою так: «Если умолкло бы смятение плоти и крови, и прешли бы образы земли, вод и воздуха, смолкли бы небеса и самая душа достигла бы внутреннего безмолвия и вышла за пределы свои, утратив всякий помысел о себе самой, смолкли бы сновидения и грезы, смолк всяк язык и всякий символ утратил бы соответствие свое, если бы отрешился человек вообще от всего, ибо чему бы ни внимал он, все ведь говорит ему: “...не сами мы себя создали, но лишь Тот, кто пребывает вовеки”; если бы смолкло все, и слух наш открылся лишь Тому, кто все сотворил, и Он один заговорил бы, и не через сотворенное Им, но Сам от Себя, и мы услышали бы слово Его, не через язык плоти или голос ангела, не в громе туч или в загадочных прорицаниях, а от Него Самого – от Того, кого мы любим во всем, что Им создано, подобно тому, как сейчас возносимся мы духом в бескрайние выси и мгновенным умозрением взлетаем к пределам той мудрости, что пребывает превыше всего, если дано бы нам было в пределах тех остаться и длиться, забывши вовсе все то, что их недостойно, и одно чистое вдохновение питало бы созерцание наше, жизнь наша стала бы постижением высшего, о чем мы всегда мечтали, и длилась бы вечно, разве не свершилось бы тогда [сказанное в Евангелии]: “Войди в радость господина твоего”? И когда же наступит такое? Не тогда ли, когда все мы воскреснем, хотя и не все останемся в тот час самими собой?».

Так говорил я, хотя, может быть, не совсем точно так и не совсем теми словами. Но Ты ведь знаешь, Господи, что

в самый тот день, когда беседовали мы таким образом, и привлекательность мира сего теряла для нас всякую цену, именно тогда-то она и сказала: «Что до меня, сын мой, мне в этой жизни никакого утешения и радости не осталось. Зачем я еще здесь, что мне тут делать, не знаю. Надежд, что питала я в здешнем мире, нет больше. И лишь одно удерживало меня на этой земле – до своей смерти увидеть тебя настоящим христианином. Сверх меры одарил меня Господь: вижу я, что ты, презрев земные радости, стал рабом Его. Зачем же оставаться мне еще здесь?».

Глава XI

Не припомню ясно, что отвечал я ей. Дней через пять или немного менее начался у нее жар. Она долго болела, а после настал день, когда впала в забытие и мало-помалу перестала узнавать окружающих. Мы сбежались к ложу ее, но вскоре она пришла в себя и, увидев меня и брата, стала настойчиво допытываться: «Где я была?». Поняв, что, удрученные скорбью, мы не в силах отвечать, она сказала: «Здесь и предадите вы вашу мать земле». Я молчал, сдерживая слезы, брат же стал бормотать что-то, де, лучше было бы ей расставаться с жизнью не на чужбине, а в родном краю. Когда она услышала слова его, на лице ее отразился испуг, а в глазах как бы недовольство и несогласие. Повернувшись ко мне, она промолвила: «Ты только послушай, что он говорит!», после же обратилась к нам обоим: «Тело мое оставьте все равно где и меньше всего заботьтесь о нем. Об одном лишь прошу – где бы вы ни случились, вспомните меня пред алтарем Господним». Произнесши просьбу свою в немногих словах, коими еще владела, она замолкла и отдалась болезни, что мучила ее все сильнее. Я же, Боже незримый, размышлял о дарах Твоих, что влагаешь Ты в сердца верующих в Тебя, из них же произрастают плоды красоты несказанной. Я радовался и благодарил Тебя, вспоминая, как горячо заботилась она прежде о похоронах своих и о том, чтобы упокоиться возле могилы мужа. Жизнь они прожили в такой согласии, что ей хотелось, как то свойственно душам человеческим, не сподобившимся божественного дара, не разлучаться с мужем и после смерти, дабы люди кругом помнили, как дано ей было и после всех скитаний за морем лечь рядом с мужем и чтобы родная

земля покрыла прах их. Когда именно полнота благодати Твоей начала вытеснять из сердца ее эти суетные помыслы, я не знал, но лишь радовался и дивился, что так случилось, хотя уже во время беседы нашей у окна я из слов «Зачем же мне оставаться еще здесь?» понял, что она больше не помышляет о смерти на родине. Много времени спустя рассказывали мне, что во время пребывания нашего в Остии она в мое отсутствие, но столь же откровенно, как если бы говорила со мною, беседовала с одним из наших друзей о презрении к земной жизни и о благе смерти. Когда же, удивляясь духовному величию, что даровал Ты этой простой женщине, спрашивали, не страшно ли покидать плоть свою так далеко от родных мест, она отвечала: «...от Бога ничто не далеко, и может ли стать, чтобы не узнал Он меня, когда по скончании веков захочет воскресить?». Вот так на девятый день болезни, на пятьдесят шестом году ее жизни и на тридцать третьем году моей, чистая и исполненная веры душа ее разрешилась от уз телесных.

Глава XII

Я закрыл ей глаза. Невыразимая печаль переполняла меня, но я внимал голосу рассудка, глаза мои как бы сами поглощали слезы, готовые излиться из души, и борьба эта преисполняла меня страданием. Лишь только испустила она последний вздох, сын мой Адеодат зарыдал навзрыд, словно ребенок, так что нам едва удалось успокоить его. При виде детских слез взрослого юноши готов был зарыдать и я, и лишь сила воли и рассудка, подкрепленная благодатною верою, удерживали меня. Негожими и неуместными казались нам вопли и стоны, какими оплакивают умирающих те, кто полагает, будто смерть – бедствие, ибо приходит навечно. Ее же смерть не могли мы считать несчастьем, ибо она и не умерла вовсе, а лишь перешла от жизни временной к жизни вечной. Залогом тому были вся минувшая жизнь ее, вся непреклонная вера в жизнь будущую, все свершенное ею в жизни здешней. И если скорбь все же терзала мое сердце, то разве не от того лишь, что разлучен я был с матерью внезапно и лишен столь милого мне общения с нею навсегда? Утешением мне служили лишь воспоминания о том, как во время последней болезни, тронутая моими непрерывными заботами, называла она меня доб-

рым и верным сыном, повторяла, что никогда не слышала от меня ни единого злого слова. Но Ты знаешь, Творец и Бог мой, как мало значила моя сыновняя преданность в сравнении с бесконечными ее заботами обо мне. Теперь все это уходило. Уходила в прошлое наша неразрывная близость, я как бы утратил половину самого себя, и душа моя была тяжело удручена случившимся.

«Исповедь» Аврелия Августина написана в 400 г. Автор ее преподавал риторику в Карфагене, восстановленном после разрушения его римлянами еще в 146 г. до н. э. Он смолоду увлекался религиозно-философским учением манихеев, позже принял крещение по христианскому обряду в Милане от святого Амвросия, а последние 30 лет был епископом в Гиппоне (Африка). Всю жизнь Августин писал по нескольку страниц в день, оставив бесчисленное количество религиозно-философских сочинений, в том числе в последние свои годы итоговый труд «О граде Божьем», и умер в 430 г. во время осады Гиппона вандалами.

Как далеко все это от нас – полуторатысячелетнее прошлое, Африка, риторические школы, создатель манихейства перс Маний, вандалы... Зачем все это современному человеку? Затем, что он, современный человек, родился там, в гавани Рима Остии, в тот погожий вечер, что описан на приведенных выше страницах.

Блаженный Августин – один из так называемых западных отцов церкви, или, иначе, ранних апологетов христианства наряду с Тертуллианом, Оригеном, Иеронимом. В большинстве своем то были люди, которые противостояли клонившемуся к упадку античному миру. Они страстно отстаивали христианство, которое шло на смену культуре этого мира, но сами еще были пропитаны античной культурой и до тонкости ее знали. В их сочинениях проклятия Риму, язычеству, философии чередуются с пронизательными и глубокими толкованиями сочинений тех же философов и языческих мифов, с экскурсами в историю Рима. В их творчестве запечатлены не только переход от одной грандиозной культурной эпохи к другой, но и живое их сопоставление. В крупнейшей христианской апологии «О граде Божьем» десятки, порой сотни раз цитируются не менее 35 античных авторов. К занятиям философией, которым

Августин оставался предан всю жизнь, его обратил прочитанный еще в юности диалог Цицерона «Гортензий».

Пытаться свести эпоху, школу, творчество мыслителя к единому содержанию, общей идее, формуле – всегда рискованное занятие. Если все же попробовать назвать то самое общее и едва ли не самое главное, с чем сталкивался Августин в наследии античной культуры, что образовывало ее дух и смысл, то придется признать, что таким началом, которым отложилась античность в истории европейского духа, была *интуиция формы*. Внутреннее содержание любого явления, его исходная материя и первичный импульс до воплощения в форму и вне ее воспринимались греками и римлянами как аморфная потенция, низменная и темная. «В сущности, – учил Демокрит, – мы ничего не знаем, ибо истинное в глубинах». И лишь выйдя из темных глубин и отлившись в ясную форму, содержание выявляло свой общественно внятный и потому единственно подлинный смысл. Другими словами, для античного человека все выходило из сферы потенциального бытия в сферу бытия реального, только лишь обретая форму и тем самым эстетическое значение. Интуиция бытия как обретаемой и обретенной формы ощущается в основе высших достижений античного мира и античной культуры – городской организации, возвышающейся над хаосом бескрайнего варварства, закона как единой нормы, царящей над пестротой частных случаев, учения Аристотеля об энтелехии или Цицерона о красноречии. Поэтому и отношения между людьми, их чувства и мысли, их деяния приобретали особое качество подлинности, только облекшись в форму – в слово, приподнятое над жизненной эмпирией, эстетически организованное; только в нем обретали они общественную и эстетическую реальность. Все непосредственное, исполненное живого неупорядоченного чувства входило для античного человека в сферу хаотического и темного, а потому как бы недействительного. Строка Тютчева «Мысль изреченная есть ложь» была бы ему совершенно непонятна. Скорее наоборот: ложь – это неизреченное, т. е. слову неадекватное, непосредственность, невнятица, стон, вопль, смех, пауза. Чтобы понять всю противоположность античного принципа и того строя мыслей и чувств, который забрезжит в сознании Августина и найдет себе выражение, в частности, на

публикуемых страницах, вслушайтесь в заключительные строки такого классического произведения античной литературы, как «Жизнеописание Агриколы» Корнелия Тацита: «Все, что мы любили в Агриколе, все, чем восхищались в нем, должно остаться в памяти людей и действительно останется в ней на вечные времена благодаря славе его деяний; однако многих древних мужей поглотило забвение, как если бы не совершили они ничего благородного и достойного; жизнь же Агриколы сохранится навечно, ибо рассказана и передана потомству». Мысль эта есть и у Вергилия, у Горация, у других поэтов: лишь рассказанное и высказанное, лишь организованное, вычеканенное слово сохраняет мысль и деяния человека, возносит их над всем чисто личным, частным и делает монументальным и вечным.

Христианство принесло в мир новые ценности, новый идеал человека, новые точки отсчета, короче говоря, новую культуру. Но культура эта по-прежнему оставалась культурой слова – молитвы, епископских посланий, полемических или апологетических сочинений, и прежде всего проповедей. Это свое коренное свойство христианство сохранило на многие века. Проповедь оставалась важнейшим элементом богослужения; жизнь церкви регулировалась папскими буллами, и даже ереси высказывали себя в пламенном красноречии Савонаролы или Мастера Экхарта. Слово подчас было самоценным, обладало самодовлеющей магией и далеко не всегда предполагало возможность непосредственного самовыражения человека. Неслучайно тексты молитв были ритуальны, богослужение шло на заведомо непонятном наставе латинском языке, и даже Евангелие было переведено на язык верующих более чем через тысячу лет после его создания. Внутренняя жизнь христианского человека, взгляд его на мир, отношение к Богу отличались неантичной сложностью и духовностью, были отмечены печатью личного переживания, но форма их выражения при всех индивидуальных и временных различиях в принципе и в основе оставалась по-прежнему риторичной. Поэтому христианство такого толка образует органическую составную часть грандиозной культурной эпохи, которую можно назвать *риторической*. Она длилась вплоть до середины XIX в., и в основе ее лежал акт *обращения* к слушателю или к зрителю.

Но глубоко в душе человека, родившегося из кризиса античного мировоззрения, таилась еще одна способность, еще одна потребность в неповторимо личном, внутреннем переживании духовных впечатлений, способность непосредственного, минуя объективность и слово, радостного слияния с душой ближнего, с миром, с красотой и истиной, в нем заложенной. Этот регистр духовной жизни восторжествует, станет основой культуры и искусства лишь в XIX в., когда исчерпает себя риторическая эра и перестанут быть господствующей нормой возвышенное и потому несколько отчужденное ораторское слово, тщательно выстроенная проповедь, парящая над национальной пестротой житейского общения единая и вечная латынь. Лишь тогда культура в целом потребует для своего выражения повсеместно начать диалог между вечным бытием мира и осознавшей себя в своей неповторимости экзистенцией каждого.

Однако в общей эстафете культуры эти два регистра не только сменяют друг друга, но подчас и обнаруживаются рядом, когда сквозь всевластие первого нет-нет да и заявит о себе второй – потребность из глубины «сердцу высказать себя». Августин был первым, в чьей душе и творчестве с такой силой реализовались эти заложенные в послеполитическом человеке потребность и способность. Он был первым, кто попытался *сказать о невысказываемом*. Текст «Исповеди» вообще и приводимых ее глав в частности есть текст *обращенный*. Он обращен к высшему слушателю, к Богу. По убеждению Августина, Бог и так все знает и понимает и, следовательно, обращение к нему не требует слов (мысль, которая ляжет в основу мистического христианства, особенно восточного). Но, прилежный читатель Аристотеля и Цицерона, Августин знает, что он неотделим от мира и должен *высказать* себя ему, что есть императив внятности, который противоречит невыразимой глубине неповторимо личного чувства и в то же время настойчиво и постоянно звучит из этой глубины, что форма как живое и актуальное преодоление исходной, темной и подстерегающей бесформенности непосредственного – глубочайший инстинкт культуры и человека, ей принадлежащего. Отсюда – точный и тщательный выбор слов, столь характерный для приводимого отрывка, яркий и живописный образ вселенной, выписанный в первой части главы X, грандиозный услов-

но-вопросительный период, занимающий вторую ее часть, бесконечные цитаты.

Но Августин остро ощутил и то, что прилежному читателю Аристотеля и Цицерона дотоле ощутить дано не было: обреченность, как он пишет, «довольствоваться словами произносимыми, в которых мысль и чувство, едва забрезжив, тотчас иссякают». С большей силой, чем императив самовыражения, ощутил он реальность экзистенциальной глубины, которая *требует* выражения, *требует* формы, но в которой всегда *остаётся* нечто слишком интимное и ценное, чтобы ее обрести, нечто от той субстанции, которая вечно «еще не родилась, Она и музыка и слово, И потому всего живого Ненарушаемая связь». Культура – это не только обретенная форма; это в то же время, как сказал однажды Лотман, «потребность выразить невыразимое» (с равным акцентом на обоих последних словах).

Про все это – та сцена, которая описана на приведенных страницах: осень 386 г. от Рождества Христова, гавань вечного Рима Остия, комната на постоялом дворе, окно в сад, доносящийся шум моря и тихий сосредоточенный разговор сына с умирающей матерью о душе и вечности, об истине и Боге, исполненный чувств, что ищут выразить себя в словах, находят их и в них не вмещаются.

Примечания

¹ Речь идет о Моники, матери Августина.

² Текст «Исповеди» вообще и приводимых глав в частности насыщен цитатами из Священного писания, автором не оговариваемых. Так, данные слова воспроизводят текст III, 13–14 из послания апостола Павла к филиппийцам: «Братия, я не почитаю себя достигшим; я только, *забывая заднее и простираясь вперед*, стремлюсь к цели». Учитывая задачи настоящей публикации, эти цитаты нами переводятся как часть текста Августина без обращения к источнику и без указания на него.

Русское общество в 1740 году

1740 год отмечен в истории России двумя важными политическими событиями. В августе принцесса Брауншвейгская Анна Леопольдовна родила первенца Ивана, который был провозглашен наследником престола, и подданным было велено принести ему присягу. Два месяца спустя, 18 октября 1740 г., умерла императрица Анна Ивановна, и регентом при малолетнем императоре был объявлен герцог Курляндский Бирон, а подданные принесли новую присягу. Поскольку уже через две недели Бирон был свергнут, а еще через год новый переворот возвел на престол Елизавету Петровну, т. е. в короткое время произошел ряд драматических событий, историков всегда интересовали общественные настроения этого времени. Однако источники для его изучения крайне скудны. Как показано А.Г. Тартаковским, русских мемуаров за это время существует очень мало. Примерно так же обстоит дело и с частной перепиской, которая вдобавок и гораздо хуже сохранилась. Лишь к концу столетия с распространением культуры Просвещения она стала одним из важных способов общения и самовыражения. Сведения же в источниках, дошедших до нас, крайне скупы. Так, известный мемуарист М.В. Данилов записал: «В 1740 году государыня Анна Иоанновна скончалась и была великая перемена в правлении: я помню, что три раза был в Чудовом монастыре у присяги»¹.

При отсутствии таких источников в процессе изучения данной проблемы традиционно обращаются к следственным делам Тайной канцелярии о лицах, так или иначе выражавших свое недовольство политическим режимом. Впервые это сделал еще С.М. Соловьев, который в 21-м то-

ме своей «Истории России» привел довольно обширные цитаты из ряда дел, хотя и оставил их почти без комментария². Надо сказать, что и подобных дел относительно немного – около десятка, хотя в общей сложности по ним проходило примерно полсотни человек. Вместе с тем эти дела, на мой взгляд, могут служить источником не только об общественных настроениях, но и шире – о бытовом поведении, ценностных установках, мировосприятии людей того времени. В качестве примера остановлюсь на деле, самом обширном по числу подсудимых, известном в историографии как дело Ханыкова–Аргамакова – по именам главных подозреваемых, хотя всего по этому делу проходили более 25 человек³.

Суть дела заключалась в заговоре ряда гвардейских офицеров против Бирона с целью сместить его и передать власть родителям малолетнего императора Ивана Антоновича – принцессе Анне Лесопольдовне и ее мужу принцу Антону-Ульриху.

Рассматриваемое дело открывается допросом от 23 октября поручика Преображенского полка Петра Максимовича Ханыкова. В день принесения последней присяги он находился в Летнем дворце, по-видимому на карауле, хотя и говорит, что не помнит точно, в каком помещении это происходило и в какое время. И вот, находясь там, он как бы сам себе, но вслух произнес: «...Для чего де так министры зделали, что управление Всероссийской империи мимо Его императорского величества родителей поручили его высочеству герцогу Курляндскому?». Ханыков помнил, что в том же помещении находились «дворцовые лакеи человека два», а также унтер-офицеры, среди которых сержант Нил Акинфов. Вот только «оне те слова слышали ль, не ведает»⁴. Во всяком случае, никакой явной реакции на его высказывание со стороны присутствовавших не последовало. Впрочем, кто-то, видимо, слова Ханыкова все же слышал и донес, ибо иначе его об этом не спрашивали бы в Тайной канцелярии. На вопрос, с каким умыслом он произнес свои возмутительные слова, Ханыков отвечал: «Сии слова говорил он с единой своею простоты, а не с какова злаго умысла»⁵, т. е. по простоте душевной. Можно было бы предположить, что в этой записи следственного дела прорывается живая речь Ханыкова, но это не так. Подобная

формулировка в разных редакциях встречается во многих делах Тайной канцелярии и по частоте употребления конкурирует лишь с утверждением многих клиентов этого учреждения, что «за пьянством» они ничего не помнят. Иначе говоря, мы имеем дело с устойчивой формулой, которой писцы передавали показания об отсутствии злого умысла. Однако стоит вспомнить русскую пословицу «Простота хуже воровства». Следователи Тайной канцелярии ее, конечно, знали, и слова, сказанные «с простоты», ни в коей мере не рассматривались как смягчающие вину.

Два дня спустя после эпизода в Летнем дворце Ханыков приехал на строительство новых казарм полка. Здесь он встретился с сержантом Иваном Анфимовым, о чем тот и показал подробно на допросе. Анфимов командовал работавшими на стройке солдатами. Выслушав рапорт сержанта, Ханыков стал с ним прогуливаться, и при этом разговор зашел о политических событиях. Ханыков сказал: «...что де мы зделали, что государева отца и мать оставили, они де, надеясь на нас, плачютца, а отдали де все государство какому человеку регенту, что де он за человек, лутче бы де до возрасту государева управлять государством отцу его государеву или матери». Обратим внимание, что, говоря «надеясь на нас», Ханыков, по-видимому, подразумевал гвардию, т. е. полагал, что именно от гвардии зависит решение подобных вопросов. Анфимов ответил поручику: «...Это бы де правдивее (справедливее. – А. К.) было». Мы имеем дело с классической для русского сознания оппозицией «правда – справедливость – закон». наших собеседников очевидно волнует не законность правления Бирона, она сомнений не вызывает, а именно справедливость.

Разговор Ханыкова и Аргамачева продолжился. Ханыков упрекал сержанта в том, что унтер-офицеры не выступили против Бирона, особенно в момент построения полка для присяги. Он утверждал, что солдаты настроены против регента, а если бы выступили солдаты, то к ним присоединились бы и офицеры. Сам же Ханыков готов был вывести гренадерскую роту, наверное, ту самую, которая год спустя возвела на престол Елизавету Петровну. Примечательно, что тут же Ханыков, противореча сам себе, заметил, что на самом деле он не знает настроений принцессы Анны – «угодно ль де ей то будет»⁶. На этом разговор о по-

литике и кончился, но Ханыков пригласил Анфимова к себе обедать. Мы не знаем, каковы были отношения этих двух людей до описываемых событий и в какой мере их совместные обеды были делом обычным. Возможно, Ханыков пригласил сержанта в знак доверия к нему. Впрочем, ничего достойного внимания Тайной канцелярии, по словам Анфимова, ни во время обеда, ни после возвращения их обоих на стройку не произошло.

На следующий день, 21 октября, Иван Анфимов отправился в гости к своему сослуживцу, также сержанту Преображенского полка Нилу Акинфиеву. По-видимому, это тот же самый сержант, который упоминается в первом допросе Ханыкова как Акинфов. У Акинфиева Анфимов застал поручика Михаила Аргамакова, который находился в весьма расстроенных чувствах. Анфимов сообщает, что Аргамаков «плакав, говорил: до чего де мы дожили и кака наша жизнь, лучше бы де сам заколол себя, что де мы допускаем до чего, и хотя б де жилы из меня стали тянуть, я де то говорить не перестану». Решимость Аргамакова, как выяснилось позднее, была сугубо напускной. Когда его арестовали и допросили, он показал, что все это говорил «с ветреного своего ума»⁷. При этом жилы из него явно не тянули, хотя в деле имеются сведения, что ему было дано 14 ударов плетью.

Обратим внимание еще на одну деталь: уже второй раз нам встречается слово «плакать». Первый раз его использовал Ханыков, говоря о принце и принцессе Брауншвейгских, второй раз Анфимов – об Аргамакове. В первом случае слово «плачютца» употреблено явно в переносном смысле, т. е. «расстраиваются», «печалются». В этом же смысле оно употреблено в показаниях адъютанта Семеновского полка Андрея Вельяминова: «Наши де офицеры, и особливо старшия капитаны Чичерин и Соковнин, плачут и говорят, что у Его де императорского величества есть отец и мать, то де и регент»⁸. Допрошенный в Тайной канцелярии, Чичерин в своих ответах на вопросы следователей также говорил, что «и в то время он, Чичерин, плакал общей государственной печали кончиною Ея императорского величества»⁹. «Плакал», согласно документам, и Шелиан, камер-юнкер принца Антона-Ульриха, посланный своим господином к брауншвейгскому посланнику за сове-

том. Об этом сообщил следователям адъютант принца Петр Грамотин: «И камер-юнкер Шелиян, быв с полчаса с посланником Кейзерлингом в покое, вышел назад и говорил плачючи, что де нам делать, что посланника Кейзерлинга мы не можем уговорить, чтоб он присоветовал Его светлости, чтобы спорить, а все де говорит: молчите, молчите. А Его де светлости об оном никакой пред опасности, чтобы молчать, нет»¹⁰. Но имеет ли это слово переносный смысл и в случае с Аргамаковым? Вполне возможно, хотя мы знаем, что люди XVIII в. выражали свои чувства гораздо более эмоционально, чем в наши дни. Если в современной нам культуре плачущий мужчина – нечто экстраординарное, то для XVIII в. это не являлось столь уж необычным. Потому мы можем предположить, что Аргамаков действительно плакал, тем более что Анфимов сообщает, что тот, «не окончив той речи, из избы вышев, поехал»¹¹, т. е. был и вправду очень расстроен.

От Акинфиева Анфимов снова пошел на стройку, где опять встретился с Ханыковым и рассказал ему об увиденном, прибавив, «что оной Аргамаков знатно о том же плачет, о чем ему, Алфимову, вчера он, Ханыков, говорил»¹². Здесь интересно, что Анфимов не утверждает, а предполагает. У Ханыкова, однако, сомнений не было, и он сказал, «что оной Аргамаков афицер доброй и консно, о том же разсуждая, плачет». Ханыков послал Анфимова обратно к Акинфиеву сказать, чтобы тот передал Аргамакову, что Ханыков хочет с ним увидеться. Сразу замечу, что встретиться двум поручикам так и не довелось, но примечательно, что Ханыков, видимо, не знал, где живет его товарищ по полку и где его разыскать, почему и вынужден был прибегать к помощи сержантов.

В этот день Анфимов снова обедал вне дома. Он вновь пошел к Акинфиеву. Тут на сцене появляется новое лицо – прапорщик Преображенского полка Иван Ознобишин. Когда они обедали, явился Ханыков, вызвал Ознобишина в другую комнату и там с ним о чем-то четверть часа шушукался. Присоединился ли поручик к обеду, неизвестно, но на стройку он вернулся вместе с Анфимовым, по дороге рассуждая, что «наши афицеры все де трусы, ни один де по настоящей дороге не идет». Возможно, это была реакция на разговор с Ознобишиным. Вечером после работы

Анфимов снова зашел к Акинфиеву (тот, судя по всему, все время сидел дома) и застал у него офицера конной гвардии Панина. По всей вероятности, это был 22-летний Никита Иванович Панин, будущий воспитатель Павла I, один из организаторов переворота 1762 г. и екатерининский вице-канцлер. В 1740 г. он имел звание корнета конной гвардии. К заговору же против Бирона его не привлекли: позднее Ханыков специально посылал Анфимова к Акинфиеву предупредить того не вести при Панине никаких неосторожных разговоров.

22 октября Анфимов вновь обедал у Ханыкова, и на пути обратно к казармам тот развернул перед ним план заговора (примечательно, что все их разговоры происходят на улице, но не во время обеда). Ханыков собирался, договорившись с Аргамаковым, объявив барабанным боем тревогу у казарм на Васильевском острове и на Петербургской (Петроградской) стороне, захватить Бирона и его сообщников, которыми он считал А.И. Остермана и князя Н.Ю. Трубецкого. О последнем он говорил весьма образно: «Хотя де к нему, Ханыкову, оной Трубецкой и добр был, только де он с ними больше в тех делах сообщником имеетца и у регента на ухе лежит»¹³. Замечательно выражение «на ухе лежит», т. е. во всем слушается.

Ханыков также говорил, что необходимо проникнуть к принцессе, чтобы узнать о ее намерениях, и спрашивал Анфимова, нет ли у того знакомых в Ингерманландском полку. На следующий день Ханыков собрался ехать на Васильевский остров обедать к некоему Дмитрию Муравьеву, чтобы с ним посоветоваться. В списке арестованных по делу значится один Муравьев, но не Дмитрий, а Прохор – фискал Инженерного корпуса. Дмитрия Муравьева, видимо, надо искать в списках Преображенского полка, поскольку о нем упомянуто как о человеке, знакомом Анфимову, но арестован он, вероятно, не был, ибо Ханыков до него не доехал, так как сам был арестован.

Далее в разговоре Ханыков сообщил Анфимову, что один солдат их полка, общающийся со служителями Бирона, сообщил, что «регентово намерение есть милость ко всем показать» и набрать в Преображенский полк особо рослых курляндцев. Эту весть поручик комментировал так: «вот де, ничего не видя, хотят немцов набрать и поэтому

нас ис полку вытеснят». В этих словах проявляется новый нюанс мотивации оппозиционных настроений Ханыкова – чисто прагматический: опасение, что «немцы» вытеснят из полка русских офицеров.

З тот же день Анфимов в последний раз навестил домоседа Акинфиева, у которого вновь был гость. (Хлебосольство Акинфиева и разнообразие его знакомств сами по себе примечательны.) На сей раз это был вахмистр конной гвардии и Лукьян Комынин. Почему-то от него (в отличие от Панина) приятели не утаили своих настроений, а Комынин их поддержал. Он рассказал им о мерах, которые новое правительство собралось осуществить для завоевания симпатий народа, воспринимая их как явное лицемерие. «Чудесно де, что господа министры допустили ково править государством», – сказал Комынин и добавил: «вот де мне и дядюшка Бестужев, а какой де он министр, вот кали бы де Михаил Аргамаков зделал подписку».

Итак, оказывается, Комынин – человек не простой. Он родственник кабинет-министра А.П. Бестужева-Рюмина, протеже Бирона. Интересно замечание о подписке, т. е. о составлении коллективной челобитной. Упоминание такого рода способа воздействия на власть встречается в деле неоднократно. Сама по себе эта форма, т. е. коллективная челобитная, была распространена еще в XVII в. Однако ничего подобного во время довольно продолжительного царствования Петра Великого не наблюдалось, коллективная челобитная возродилась вновь в период междуцарствия 1730 г. «Подписка» с просьбой к Бирону принять регентство составлялась и тогда, когда императрица лежала на смертном одре. О восприятии этого действия свидетельствуют показания капитана Семеновского полка Василия Чичерина, одного из тех, кто участвовал в «подписке»: «И услыша, а от кого имянно не упомнит, что Ея императорского величества не стало, пришло ему, Чичерину, в голову о подписке, чтоб просить Его высочества герцога Курляндского, дабы изволили принять регентство, что об оном подписку учинил он, Чичерин, в Кабинете незадолго до кончины Ея императорского величества и потому разсуждал в себе, что не прискорбно ль де будет матери Его императорского величества, что такая подписка учинена была, не зная того, известно ли Ея высочество о том»¹⁴. Надо заметить, что по сравнению с

XVII в. «подписка» приобрела иное значение и стала именно формой выражения общественного мнения. Таким образом, существование подобной формы являлось косвенным свидетельством развития русского общества. Вместе с тем, как известно, основным способом решения проблемы власти все-таки оставался военный переворот.

Но вернемся к разговору Комынина с двумя сержантами. Родственник Бестужева далее предупреждал своих собеседников, что все, о чем они говорили, очень опасно – «это дело смертельное», и напоминал: доносчику первый кнут¹⁵. Как показали последующие события, Комынин был настоящим провокатором, ибо сам сразу же и донес. Ведь именно по его доносу и началось дело.

Во время очной ставки сержанта Анфимова и поручика Ханыкова выяснились любопытные детали: Анфимов рассказывал офицеру, что на переправе через Малую Неву он слышал, как «других де полков салдаты Преображенской и Семеновской полки бранят и называют де всех нас ворами и изменниками, для чего де допустили регента государством владеть»¹⁶. Анфимов пояснил, что призвать солдат к порядку он не мог, поскольку был один, а солдат четверо. Если верить Анфимову, то становится ясно, что солдаты других расквартированных в Петербурге полков (из показаний Аргамачева, которому Анфимов также рассказывал об этом эпизоде, следует, что речь идет о солдатах Ингерманландского полка) считали, что пример должны подать именно гвардейцы, причем двух первых полков, и если бы они отказались присягать Бирону или выразили бы свой протест как-то иначе, то это решило бы дело. Такое восприимчивое отношение семеновцев и преображенцев подтверждается и в показаниях других лиц. Интересно, что повторяется и сам эпизод – подслушанные разговоры солдат, причем тоже при переправе через реку, правда, по мосту. Арестованный по тому же делу адъютант Семеновского полка князь Иван Путятин на допросе показал, что, когда в день присяги он ехал на извозчике через Аничков мост, «шли по тому мосту солдаты Преображенского или Измайловского полку, того не присмотрел, что были в спанчах, и идучи говорили: мы де чаяли Елисафету Петровну»¹⁷. Остановить солдат Путятин не мог по той же причине, что и Анфимов: он был один, а солдат восемь человек.

Здесь возникает новый акцент: хотя солдаты и были в епанчах, Путятин уверен, что это были не семеновцы. И дело здесь, видимо, не в том, что он пытался выгородить своих, а в том, что, как известно, именно в Преображенском полку действительно были наиболее сильны настроения в пользу воцарения Елизаветы, хотя, как мы уже знаем, далеко не все преображенцы тужили именно по цесаревне. Что же касается семеновцев, то их отношение к происшедшему в значительной мере определялось тем фактом, что командиром полка был принц Антон-Ульрих.

Интересные детали в допросе Путятина не ограничиваются, однако, сказанным. В день принесения присяги младенцу-императору и Бирону князь более всего был озабочен деталями этого мероприятия. Сперва он заинтересовался, будет ли приносить присягу принц Антон-Ульрих. Можно было бы подумать, что озабочен он был этим потому, что он хотел знать, как поступит его командир, чтобы последовать его примеру. Но дело было не в этом. Путятин, как он утверждал, не знал, «может ли отец сыну присягать», и об этом расспрашивал разных людей, пока капитан Албедин не разъяснил ему: «Как де Его высочеству не присягать, даром де, что сын, дай де Бог ему здоровье, ежели он вырастит и может ехать мимо полку, то отец де должен в строю стоять и честь ему отдать, что де он наследной государь, а отец его подданной»¹⁸ Однако этим интерес к акту присяги не исчерпывался. Когда Путятин узнал, что предполагается приносить присягу, он удивился: ведь один раз, в августе, Ивану Антоновичу уже присягали. Встретившийся ему у Летнего дворца ротмистр Брауншвейгского кирасирского полка Александр Мурзин объяснил, что теперь будут присягать Ивану Антоновичу не как наследнику, а как императору.

Не один Путятин был таким непонятливым. Когда, огороженный этой информацией, он отправился в свой полк, два капитана – Никита Соковнин и Василий Чичерин – задали ему те же вопросы, что и он Мурзину. Услышав ответ, они тоже заинтересовались, будет ли участвовать в присяге принц Антон-Ульрих, и послали Путятина это выяснить. Путятин отправился во дворец, где встретил камер-юнкера принца Шелиана, кому и переадресовал вопрос однополчан. Шелиан отвечал уклончиво, «что о том не

знает, только де чаю, что будет он перед фрунтом. И при том оной Шелиан спросил его, Путятин, на что де вам надобно, чтоб его высочество был перед фрунтом. И на то он, Путятин, сказал: афицеры де желают видеть, станет ли его высочество присягать для того, ежели б де увидели, что его высочество к присяге не пойдет, то чаю де, что многия афицеры присягать не будут»¹⁹. Шелиан понял Путятин таким образом, что речь идет не только о семеновцах, но и о преображенцах. Путятин это отрицал, но признался, что «сам в себе рассуждал, ежели б его высочество герцог Бруншвейгской к присяге не пошел, то и он, Путятин, к присяге итить быть не намерен, в таком рассуждении думал, что та присяга будет собственно его высочеству регенту». Об отношении к присяге как таковой весьма красноречиво свидетельствует и разговор двух других подследственных – дворянина Богдана Семеновича Тыркова и подполковника Любима Пустошина, также интриговавшего против Бирона: «И он, Тырков, говорил тому Пустошину: веть де присягу чинили. И Пустошин сказал: мощно де и вновь присягу сделать»²⁰.

Чтобы закончить, отмечу, что, как выяснилось на следствии, именно Путятин был одним из самых деятельных заговорщиков. Сложившаяся политическая ситуация показалась ему удобным случаем, чтобы ухватить судьбу за хвост. Князь полагал, что его карьера будет обеспечена, если ему удастся изменить ход событий в пользу Антона-Ульриха. Об этом он вполне откровенно говорил на допросе: «А в вышепоказанное рассуждение он вступил и ложно вымышленно об означенном говорил с простоты своей для одного его высочеству герцогу Броуншвейгскому прислуги»²¹.

Обратимся теперь к старшим офицерам – капитанам Чичерину и Соковнину, сомнения которых были иного свойства. Так, Чичерин говорил, что «имея опасение, что ся высочество, мать государева, и как его величество придет в возраст (станет совершеннолетним. – А. К.), а уведает, что нами учинено без соизволения матери его, государева, то может причесть нас за неверных рабов»²². Примечательно, что Чичерин прибегает здесь к отрицательной форме официального словосочетания «верный раб» (или «нижайший раб»), использовавшегося в прошениях на высочайшее имя. Чичерин и его товарищ были также озабочены тем, что

формальный статус принцессы Анны Леопольдовны не соответствовал, по их мнению, ее положению как матери императора, и считали, что ей должен быть дан надлежащий титул. Они считали, что принцесса должна поехать в Сенат и просить сенаторов, чтобы «они ея высочество назвали чем-нибудь за то, что она императоров рождает и мать императорская; так бы де как-нибудь ее назвали»²³.

Интересно, что семеновец Чичерин говорил об этом с преобразенцем Аргамаковым, который специально к нему приезжал. Во время их разговора возникло еще одно важное обстоятельство: для осуществления задуманного гвардейские офицеры нуждались в вожде. На эту роль, по их мнению, подходил кто-то из крупных вельмож. Напомним, что Ханыков весьма резко отзывался о приспешниках Бирона – Остермане и Трубецком, а провокатор Комынин – о Бестужева-Рюмине. В разговоре Чичерина и Аргамакова всплыло имя графа Михаила Гавриловича Головкина, но выяснилось, что ни один из них прямого доступа к графу не имеет. Имя Головкина возникло неслучайно: его жена Екатерина Ивановна, урожденная княжна Ромодановская, приходилась двоюродной сестрой императрице Анне Ивановне и соответственно двоюродной теткой Анне Леопольдовне. Именно у Головкина решил попытать счастья еще один участник событий – подполковник Любим Пустошин.

Головкин проживал в это время в доме графини Ягужинской, куда Пустошин и направился. Здесь он повстречался с Тырковым, который во всех документах следственного дела именуется просто «дворянин» и который, по всей видимости, находился в штате Ягужинской. Пустошин рассказал Тыркову, что собралось уже человек 40 дворян, подписавших челобитную к Анне Леопольдовне и Антону-Ульриху, «чтоб изволили российское правление принять на себя». Тырков отнесся к затее Пустошина скептически и предупредил: «хорошо де как это найдешь, а как де не сыщешь»²⁴. Пыл Пустошина это, однако, не охладило. Еще ранее он ходил излагать свою идею генерал-прокурору князю Трубецкому, но тот, сославшись на болезнь, отказался его поддержать. Теперь же подполковник решил проникнуть к Головкину. В доме Ягужинской помимо Тыркова жил еще один знакомый Пустошина – капитан Василий Аристов, с которым он обсуждал сложившуюся ситуацию и совето-

вался о том, кого из вельмож можно привлечь на свою сторону. Аристов подал ему, на первый взгляд совершенно неожиданную, идею: он предложил обратиться к... Андрею Ивановичу Ушакову – начальнику Тайной канцелярии. Казалось бы, подобная идея была самоубийственна, но, видимо, у людей XVIII в. еще не сложилось убеждение в том, что силовые структуры должны быть вне политики. Для них Ушаков был попросту одним из влиятельных сенаторов, да и в своих действиях, заключающихся в составлении коллективной челобитной, они, вероятно, не видели ничего предосудительного. Вообще замечу, что понятие о конспирации нашим героям было неизвестно. Показательно, что именно к Ушакову обращался за советом и Антон-Ульрих. Когда его адъютант Грамотин в разговоре с адъютантом Ушакова Иваном Власевым заметил, что его начальник хочет выразить свое неудовольствие кому-нибудь из министров, Власев ответил: «Да что де лутче нашего старика?»²⁵. Пустошин с Ушаковым не виделся, но сумел попасть к князю Алексею Михайловичу Черкасскому, который, осведомившись о числе заговорщиков, велел подполковнику прийти позже. На самом деле он сразу подал на него донос Бирону. В тот же день Пустошину удалось поговорить и с Головкиным, который, однако, тоже сказался больным и запретил впредь пускать к себе подполковника.

В разговоре с Аристовым Пустошин выказал себя человеком едва ли не государственного масштаба. На вопрос, чем плох Бирон, подполковник отвечал: «Лехко ль де нам, что возьмет он с шестьсот тысяч себе денег, а это де деньги все со крестьян наших збираютца а крестьянишки де наши уже вконец разорилися. Пусть бы де эти деньги в государстве остались и крестьянишком нашим облегчение было»²⁶. На это Аристов не нашелся что ответить, и собеседники принялись рассуждать о том, как бы выслать Бирона из страны. «Как де его неволею вышлешь, – сетовал Аристов, – кабы де собою поехал, то б де ему почтенной поклон отдали, а то коли он собою похочет ехать, то ево честно велено отправить и в нуждах ево не оставлять за верную ево службу»²⁷. Этот же сюжет возникал и в разговоре Грамотина с ротмистром Мурзиным, который полагал, что «его высочество регент затем у нас в России остался, что де ему в Курляндию ехать нельзя, понеже де там много недовольно-

го шляхетства и ему де не без опасности, ибо де уже более трехсот фамилиев ис Курляндии вышло вон, у которых деревни повыкуплены»²⁸.

В рассказах Пустошина о его сторонниках промелькнуло имя статского советника секретаря Кабинета министров Андрея Яковлева, близко стоявшего к верховной власти. Именно ему было поручено переписать манифест о кончине Анны Ивановны и ее завещание. Опытный чиновник, по его собственному признанию, сначала усомнился в подлинности завещания, поскольку ему показалось, что оно написано другими чернилами, чем обычно, но потом убедился, что завещание подписано собственноручно императрицей. По всей видимости, приход к власти Бирона не радовал и Яковлева. Переодевшись в «худой кафтан», он ходил по улицам, прислушиваясь к разговорам прохожих, и, по его словам, убедился, что правителями страны народ хочет видеть родителей младенца-императора.

В показаниях их сторонников обращает на себя внимание не единожды, хоть и вскользь, звучавшее рассуждение о необходимости поставить именно их, родителей императора, во главе государства, ибо таким образом они лучше сумеют «сберечь» своего сына до достижения им совершеннолетия. Иначе говоря, высказывалось опасение, что Бирон может вовсе отстранить от власти законных наследников престола. Правовые же аспекты престолонаследия почти не обсуждаются. Своего рода правовой нигилизм хорошо различим и в делах сторонников Елизаветы Петровны, чье право на трон все они обосновывали лишь тем фактом, что она дочь Петра Великого.

Примечания

¹ Записки Михаила Васильевича Данилова, артиллерии майора, написанные им в 1771 году // Безвременье и временщики: воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720-е – 1760-е годы). Л., 1991. С. 312.

² Еще одна работа на эту тему была опубликована английским историком Д. Киппом: *Keep J. The Secret Chancellery, the Guards and the Dynastic Crisis of 1740–1741* // *Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte*. 25 (1978). P. 169–193.

³ РГАДА. Ф. 6. Д. 282.

- 4 Там же. Л. 1–1об.
- 5 Там же. Л. 2.
- 6 Там же. Л. 5–6.
- 7 Там же. Л. 14об.
- 8 Там же. Л. 26.
- 9 Там же. Л. 27об.
- 10 Там же. Л. 49.
- 11 Там же. Л. 6.
- 12 Там же. Л. 6–6об.
- 13 Там же. Л. 7об.
- 14 Там же. Л. 27.
- 15 Там же. Л. 9.
- 16 Там же. Л. 10.
- 17 Там же. Л. 25.
- 18 Там же. Л. 22.
- 19 Там же. Л. 23.
- 20 Там же. Л. 86.
- 21 Там же. Л. 24.
- 22 Там же. Л. 27об.–28.
- 23 Там же. Л. 30.
- 24 Там же. Л. 85.
- 25 Там же. Л. 48об.
- 26 Там же. Л. 90.
- 27 Там же.
- 28 Там же. Л. 51об.

А.С. Шишков и П.А. Зубов: к истории одного назначения

Начальный этап жизни и творчества А.С. Шишкова (от рождения в 1754 г. до смерти Екатерины II) до сих пор остается малоисследованным, хотя он представляет безусловный интерес и для филологов, и для историков общественной мысли, науки, военно-морского флота. Литературные вкусы, политические и филологические взгляды, интеллектуальные интересы, бытовые привычки Шишкова приобрели более или менее законченный вид в царствование Павла I, однако в самых общих чертах сложились еще в екатерининский период¹. Что же касается трудов Шишкова в области детской и морской ученой литературы, то по большей части они приходится именно на это время².

Серьезным препятствием для изучения этого этапа остается то, что мемуарные произведения Шишкова о событиях 1754–1796 гг. до сих пор не были подвергнуты источниковедческому анализу. Это относится и к воспоминаниям о морской службе в 1770-е годы³, которые Шишков опубликовал еще при жизни, и к нередко цитируемым «Запискам» Шишкова, изданным Ю.Ф. Самаринным и Н.С. Киселевым в Берлине в 1870 г.⁴ Например, из всего текста «Записок» некоторого внимания удостоилась только часть, относящаяся к Отечественной войне 1812 г., а также екатерининская тема и «павловский сюжет»⁵. В докладе 1999 г. мы попытались показать, что, вопреки сложившейся у младших современников и потомков репутации Шишкова как беспристрастного летописца, его мемуары (по крайней мере в той их части, что касается Павла I) – текст на редкость тенденциозный, в котором биография мемуариста сознательно принесена в жертву политической концепции.

Тем важнее становится верификация излагаемых Шишковым фактов, когда иные источники предоставляют нам такую возможность.

Один из немногих относящихся к раннему периоду сюжетов в «Записках» – эпизод с назначением Шишкова в канцелярию генерал-фельдцейхмейстера и последнего екатерининского фаворита Платона Зубова правителем канцелярии по делам Черноморского флота (с. 5–8). 9 июля 1796 г. Зубов стал главноначальствующим над Черноморским флотом (Н.С. Мордвинов при этом фактически потерял должность командующего флотом и остался лишь председателем Черноморского адмиралтейского правления). 3 сентября Шишкова перевели на Черноморский флот, а 13 ноября того же года – обратно на Балтийский. Фактически история закончилась 5 ноября 1796 г. в связи с резким ухудшением здоровья Екатерины II⁶.

По словам Шишкова, вызов к фавориту и предложение возглавить канцелярию были для него совершенно неожиданными, но, исходя из интересов карьеры и испросивши позволения на этот шаг у великого князя Павла Петровича, он ответил согласием: «...Это было такое место, на которое многие смотрели завидными глазами; и потому ответ мой не мог быть иной, как тот, что я за счастье почту находиться при его светлости» (с. 6).

Шишков подробно рассказывает о том, как А.М. Грибовский и О. де Рибас пытались сделать его участником кампании по дискредитации Мордвинова и как он, храня верность дружбе, отказался («первые мои друзья всегда будут честь и правда, которым я ни для кого не изменю»; с. 7). Это привело к охлаждению отношений с Зубовым. «Князь хотя и приказал мне к себе ходить и сначала стал было поручать некоторые маловажные дела, но после, в продолжение двух или трех месяцев, почти никогда не удостоивал меня каким-либо своим приказанием или разговором; так что я, при расстроенном здоровье моем, видя себя не употребляемым, часто увольнял себя от поездок к нему» (там же).

Действительно, документов, подтверждающих исполнение Шишковым функций начальника канцелярии, не выявлено ни в фонде П.А. Зубова в Российском государственном архиве древних актов (ф. 193), ни в фонде канцелярии генерал-фельдцейхмейстера по управлению Черноморским флотом.

морским флотом и портами в Российском государственном архиве Военно-морского флота (ф. 239). Фактически назначение не состоялось и было лишь обещано Шишкову для того, чтобы привлечь его к службе при всесильном тогда фаворите. Из «Записок», однако, остается совершенно непонятно, почему на столь ответственную должность, связанную с полным контролем над информацией, нередко деликатной, необходимо было назначать человека, находившегося с Мордвиновым в дружеских отношениях и способного стать осведомителем последнего о готовящихся против него интригах. И почему Зубов не избавился от Шишкова, когда стала очевидной его ограниченная лояльность своему начальнику и, таким образом, полная непригодность к должности?

На наш взгляд, некоторый свет на мотивы, которыми Зубов руководствовался, приближая к себе человека из враждебной группировки, может пролить сохранившееся в его бумагах письмо Шишкова. Здесь идет речь об одном из тех «маловажных поручений», о которых сам Шишков упомянул вскользь, как о мелочи, не заслуживающей внимания, но которые, возможно, удерживали Зубова от того, чтобы с Шишковым окончательно расстаться.

Светлейший князь!
Милостивый государь!

Благоугодно было вашей светлости сделать щастие мое приятием меня под свое собственное ваше начальство и повелеть мне стараться об учреждении чертежной; чего ради и осмеливаюсь я мнение мое о порядочном оной основании всепокорнейше вашей светлости представить.

Для заведения такой чертежной, которая бы по важности и редкости заключающихся в ней вещей могла некогда соответствовать славе знаменитого основателя оной, нужно сделать следующее:

1е. Приготовить два или три больших покоя, где бы она пристойно расположена быть могла.

2е. Определить к оной одного из лучших и знающих иностранных языки корабельного подмастерья, одного штурмана, трех учеников и двух или более модельщиков.

3е. Всякого рода чертежи судов, лучшими мастерами как в России, так и в других государствах изобретаемые, нужно доставать

и отсылать в нее, дабы оные, будучи разбираемы по сортам и пер[епле]таемы в разные большие книги, навсегда в оной сохранились. Сверх сего должны в ней находиться другого рода чертежи и рисунки, представляющие корабли и другие суда в разных видах, показующих все внутренние расположения и части оных, також и иные многие изображения, как, например, планы морских сражений, вид гаваней и тому подобные, о чем приложат старание свое определенные к сей чертежной люди.

4е. Различные модели судов, всякого рода, должны также собираемы быть, и в ней со всякою чистотою и исправностию хранимы.

5е. Величайшую важность таковой чертежной придало бы, когда б все до морского искусства и наук касающиеся книги, на разных языках издревле изданные и ныне издаваемые, тщательно отысканы и собраны были, дабы составили в ней библиотеку, которая могла бы сделаться богатым источником к почерпанию из ней разных сведений, а притом и редкостию своею учинилась бы любопытства достойною, поелику знатное и полное собрание оной не столько зависит от употребляемого на то названия, как от степени полномочия и знаменитости такой особы, которой повеления даже и в отдаленнейших странах со всяким тщанием и точностию исполняются.

6е. Весьма нужно, чтоб от начала кораблестроения в России по нынешние громкостию морских побед препрославленные времена все бывшие флотские экспедиции, или посылки, також и достопамятные на морях происшествия, из сохраняющихся еще в архивах журналов выбраны и сокращению описаны были, дабы таковые записки могли некогда служить достаточным к сочинению истории российскаго флота основанием. Нужно еще собирать и сохранять подаваемые от капитанов по окончании компании дефекты, или примечания о качествах кораблей, дабы можно было сии примечания сличать с чертежами сих самых кораблей, и рассматривать, таковы ли они оказались на море, как по чертежам их предсказуемо и ожидаемо было.

7е. Равным образом могло бы послужить к некоторой пользе, когда бы всем по внутренней коммерции речным судам имелось с подробным описанием как строения их, так и способов, какие употребляют оне для плаванья своего вверх и вниз по рекам: ибо как многие из сих судов бывают весьма немалой величины, так что длиною своею равняются большому военному кораблю, и поднимают грузу от осмидесяти до ста тысяч пуд, то кажется, нужно о таковых судах иметь ближайшия сведения, в том намере-

нии, не придумано ли будет впредь каких-либо поправлений в рассуждении прочнейшего построения их и легчайшего или скорейшего плавания; поправления, могущие принести великую пользу внутренней торговле, тем паче, что сии суда суть самого простого изобретения и, по малому об них сведению, может быть, никогда неподвержены были рассуждениям искусных кораблестроителей, которые бы, соображаясь с родом их груза и местными обстоятельствами, употребили старание свое и умствование о приведении их в исправнейшее и лучшее состояние.

Заведение таковой чертежной без сомнения принесло бы немалые пользы и могло бы со временем достигнуть до такого совершенства, что, может статься, было бы единственное в своем роду, и пото[му] и присовокупило бы хотя малое нечто к обшир[ной] славе имени вашей светлости, яко первонача[ль]ного основателя оной.

С глубочайшим почитанием
щастие имею пребыть,
вашей светлости
покорнейший слуга
Александр Шишков⁷.

Для понимания этого текста необходимо отдавать себе отчет в том, что в конце XVIII в. ученая часть в морском ведомстве все настоятельнее требовала концептуальной, организационной и кадровой институционализации. И если с обработкой и хранением гидрографических сведений вполне справлялся Географический департамент Академии наук, то кораблестроительную информацию собирали плохо, а обрабатывали и хранили и того хуже.

Еще в 1709 г. по распоряжению Петра I часть помещений в здании Адмиралтейства была отведена под хранение чертежей и моделей (макетов) судов, механизмов, крепостей и прочих результатов человеческого труда, имеющих отношение к морскому делу. Это место получило название Модель-камеры, или чертежной⁸. Заведовал ею корабельный подмастерье, чем сразу, видимо вопреки желанию самого Петра, был определен статус заведения как маловажного и второстепенного. Несмотря на то что с 1722 г. изготовление уменьшенных моделей судов и отправка их вместе с чертежами в Модель-камеру стали обязательными, сдача моделей и чертежей шла не-

аккуратно и условия хранения оставляли желать лучшего. Бичом Модель-камеры стала постоянная нехватка помещений.

В 1744 г. для надзора за камерой, а также за находившимися в Адмиралтейств-коллегии библиотекой, атласами и картами был назначен учитель геодезии, фортификации, морских наук и артиллерии Василий Красильников (умер в 1783 г. в чине премьер-майора, но в адрес-календаре за 1778 г. уже не упоминается), которому как будто удалось добиться некоторого порядка в хранении и, возможно, описании моделей и чертежей, но после его смерти, как пишет историк, «благосостояние» Модель-камеры «пошатнулось», новые модели и чертежи снова поступали нерегулярно, и коллекции, не имея надлежащего присмотра, опять стали портиться и приходиться в ветхость⁹. Судя по тому, что библиотеку коллегии впоследствии пришлось создавать заново, она рассеялась или погибла. Что стало с картами и атласами, неизвестно.

Между тем ценность коллекций Модель-камеры была несомненна для каждого, кто задумывался о судьбе русского флота. Это было единственное централизованное собрание первичных материалов по истории российского кораблестроения. Развитие флота, невозможное без ясного знания о том, что уже достигнуто, предполагало приведение в порядок Модель-камеры в целом, и в первую очередь собрания корабельных чертежей как важнейшей ее части. Это было тем более важно, что к концу царствования Екатерины II российский флот пришел в плачевное состояние: громкие победы скрывали тяжелый груз накопившихся проблем, которые давно нуждались в разрешении. Наиболее актуальной из них было низкое качество судов.

Проект Шишкова показывает, что Модель-камера в конце столетия, видимо, почти прекратила свое существование и превратилась в лучшем случае в склад. Шишков отчасти повторял идеи Красильникова середины века, когда в Модель-камере появились не только макеты и чертежи, но также карты и библиотека. Вместе с тем он шел дальше. Так, Шишков всерьез предлагал изучать коммерческие речные суда, что было для того времени совершенно необычно: на частное речное судостроение, зачастую производившееся без чертежей и на глазок, смотрели, как на не-

изжитое варварство. Впоследствии Шишков никогда не возвращался к этой идее, и ее реализация относится уже к середине XIX в.

Новой была и мысль изучать при чертежной судовой журналы и наладить постоянную обратную связь между командирами судов и кораблестроителями¹⁰. Совершенно нетривиальным было предложение делать конспекты судовых журналов для будущих историков русского флота. Если бы план Шишкова был реализован, чертежная превратилась бы в центр хранения специальной информации не только по кораблестроению, но и по истории русского флота. Ее реорганизация, без сомнения, была необходимым условием для вывода российского флота из переживавшегося им кризиса.

Мотивы поведения Зубова можно описать с высокой степенью вероятности. Скорее всего, наблюдая успехи Мордвинова в развитии морского образования и ученой части, Зубов осознал, что невозможно завоевать прочное положение на флоте вообще и на далеком Черноморском флоте в частности, опираясь почти исключительно на лиц вроде де Рибаса и ограничиваясь преимущественно интригами. Необходимо было показать свои успехи на том же самом поприще, на котором отличился Мордвинов, и привлечь на свою сторону складывающийся тонкий слой образованных морских офицеров.

Данное Шишкову поручение разработать проект реорганизации чертежной было вполне продуманным и своевременным шагом в противостоянии с Мордвиновым: создавая некий центральный ученый орган, Зубов вполне заслуженно приобретал репутацию радетеля о флоте и науках, а также имел шанс перетянуть на свою сторону если не всех, то по крайней мере некоторых флотских интеллектуалов. Пример Шишкова показателен: посвятив себя ученым занятиям и немало помыкавшись с опубликованием своих трудов еще в начале 1790-х годов, он откликнулся на предложение Зубова, явно чувствуя не только перспективы карьерного роста, но и удовлетворение от долгожданной востребованности своих усилий и выбранной социальной роли (ставку на ученые занятия как инструмент служебной карьеры он сделал еще во второй половине 1780-х годов, однако дальше публикации ученых трудов

за счет Кабинета и предоставления Шишкову части тиража дело не пошло).

Сравнение письма Зубову и «Записок» демонстрирует, что в этой части воспоминаний, равно как и в «павловском сюжете», Шишков умалчивает о своей ученой деятельности. Правда, если в тексте о Павле I это объяснялось в первую очередь политическими соображениями, то причины подобного умолчания в данном случае не поддаются столь простому объяснению.

Присутствие политического мотива очевидно. Так, переходя от убийства Павла I к царствованию Александра, Шишков именно на участвовавших в заговоре екатерининских вельмож (в числе которых названы и Зубовы) возлагает основную ответственность за то, что возникший после убийства императора шанс вернуться к политике Екатерины II был потерян (с. 82–84). В какой-то мере повторялась ситуация, характерная для «павловского сюжета»: представив Зубова умным реформатором, Шишков не смог бы соблюсти (или опасался нарушить) логику концепции. Не случайно он методично дискредитирует Зубова, старательно подчеркивая и его личные отрицательные качества (высокомерие, склонность к интригам), и моральную нечистоплотность его окружения (с. 6–8).

Но кроме заботы о стройности политической концепции могла быть еще одна причина, заставлявшая Шишкова чернить Зубова и умалчивать о его ученых инициативах. В бумагах Шишкова сохранилась авторская копия письма к Зубову, которое стоит привести целиком.

«Хотя и прилагаю крайнюю прилежность и рачение к совершению моих трудов, и хотя упражняюсь уже столь долго, не желал бы оставить без приведения оных к концу, однакож для многих причин вижу, что не могу совершить их, естли не удостоен буду особливим покровительством, которое бы делало упражнение мое сколько-нибудь известным и привлекающим на себя некоторое внимание, доставляя мне чрез то потребное время и нужные для сего пособия. Посему дерзаю прибегнуть к вашему сиятельству и просить вас, яко любителя наук, принять меня под собственный ваш покров, дабы я под сенью оногo сей долговременный труд мой с лучшим успехом докончить и для пользы морской службы в свет издать мог»¹¹.

К сожалению, мы не можем сказать точно, к какому времени относится эта просьба о покровительстве. Не исключено, что она составлена в конце 1790 г. или в 1791 г., так как следом приведены копии сопроводительных писем к вышедшей в конце 1793 – начале 1794 г. первой части переведенной Шишковым книги Ш. Ромма «Морское искусство», экземпляры которой Шишков посылал А.Г. Орлову и П.А. Румянцеву. Кроме того, решение о публикации трудов Шишкова на средства Кабинета было принято в начале 1792 г., и, вероятно, он упомянул бы в письме, написанном тогда же, если не об этом решении, то, по крайней мере, об окончании части своих сочинений.

Вместе с тем нельзя исключить (и этот вариант более вероятен), что письмо было составлено уже в 1796 г., после того как в 1795 г. вышли в свет «Трехязычный словарь» и вторая часть «Морского искусства». Как было сказано выше, они не принесли сочинителю ничего, кроме репутации и части тиража, а впереди была еще работа над машиной толкового словаря всех морских терминов (отсюда единственное число – «долговременный труд мой»). Для чего требовались и материальная поддержка, и общепризнанный статус как составителя, так и самого дела – возможно, надевшего за десять лет, – перспектива окончания которого была не очень ясна.

В том случае, если мы правы и письмо действительно относится к 1796 г., приглашение Зубовым Шишкова под свое покровительство не было неожиданной личной инициативой высокомерного фаворита, но ответом на униженное прошение самого Шишкова. Словарь, очевидно, Зубова не интересовал, но, предложив Шишкову больше, чем тот просил, Зубов, вероятно, рассчитывал на его полную лояльность. Обманувшись в своих ожиданиях, Зубов не стал возвращаться к словарю, а дал Шишкову задание более масштабное – разработать проект чертежной при Адмиралтейств-коллегии.

Обращение к Зубову было для Шишкова слишком тяжким душевным испытанием, чтобы рассказывать о нем в записках. Зато с каким удовольствием приводит он эпизод своего пребывания в Дрездене в 1798 г., куда был послан Павлом I следить за поведением находившихся там соотечественников: «Приезжал сюда князь Зубов. Он по-

сетил меня. Свидание наше для обоих нас имело в себе нечто необыкновенное. Чрез такое короткое время, так еще свежее в памяти нашей, из толь различного между нами состояния, он столько, если не больше, упал, сколько я возвысился. Прежде – я приходил к нему, как ожидающий от него великие и богатые милости, с трепетом; а теперь – он приехал ко мне с некоторою, может быть, боязнию» (с. 53).

Примечания

- ¹ О некоторых аспектах этого процесса см.: *Боленко К.Г., Лямина Е.Э. А.С. Шишков и «Комитет для издания собраний, касающихся до кораблестроения и прочего» // Россия и реформы: Сб. ст. / Сост. М.А. Колеров. М., 1995. Вып. 3.*
- ² О развитии политических взглядов Шишкова начиная с 1780-х годов см.: *Альтшуллер М. А.С. Шишков и французская революция // Русская литература. 1991. № 1. Сводку мнений младших современников Шишкова и более поздних критиков и исследователей о его творчестве для детей см.: Боленко К.Г. «Kleine Kinderbibliothek» И.Г. Кампе в переводе А.С. Шишкова. Место в жизни и творчестве переводчика // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8. История. 1996. № 8. С. 59–62.*
- ³ Разбитие русского военного корабля у берегов Швеции в 1771 году (Отрывок из жизни) // *Отеч. записки. 1821. Ч. 8. № 20; Ч. 9. № 21–22; Записки, веденные во время путешествия из Кронштадта в Константинополь. СПб., 1834. Любопытно, что первое произведение до сих пор не использовано ни историками флота, ни исследователями русско-шведских отношений. Второе же было проигнорировано и многочисленными биографами адмирала Ф.Ф. Ушакова, с которым Шишков совместно проделал это плавание (правда, на разных кораблях), и историками внешней политики. Так, к примеру, Г.Л. Кессельбреннер даже не ссылается на записки Шишкова, когда, рассказывая о дипломатической карьере С.Л. Лашкарева, довольно подробно описывает эту экспедицию (*Кессельбреннер Г.Л. Хроника одной дипломатической карьеры: Дипломат-востоковед С.Л. Лашкарев и его время. М., 1987. С. 65–89*).*
- ⁴ Записки, мнения и переписка адмирала А.С. Шишкова. Berlin, 1870. Т. 1 (ссылки на это издание даются в статье с указанием страницы).

- ⁵ Об освещении в мемуарах событий 1812–1814 гг. см.: *Тартаковский А.Г.* Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в. М., 1991; *Он же.* Летописец или «просто человек» // В раздумьях о России (XIX век). М., 1996; *Он же.* Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997. Екатерининская тема в «Записках» Шишкова затронута во введении и в комментариях к публикации составленных Шишковым «Достопамятных сказаний об Императрице Екатерине Великой» (Река времен. М., 1996. Кн. 5. С. 20–56. Публ. К.Г. Боленко и Е.Э. Ляминой). С устным сообщением о «павловском сюжете» Е.Э. Лямина и автор настоящей статьи выступили на VII Лотмановских чтениях (22 декабря 1999 г.) – «Лукавый Нестор: павловское царствование в мемуарах А.С. Шишкова».
- ⁶ О переводе на Черноморский флот см.: Описание дел Архива Морского министерства. СПб., 1882. Т. 3. С. 702 (оригинал: РГА ВМФ. Ф. 227. Оп. 1. Д. 58. Л. 280); о переводе обратно на Балтийский флот: Материалы для истории русского флота. Ч. 16. СПб., 1902. С. 3. Сведения о том, что Шишков управлял канцелярией начальника Черноморского флота в 1794–1795 гг. (*Шилов Д.Н.* Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802–1917: Биобиблиографический справочник. 2-е изд. СПб., 2002. С. 843), ошибочны.
- ⁷ РГАДА. Ф. 193. Оп. 1. № 308. Автограф. В верхней части л. 1 помета писарским почерком: «получено 16 октября 1796». Текст приводится по нормам современного правописания с сохранением некоторых особенностей авторской орфографии. Квадратными скобками выделены восстановленные по смыслу фрагменты, утраченные при повреждении листа.
- ⁸ В описании дел Адмиралтейств-коллегии XVIII в. чертежной называли также заведение, где составляли и хранили исключительно географические карты. Позже оно получило название Гидрографического департамента. Судя по проекту Шишкова, он имеет в виду именно Модель-камеру.
- ⁹ *Огородников С.Ф.* Модель-камера, впоследствии Морской музей имени императора Петра Великого (Исторический очерк). СПб., 1909. С. 13–21.
- ¹⁰ Согласно действовавшему на тот момент «Регламенту о управлении адмиралтейств и флотов» 1765 г. сбор инфор-

мации о качестве судов был децентрализован и носил узко утилитарный характер. Ежегодно или по завершении кампании генерал-интендант или старший над портом в сопровождении корабельного мастера и в присутствии командира корабля должны были о всех имевшихся повреждениях и недостатках составлять рапорт в Адмиралтейств-коллегию, чтобы та могла распорядиться о выделении материалов, необходимых для ремонта (см.: Ея императорского величества... государыни императрицы Екатерины Алексеевны Регламент о управлении адмиралтейств и флотов. Ч. 1. СПб., 1766. С. 15).

¹¹ Рукописный отдел Российской национальной библиотеки. Ф. 862. № 3. Л. 79об.–80.

Группировки российских генералов в 1812–1814 годах

Состояние и развитие современной историографии 1812 г. дает возможность рассмотреть один из самых малоисследованных вопросов той эпохи – взаимоотношения и расклад сил внутри российского генералитета, профессиональные, социальные и национальные особенности высшего командного состава, а также борьбу генеральских группировок в наиболее драматичные моменты боевых действий.

Армия, государство и общество в 1812 г.

В кризисных условиях, когда российской империи реально угрожала опасность потери национального суверенитета, только армия как главный инструмент защиты территориальной целостности могла спасти страну. Ее чрезмерно возросшая роль определялась другими факторами. В условиях подготовки к войне император и его высшие сановники стали уделять армии неослабное внимание: на военных посыпались награды, новые назначения, денежные выплаты и т. д. Властные структуры стали обхаживать ту основную силу, от действий которой зависело ее будущее. В 1812 г. произошла также резкая милитаризация общественной жизни, а государственные институты были вынуждены прислушиваться к голосу общества.

Накануне начала военных действий резко поменялся внутривнутриполитический курс в связи с изменением расстановки политических сил в высших сферах власти. Александр I, отправив в ссылку чуть ли не по обвинению в предательстве (во что он сам вряд ли искренне верил) крайне непопулярного среди дворянства либерала и реформатора М.М. Сперанского, выдвинул на ключевые государствен-

ные должности двух известных традиционалистов – А.С. Шишкова и Ф.В. Ростопчина, долгое время бывших не у дел. Имена обоих сановников четко олицетворялись в обществе с национально-патриотическими тенденциями. Фактически сменившего Сперанского на посту государственного секретаря адмирала Шишкова воспринимали как горячего поборника старины и стража чистоты русского языка, а возглавивший Москву («столицу недовольных») Ростопчин получил громкую известность как застрельщик патриотических памфлетов с антифранцузским содержанием. Действия царя не просто являлись уступкой дворянскому консерватизму или отказом от либеральных ценностей, а свидетельствовали о том, что власть перед грядущим военным столкновением стремилась найти в будущих, чреватых бедами обстоятельствах прочную опору в дворянском обществе. Это был весьма расчетливый ход правителя. Двух известных критиков предшествовавшей профранцузской либеральной политики привлекли к сотрудничеству и тем самым нейтрализовали.

За этой первой акцией в военной сфере последовало возвращение на службу ряда видных и известных в армии военачальников – барона Л.Л. Беннигсена, графа А.И. Остермана-Толстого, князей С.Н. Долгорукова, А.И. Горчакова, Д.М. Волконского, братьев Б.В. и Д.В. Голицыных и других. Все они, кроме немца Беннигсена, принадлежали по рождению к верхам российской аристократии, к тому слою, в котором постоянно возникала питательная среда для вспышек дворянской фронды. Всего же в течение войны в высший командный состав армии пришло пополнение из 98 лиц, перешедших в строй из гражданской службы или отставников. Боевой генералитет значительно увеличил свои ряды примерно на 20–25%. В подавляющем большинстве это были российские дворяне (выходцы из великорусских губерний). Иностранцев, принятых в русскую армию в 1812 г., можно было пересчитать по пальцам (Ф.Ф. Винцингероде, К.А. Поццо ди Борго, Ф.К. Тетенборн). Многие из русских генералов были уже тесно связаны долговременными узами с гражданской сферой и попали на службу, вступив в ополчение. Являясь по сути носителями тенденций и мыслей, царивших в обществе, они привнесли в высшие армейские круги патриархально-консервативные настроения.

Император и система военного управления в 1812 г.

Разительные изменения произошли в системе управления полевыми войсками. В самом начале 1812 г. вышло «Учреждение для управления Большой действующей армии» (заменившее Устав 1716 г.) – важнейшее законоположение, в котором с учетом происходивших значительных перемен в военном деле по-новому регламентировались права и обязанности лиц, причастных к армейскому управлению. Была создана новая правовая база для взаимоотношений между военачальниками различных уровней. Этот законодательный акт, как показали последующие события, был прогрессивным для своего времени документом, хотя некоторые его положения оказались недоработанными (все возможные коллизии нельзя предусмотреть ни в одном уставе). Именно эти обстоятельства, связанные с правовыми прорехами и недоработками, создали юридическую базу и условия для столкновений среди генералитета.

Предпосылки к жесткому противостоянию среди генералов были четко обозначены уже в предвоенные годы. Они вытекали из борьбы мнений и личностей в высших эшелонах власти. Расклад сил перед 1812 г. был следующим. Верховным арбитром в неизбежных спорах на государственном Олимпе всегда выступал император как высшая и непререкаемая инстанция. Собственно, борьба велась за возможность влиять на принимаемые им решения, оспаривать которые никто был не вправе. Можно очертить узкий круг лиц, контактировавших с ним по военным вопросам. В иерархической довоенной структуре формально высший пост (председателя Военного департамента Государственного совета) занимал граф А.А. Аракчеев. Формально, ибо он по закону являлся основным докладчиком царю по всем военным вопросам. На самом деле подготовка к войне со второй половины 1810 г., минуя Аракчеева, велась через (номинально подотчетного ему) военного министра М.Б. Барклая де Толли. Александр I, предпочитая напрямую решать все вопросы непосредственно с Барклаем, фактически отстранил на этот период своего любимца от дел. Поэтому степень воздействия Аракчеева на армейскую жизнь в то время была ограничена, за исключением, пожалуй, артиллерии.

Следующим в военной иерархии по важности и степени влияния на армию считался брат царя – великий князь Константин. Ему подчинялась гвардия, он занимал пост инспектора кавалерии и курировал военно-учебные заведения. По совокупности должностей, да еще с учетом происхождения, он являлся едва ли не равней этим двух высшим военным администраторам. Константин, как и Аракчеев, неприязненно относился к военному министру в немалой степени потому, что ведущая роль в подготовке армии к войне и в выработке стратегической линии принадлежала Барклаю.

Несколько в стороне от этих лиц (Барклай де Толли, Аракчеев и Константин) стоял руководитель высшего штабного органа армии (свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части, имевшей отдельное управление и независимой от военного министерства) – генерал-адъютант князь П.М. Волконский. Он занимался организацией своей службы. В тот период у него возникли временные охлаждения в отношениях с императором. В связи с этим он не мог играть заметной роли в общем раскладе сил, но считался непримиримым противником Аракчеева и, скорее всего, исходя из служебных интересов, находился ближе к Барклаю.

Из других лиц необходимо отметить генерал-адъютантов императора – узкий круг доверенных лиц, выбранных им для контроля за военной сферой и выполнения особых поручений. Все они имели право напрямую обращаться к монарху, да и без того часто контактировали с ним. Из этой когорты приближенных самым влиятельным на тот момент современники считали А.Д. Балашова, даже более влиятельным, чем Аракчеев. 1812 год был пиком его фавора, после чего звезда этого генерала начала закатываться. Поскольку Балашов являлся министром полиции, его воздействие на армейскую жизнь было минимальным, хотя он и играл ключевую роль в дворцовых интригах (например, в деле Сперанского). Самым же старшим в свите являлся Ф.П. Уваров, который в генеральские распри не вмешивался. Всего же перед началом военных действий в императорской свите числились 19 генерал-адъютантов и 5 генералов состояли при «особе Его Императорского Величества»¹.

Среди генералов, не имевших генерал-адъютантских эполет, следует особо выделить печально известного барона К. Фуля. Он преподавал Александру I основы стратегии и тактики и считался его советником по военно-теоретическим вопросам. Но этот стратег-схоласт из-за своей заносчивости, незнания русского языка, отсутствия даже минимальных связей при дворе и в высшем свете не мог рассматриваться в качестве влиятельной фигуры при решении важных военных вопросов. Ученый-педант, остававшийся в глазах большинства пруссаком в худшем смысле этого слова, лишь вызывал раздражение у русских военачальников и был объектом насмешек.

Важное место в военно-бюрократической пирамиде традиционно занимали иностранные родственники царя, также имевшие возможность непосредственно общаться с русским монархом. Значительные посты занимали герцоги А. Вюртембергский и Г. и П. Ольденбургские. Правда, имелись и опальные родственники, отношение к которым было, можно сказать, прохладным, – например, талантливый генерал Е. Вюртембергский, «вина» которого состояла только в том, что в свое время Павел I предполагал сделать его наследником русского престола.

Подобная кадровая расстановка вполне устраивала Александра I. Более того, он и являлся творцом системы гибкого равновесия. Баланс разнородных сил давал возможность самодержцу оставаться над схваткой и в нужный момент делать ставку на то или иное лицо, выдвигая поочередно тех или иных подданных. Кроме того, такая ситуация создавала условия для самоконтроля военной бюрократии. В отношении вооруженных сил Александр I в период всего царствования четко придерживался дуализма: он старался не отдавать все нити управления армией в руки одного человека. Ж. де Местр еще в 1808 г. писал о созданной Александром I управленческой системе, «по которой каждое из доверенных лиц действует лишь в ограниченной сфере. Он охотно и без отвращения использовал одновременно двух смертельных врагов, не давая им проглотить друг друга»². Исключение, с некоторыми оговорками, было сделано лишь на короткий отрезок времени для А.А. Аракчеева (1808–1810), когда последний занимал пост военного министра. Но на это у царя имелись особые причины.

Армия для Александра I – бесспорно, одного из выдающихся людей своего времени – всегда оставалась важнейшей и одновременно крайне опасной силой. Она являлась главной опорой трона, но при неумелом обращении с ней могла и свергнуть с престола неугодного монарха, как это не раз бывало в русской истории XVIII столетия. Неслучайно именно к 1812 г. относится создание Внутренней стражи – военных формирований, ориентированных на сохранение порядка и спокойствия внутри страны. Причем первоначально предполагалось, что эти войска останутся под крылом военного министерства, но император вывел их из юрисдикции Барклая и фактически подчинил себе, назначив возглавлять их своего генерал-адъютанта Е.Ф. Комаровского³.

В 1812 г. сложилась драматическая ситуация: развитие событий могло пойти по любому сценарию. Но именно армия в той или иной форме должна была сказать решающее слово. Император понимал это и задолго до начала военных действий подготовил несколько вариантов командно-штабных игр среди генералитета. Будучи едва ли не самым искусственным человеком в России в искусстве дворцовых интриг и мастером закулисных комбинаций, он заранее предвидел неизбежные столкновения среди генералов. Вынужденный в «годину бед» призвать под армейские знамена большое число профессионалов-отставников, многие из которых были тесно связаны с постоянно тлевшим недовольством аристократической фронды в недрах русского дворянства, Александр I шел на сознательный риск.

Среди вернувшихся на службу лиц было немало проштрафившихся, отставленных по суду за различные злоупотребления и проступки. Многих из них император не только не жаловал, но и, отлично зная их человеческие пороки и низкие моральные качества, откровенно не любил⁴. Однако грозные обстоятельства заставляли его использовать воинские дарования и опыт людей, к которым он не испытывал личного уважения⁵. Вследствие этого царю было крайне важно контролировать положение дел и борьбу среди генералитета. В конечном счете от этого зависело поведение армии в возможных экстремальных ситуациях. Ведь не только генералы апеллировали к Александру I и искали к нему подходы: к этому времени монарх выработал

и многочисленные механизмы обратного воздействия. Самый эффективный из рычагов контроля – расстановка кадров на ключевые посты в армии. Ни одно сколько-нибудь важное назначение не проходило без его одобрения. Все стратегические решения, а часто и тактические (из-за мелочного характера, унаследованного от отца), принимались лишь с его согласия. Император во время войны, если он не находился на театре боевых действий, избирал узкий круг лиц из второго эшелона управления (как правило, из начальников армейских штабов) для письменных докладов о ситуации в войсках. Помимо этого информация о настроениях в высших офицерских кругах становилась известна монарху через беззастенчивую перлюстрацию личной переписки генералов. Причем постоянно трудившийся «черный кабинет» не делал никаких исключений. Наоборот, чем выше была должность генерала, тем больше оказывалась вероятность того, что содержимое его писем докладывалось Александру I. Перлюстрировалась переписка не только российских подданных: в 1812 г. к царю своевременно попадали все письма английского комиссара в русской армии генерала сэра Р. Вильсона. Позже благодаря этому обстоятельству уже переведенные и переписанные от руки писарями копии его писем были опубликованы Н. Дубровиным и стали бесценным историческим источником⁶.

Заранее заданный сценарий:

первая жертва во имя воплощения замысла

Даже по опыту предшествующих войн, коих было немало в царствование Александра I, редко какая кампания обходилась без личных стычек и мелочных обид на коллег среди военачальников. Ничего удивительного в этом не было – в любые времена и во всех странах генеральская среда всегда отличается повышенной профессиональной конкуренцией и столкновением честолюбий. Борьба в недрах генералитета в 1812 г. велась в нескольких плоскостях и в разных направлениях. Она затрагивала многие аспекты, а в зависимости от ситуации и актуальности возникающих проблем видоизменялась и принимала различные формы. На клубок профессиональных, возрастных, социальных и национальных противоречий накладывал заметный отпечаток груз личных претензий и неудовольствий генералов

друг другом. Служебные столкновения в военной среде в мирное время были обычным явлением. В стрессовый период боевых действий обстановка чрезмерно накалялась, что и приводило к формированию группировок недовольных генералов.

Предпосылки будущих генеральских столкновений обозначились еще перед войной, когда развернулась «битва мозгов» между двумя противоборствовавшими сторонами. В России, как и во Франции, в 1810–1812 гг. шла интенсивная подготовка к войне и в тиши кабинетов разрабатывались стратегия и тактика будущих кампаний. В этот процесс оказались втянутыми лишь часть русского высшего генералитета и штабная молодежь. В их число входили М.В. Барклай де Толли, П.И. Багратион, Л.Л. Беннигсен, П.М. Волконский, К.Ф. Толь, К. Фуль, Е.Ф. Канкрин, А. Вюртембергский, Л.И. Вольцоген, Ф.Ф. Довре, Г.М. Армфельдт, Ф.П. Уваров, Ф.В. Дризен, И.И. Дибич, П.В. Чичагов, а также много иностранцев. В адрес русского командования поступило до 40 планов достижения победы над «доселе непобедимым» Наполеоном⁷. Большинство составителей проектов, если не брать в расчет детали, исходили из необходимости отступления в первый период войны. Меньшинство (но среди них такие значимые фигуры, как П.И. Багратион и Л.Л. Беннигсен) предлагали наступательные действия на чужой территории. Таким образом, перед войной выкристаллизовались два подхода к проблеме и между этими двумя точками зрения развернулась борьба.

Комплекс предвоенных планов послужил фоном или, в лучшем случае, источником, из которого черпал идеи М.В. Барклай де Толли, на которого император возложил основное бремя обязанностей по подготовке к войне. Несмотря на некоторые колебания в выборе пути и средств (из-под пера Барклая выходили и проекты превентивных наступательных действий), было принято твердое решение об отступлении в начале войны и затягивании военных действий по времени. Необходимость отхода в глубь страны как главная стратегическая идея витала в воздухе. Кроме того, она подтверждалась данными разведки о численном превосходстве французских сил. Барклай как военный министр, единственный из высших генералов имевший до-

ступ к секретным материалам (ему подчинялась Особенная канцелярия, орган русской разведки, через его руки проходили все разведанные и информация о состоянии русских войск), разработал, а затем с полного согласия Александра I осуществил отход русских войск. План принимался втайне, круг посвященных был ограничен, подавляющее же число военачальников не знали о его существовании. Но очевидная на бумаге и разработанная теоретически концепция необходимости отступления при реализации неизбежно должна была встретить неодобрение со стороны генералов-практиков, воспитанных на суворовских принципах наступательных войн второй половины XVIII столетия.

Александр I вел собственную игру и, будучи фактическим главнокомандующим в первый месяц войны, не считал нужным сообщать даже высшим генералам свои далеко идущие намерения. Он предпочитал отдавать приказы и раскрывать лишь детали будущего плана. Но, как искушенный политик, он прекрасно предвидел возможную негативную реакцию на отступление со стороны генералитета и общества. Подтверждение тому, что царь предугадал будущее, мы находим в его письме к Барклаю от 24 ноября 1812 г. «Принятый нами план кампании, – писал император после свершившихся событий, – по моему мнению, единственный, который мог еще иметь успех против такого врага, как Наполеон ... неизбежно должен был, однако, встретить много порицаний и несоответственной оценки в народе, который ... должен был тревожиться военными операциями, имевшими целью привести неприятеля в глубь страны. Нужно было с самого начала ожидать осуждения, и я к этому подготовился...»⁸.

Как же подготовился русский монарх? Точнее, что он сделал, чтобы избежать осуждения действий своей царственной персоны? Александра I вряд ли можно обвинить в отсутствии ума или незнании людей. Как тонкий психолог, он не любил подставлять себя под удары общественного мнения, всегда подстраховываясь и оставаясь в тени, предпочитал выставлять на общий суд мнимых инициаторов. Опытный и поднаторевший в интригах политик, он предварительно выбрал на «заклание» генералитету ряд фигур. В начале кампании самым подходящим объектом для критики военных кругов стал К. Фуль в связи с его идеей укреп-

ленного лагеря в Дриссе. В литературе всерьез считается, что в первый период войны русская армия действовала по плану этого генерала, поскольку в то время он пользовался полным доверием императора и считался чуть ли не «военно-духовным отцом государя». Но внук Екатерины II, прошедший школу придворного лавирования между бабкой и отцом, один из образованнейших людей своего времени, в решающий момент для своего престола, на наш взгляд, менее всего мог доверить составление операционного плана генералу-схоласту, не имевшему боевого опыта. Русский царь – многоликий политик, искусный дипломат и интриган – не решился бы вверить столь важное дело и, следовательно, раскрыть всю секретную информацию кабинетному теоретику, даже не владевшему русским языком.

Здесь уместно привести свидетельство К. Клаузевица (прикомандированного в то время к автору «дрисской идеи») об «изолированном» положении Фуля в среде русского генералитета: «Он не знал языка, не знал людей, не знал учреждений страны, ни организации войск, у него не было определенной должности, не было никакого подобия авторитета, не было адъютанта, не было канцелярии; он не получал рапортов, донесений, не имел ни малейшей связи ни с Барклаем, ни с кем-либо из других генералов... Все, что ему было известно о численности и расположении войск, он узнал лишь от императора: он не располагал ни единым полным расписанием, ни какими-либо документами, постоянно справляться с которыми необходимо при подготовительных мероприятиях к походу»⁹. План Фуля, который, как известно, так и не получил официального одобрения, относился к числу проектов, задуманных императором и рассчитанных на обман общественного мнения. Фигура же Фуля была выбрана как самый подходящий и идеальный объект для критики со стороны военных кругов. Как тонко подметил проницательный Ж. де Местр, Фуль был «пруссак с головой, набитой древней тактикой и тщеславными преданиями; каменщика сего приняли здесь за архитектора»¹⁰. Налицо же имелся требуемый результат – в Главной квартире почти не нашлось генерала, не бросившего камень в «Фулев» огород. Возможно, у царя, помимо Фуля, имелись и другие кандидатуры на закляние в угоду праведному гневу общества и генералитета. Например, Ф.О. Палуччи,

которого штабные генералы буквально «съели» в течение нескольких дней, и он просто не успел стать «козлом отпущения». Таким образом, Александр I умело, как через громоотвод, отвел первые удары молний от истинных творцов отступательной стратегии, т. е. от себя и от Барклая. Но только на короткий промежуток времени.

Главный «виновник» всех бед и «русская» партия

Вскоре Александр I покинул армию и, дав поручение Барклаю далее продолжать отход, оставил главнокомандующего 1-й Западной армии один на один с генералитетом. Военный министр стал вторым объектом для критики, еще более сильной, чем в отношении Фуля. Именно дальнейшее претворение в жизнь отступательной стратегии в практике боевых действий после соединения двух армий (Барклая и Багратиона) послужило мощным толчком для возникновения в армейских рядах настоящей военной оппозиции. Как блестяще доказал в своей монографии «Неразгаданный Барклай» А.Г. Тартаковский (едва ли не первый, кто так полно описал борьбу генеральских группировок в июле–августе 1812 г.), взрыв антибарклаевских настроений пришелся на период боев под Смоленском¹¹. Если развенчание дрисской затеи Фуля происходило в узком военно-придворном и штабном кругу под присмотром императора, то в акции против военного министра оказались втянутыми и широкие слои офицерского корпуса. Причем этот процесс явно вышел за рамки простой критики и уже не поддавался контролю со стороны российского монарха из-за его отдаленного пребывания. Первопричиной конфликта в армейских верхах стал профессиональный аспект, но, помимо него, следует указать и на комплекс застарелых проблем, наложившихся на создавшуюся ситуацию.

Фигура Барклая с начала его резкого карьерного взлета в 1809–1810 гг. вызывала большое раздражение среди высшего генералитета, особенно у представителей российской аристократии. Он воспринимался как выскочка, не имевший хорошей дворянской родословной. Хотя Барклай в третьем поколении являлся русским подданным, в обществе его воспринимали как иноземца, прибалтийского немца (лифляндца), или, по выражению Багратиона, «чу-

хонца». Это обстоятельство дало возможность противникам военного министра строить и вести яркую критику, активно используя тезис о «засилье иностранцев». В этот период национальный аспект в генеральских спорах внешне вышел на передний план. Во многом он был обусловлен итоговым раскладом национальных сил в генералитете – только 60 % генералов были русскими, а с единоверцами эта цифра увеличивалась до 66,5 %. Каждый же третий генерал (33 %) носил иностранную фамилию и исповедовал иную религию¹². Отметим еще одну любопытную деталь: по суммарным сведениям о русском офицерском корпусе 1812 г., обобщенным Д.Г. Целорунго, носители иностранных фамилий не превышали 9–11,1 %¹³. Национальная ситуация на армейском «олимпе» не соответствовала аналогичной раскладке в низах.

Засилье иноземных элементов в генеральской среде неизбежно должно было вызвать внутреннюю реакцию, что и произошло. Патриотический подъем и недовольство иностранцами в высших эшелонах армии и в военном окружении царя породили на начальном этапе войны в офицерской среде неформальную группировку, которую можно назвать «русской» партией¹⁴. В целом она выражала взгляды офицерской молодежи и генералов с русскими фамилиями. Эта группировка представляла мнение новой генерации российского дворянства, ориентированной на службу. Она не имела четко выраженной идеологии и руководствовалась национальными и узкопрофессиональными интересами. Обилие иноземцев в штабах и на командных должностях вызывало вполне понятные опасения с их стороны как за судьбу державы, так и за собственную карьеру. В драматических условиях отступления в среде высшего офицерского корпуса сложилось мнение, что за них уже все решили лица с нерусскими фамилиями. Принятая стратегия казалась им пагубной и грозила трагедией для армии и страны.

Сама по себе чрезвычайная, даже трагическая ситуация спланивала генералитет. В разгар смоленских событий генерал А.П. Ермолов в письме к Багратиону ясно выразил общее умонастроение: «Настоящие обстоятельства и состояние России выходят из порядка обыкновенного, налагают на нас обязанность и отношение необыкновенные... стрем-

ление всех должно быть к пользе общей, это одно может спасти погибающее Отечество наше!»¹⁵. В подобном положении многие считали невозможным оставаться безучастными «к пользе общей». Тезис «нам без немцев нет спасенья» большинство категорически отвергало, и на этом сошлись интересы многих русских генералов. В этом неформальном объединении связующими звеньями являлись родственные и дружеские отношения. Российское дворянство тогда представляло собой класс родственников, что способствовало национально-корпоративной консолидации и выработке единого отношения к происходившим событиям, в частности, к главному тогдашнему символу «зла» в русской армии – М.Б. Барклаю де Толли. Стоит лишь добавить, что «немецкая» партия в тот период так и не сложилась.

Знаменем военной оппозиции в противовес Барклаю стал главнокомандующий 2-й Западной армии князь П.И. Багратион. Его поддерживала часть старых генералов, имевших служебные претензии к Барклаю, но наиболее активно за него ратовала молодежь. Она расценивала отход войск в глубь страны как национальный позор и предательство. Кроме того, отступление без боев не давало возможности отличиться в сражениях, что, безусловно, было немаловажным фактором для любого офицера. Закулисным вдохновителем «русской» партии являлся прямой подчиненный Барклая начальник Главного штаба 1-й Западной армии молодой, энергичный и популярный в офицерской среде генерал А.П. Ермолов, державший нити многих интриг в своих руках.

Вероятнее всего, большинство офицерского корпуса никаким образом не участвовали в этой борьбе, составляя своеобразный резерв скрытой оппозиционности Барклаю, поскольку бесспорно общие симпатии были на стороне Багратиона. В то же время нельзя утверждать, что «русская» партия объединяла только антибарклаевские элементы в армейской среде. Ведь и у главнокомандующего 2-й Западной армией, как и у военного министра, тоже имелись противники. Например, вряд ли можно причислить к возникшей в Смоленске оппозиции (по утверждению некоторых авторов) командира 3-го пехотного корпуса генерала Н.А. Тучкова (следовательно, и двух его братьев). Он дей-

ствительно не жаловал Баркляя, но в то же время находился в неприязненных отношениях и с Багратионом. Вот как в более поздний период описывал их взаимоотношения М.В. Воронцов: «Эти два человека в молодости были друзьями по оружию, затем – соперниками и, наконец, врагами; они сухо приветствовали друг друга накануне сражения (Бородинского. – В. Б.), а затем увиделись вновь в этом месте, чтобы скоро опять встретиться в мире ином»¹⁶. В литературе не раз упоминался конфликт Баркляя с великим князем Константином, в результате которого цесаревича дважды высылали из армии (вероятно, по заранее полученному согласию императора). Но фигура брата царя, солдафонство которого было, по словам Ж. де Местра, «сущее бедствие для армии», неоднозначно воспринималась многими горячими сторонниками Багратиона, тем более что цесаревича не без основания подозревали в принадлежности к партии «мира»¹⁷. Другой факт: молодой генерал А.И. Кутайсов, не связанный никакими «партийными» пристрастиями, был делегирован к Баркляю группой генералов, чтобы переубедить того не отдавать Смоленск противнику¹⁸. Но в этой акции вряд ли можно заметить влияние «русской» партии.

*Генеральский заговор
или легитимная военная оппозиция?*

В свое время А.Г. Тартаковский квалифицировал создавшуюся ситуацию как генеральский заговор против Баркляя¹⁹. Да, безусловно, многие демарши военной оппозиции против главнокомандующего 1-й Западной армии проводились втайне, хотя борьба с высшим начальством вообще не характерна для военной среды. Но, на наш взгляд, деятельность «русской» партии в целом не выходила за рамки существовавшего законодательства и во многом была продиктована именно несовершенством военно-юридических норм.

Обычно исследователи так или иначе интерпретируют спор о старшинстве Баркляя и Багратиона, приводя иногда самые неожиданные аргументы. Необходимо четко обозначить, что Багратион был старше Баркляя в чине. В списке по старшинству он стоял впереди, следовательно, мог требовать подчинения себе младшего в чине в тех слу-

чаях, когда не имелось высочайшего приказа о назначении единого главнокомандующего. Он же добровольно подчинился Барклаю. Во-первых, 1-я армия по численности в два раза превосходила 2-ю армию; во-вторых, Барклай как главный разработчик плана отступления (а не только как военный министр) пользовался бóльшим доверием императора, нежели Багратион. Юридически это подчинение никак не было зафиксировано. На это была лишь добрая воля Багратиона, который в любой момент мог отказаться выполнять приказы Барклая, и по закону никаких претензий ему не могло быть предъявлено. Юридический парадокс заключался в том, что в отличие от всех предыдущих военных регламентов, предусматривавших подчинение исходя из принципа старшинства, Учреждение для управления Большой действующей армией 1812 г. наделяло обоих главнокомандующих абсолютно равными правами. Каждый из них нес ответственность только перед императором. Об этом неоднократно упоминал Багратион в своей переписке: «Я хотя старше министра и по настоящей службе и должен командовать, о сем просила и вся армия, но на сие нет воли Государя, и я не могу без особенного повеления на то приступить»²⁰.

С учетом этого обстоятельства бездоказательным является мнение некоторых историков, что Барклай возглавил войска, поскольку являлся военным министром²¹. В данном случае налицо попытка модернизации прошлого по аналогии с современностью. В те времена министр являлся всего лишь администратором с хозяйственными и инспекторскими функциями без права отдавать приказы главнокомандующим и вмешиваться в дела полевого управления войсками. Так, в начале войны главнокомандующий Дунайской армией П.В. Чичагов напрямую писал царю, что отказывается выполнять распоряжения из военного ведомства без подтверждения императора, и просил «предупредить военного министра, чтобы он не посылал приказаний от своего имени, – я их не приму». Еще ранее, в 1808–1809 гг., главнокомандующий русскими войсками в войне со шведами граф Ф.Ф. Буксгевден направил резкое послание тогдашнему военному министру А.А. Аракчееву, пытавшемуся вмешиваться в его управление армией. Буксгевден доказывал незаконность «вторжений в область ведом-

ства главнокомандующего» и блестяще «представил разницу между главнокомандующим армиею, которому государь поручает судьбу государства, и ничтожным царедворцем, хотя бы он и назывался военным министром». Позже текст письма получил рукописное распространение в общественных кругах. Сам Барклай никогда не позволял себе отдавать приказы другим главнокомандующим. Даже в разгар военных событий, «видя необходимость действовать согласованно», как он писал в письме к царю от 26 июля, «мог выразить генералу Торماسову токмо частным письмом мое желание, чтобы он поддался, насколько возможно, вперед»²².

В силу сложившихся обстоятельств «русская» партия приложила максимум усилий, чтобы донести свой голос до единственного человека, от которого полностью зависела ситуация, – до Александра I. С этой целью императору писали письма все, кто имел такое право (Багратион, Ермолов), воздействовали через отправлявшихся в Петербург генерал-адъютантов (П.В. Голенищева-Кутузова, П.А. Шувалова). Особенно настойчиво обращавшиеся выражали свое негодование в переписке с видными сановниками – Аракчеевым (зная, что содержание станет известно царю) и Ростопчиным (тот мог в собственной интерпретации пересказать суть дела в письмах к монарху, но самое главное – он мог влиять на общественное мнение Москвы). Багратион прямо писал об этом Ростопчину: «Прошу вас меня защитить перед публикой, ибо я не предатель, а служу так, как лучше не могу. Я не имел намерения вести неприятеля в столицу и даже в границы наши, но не моя вина»²³.

«Русская» партия в целом боролась легитимными методами. Она отнюдь не скрывала своих целей, действовала под влиянием и в рамках негласного поворота внутривнутриполитического курса. Можно назвать лишь одно исключение, которое могло иметь негативные последствия для сторонников Багратиона. Военная оппозиция попыталась оказать прямое давление на Александра I не только с целью назначить подходящего для генералов главнокомандующего, но и удалить от дел некоторых лиц в правительственной сфере. Находившийся в Смоленске проездом в Петербург генерал Р. Вильсон, имея в армейской среде еще с 1807 г. много друзей, увез, по его словам, «горячие мольбы всей армии от-

крыть императору правду». Англичанин имел с ним в столице продолжительную беседу, касавшуюся, как он выразился в своем дневнике, «деликатных предметов». Не называя конкретных фамилий генералов, Вильсон сформулировал их желание, чтобы российский самодержец лишил «доверенности ненадежных советников». Речь шла об увольнении от должности министра иностранных дел графа Н.П. Румянцева-Задунайского, ответственного в глазах общества за довоенную профранцузскую политику. Генералы опасались, что партия «мира» в Петербурге (вдовствующая императрица Мария Федоровна, великий князь Константин, А.А. Аракчеев) пойдет на заключение мирного соглашения с Наполеоном. Об этом писал Багратион Ростопчину 14 августа: «Слух носится, что канцлера потребовали в Петербург и что думают наши, как бы помириться. Чего доброго от Румянцева и Аракчеева все статься может. Боже сохрани! Тогда надо всякому офицеру снять мундир».

Уязвленный Александр I (военные пытались вмешаться в далекую от них гражданскую сферу) все-таки не пошел на поводу у оппозиционного генералитета. Уж очень подозрительно эти требования совпадали с британскими интересами. Император вынужден был попросить отправлявшегося в армию Вильсона довести до его анонимных друзей бескомпромиссную оппозицию, что ни при каких условиях «он никогда не войдет в какие-либо переговоры с Наполеоном до тех пор, пока хоть один вооруженный француз будет оставаться в русских пределах». В то же время он уполномочил английского генерала «использовать все свое влияние ради защиты императорских интересов во всех обнаруженных им случаях или замыслов нарушений оных»²⁴. Заморский гость впоследствии не преминул воспользоваться заманчивым правом выступить в роли защитника интересов не только Британской, а по совместительству и Российской империи.

«Избрание, сверх воинских дарований»

Еще до сдачи Смоленска в Петербурге были вынуждены решать наболевший для армий вопрос о назначении единого главнокомандующего. В конечном счете все замыкалось на императоре. В этот период борьба мнений в генеральской среде по поводу способа действий окончательно

переросла в столкновения личностей и группировок. Собранный 5 августа Чрезвычайный комитет по избранию состоял из шести высших сановников империи, двое из которых являлись сугубо штатскими лицами, остальные четверо не имели боевого опыта, а лишь подходили под категорию военных администраторов. Это доказывается тем, что один из важнейших вопросов предполагалось решать политическим способом. Комитет сначала заслушал полученные из армии донесения и частные письма (от императора их представил А.А. Аракчеев), а затем рассмотрел список претендентов на высший пост. Из шести предложенных кандидатов на этот пост в списке (Л.Л. Беннигсен, П.И. Багратион, Д.С. Дохтуров, А.П. Тормасов, М.И. Голенищев-Кутузов, П.А. Пален) двое (Пален и Беннигсен) по этнической принадлежности считались «немцами», но это обстоятельство никого не смущало. Окончательный выбор в пользу М.И. Кутузова был предопределен несколькими факторами. Во-первых, учитывалось общественное настроение, во-вторых, предварительное негласное утверждение Кутузова на этот пост самим императором.

Хорошо известно, что Александр I по многим причинам не был благосклонен к старому полководцу. Но не оставляет сомнения, что он не только дал согласие на это назначение, будучи вынужденным считаться с общественным мнением, которое выражало дворянство (как бытует в литературе), но и заранее (с середины июля) искусно подготавливал его для занятия такой важной должности. Этот выбор был предопределен предшествовавшими шагами царя: 15 июля – рескрипт Кутузову об организации корпуса для обороны Петербурга, помимо этого 15 и 17 июля – решения дворянских собраний об избрании Кутузова начальником Московского и Петербургского ополчений, 29 июля – указ императора о возведении его в княжеское достоинство с титулом светлости, 31 июля – рескрипт о подчинении ему всех военных сил в Петербурге, Кронштадте и в Финляндии, 2 августа – указ о его назначении членом Государственного совета. Эта череда назначений и почестей свидетельствует о том, что Александр I предвидел возможность высокого положения Кутузова в будущем, ибо другие кандидаты на этот пост устраивали его еще меньше по самым разным причинам.

Кутузов в глазах императора и общества обладал двумя качествами, возмещавшими все его недостатки: он был русским и, что самое главное, являлся одним из старейших боевых генералов. В «Списке генералитету по старшинству» на 24 июня 1812 г. Кутузов значился восьмым. Но все семь старших генералов из-за преклонных лет, болезней или отсутствия боевого опыта не могли быть ему конкурентами. Укажем нумерацию старшинства остальных претендентов: А.П. Тормасов – 14-й, Л.Л. Беннигсен – 17-й, П.И. Багратион – 23-й, М.Б. Барклай де Толли – 24-й, Д.С. Дохтуров – 28-й, а уволенный со службы П.А. Пален вовсе не числился. Неслучайно комитет аргументировал в первую очередь «избрание, сверх воинских дарований», Кутузова, основываясь «и на самом старшинстве»²⁵.

О том, что этот принцип во взаимоотношениях генералов играл огромную роль, сохранилось немало свидетельств. Так, 9 августа 1812 г. генерала от инфантерии И.С. Свечина не утвердили в должности начальника Новгородского ополчения. Причина отказа оказалась прозаической, ибо прямым начальником был уже «назначен генерал, младший его старшинством». Приведем другой пример. После ранения Багратиона в Бородинской битве на должность главнокомандующего 2-й Западной армии назначили Дохтурова, но на следующий день он был заменен М.А. Милорадовичем. Вот как сам Дохтуров описывал это событие в письме к жене: «...Во время последнего сражения командовал 2-ю армиею на место князя Багратиона, как он был ранен, после же сражения, когда Кутузов узнал, что я моложе Милорадовича, то очень передо мною извинялся, что должен армию, как старшему, препоручить ему. Я не был сим нимало оскорблен, ибо по старшинству сие следует, между тем я командовал сею армиею во время страшного сего сражения и уверен, что дело свое сделал хорошо и заслужил уважение целой армии». Как считал адъютант Кутузова А.И. Михайловский-Данилевский, «кто не служил в армии, тот не может постигнуть, сколь прискорбно находиться в команде младшего, редкие могут сие постигнуть». А такое случалось в боевой практике 1812 г., вследствие чего происходили скандалы в военной среде. Можно припомнить имевший громкий резонанс инцидент с казачьим генерал-майором И.К. Красновым, которого во вре-

мя боев под Смоленском подчинили младшему в чине генерал-майору И.Г. Шевичу. Получивший от своего подчиненного рапорт, возмущенный атаман М.И. Платов сделал Ермолову запрос, составленный фактически в виде жалобы: «Обида, господином Красновым описываемая ... не только для него, но и для меня и даже всего войска очень чувствительна... Прошу Вас приказать в подобных случаях по военному списку выправляться о старшинстве господ генералов во избежание обиды, от подчинения старшего младшему чувствуемой»²⁶.

Среди генералитета господствовал устойчивый стереотип, что старшинство в чине выше старшинства в должности, по крайней мере чин должен был соответствовать должности. Но на практике это не всегда выдерживалось. Например, если младший в чине генерал получал в командование корпус, а старший оставался дивизионным командиром (а такие случаи были нередкими и в 1812 г.), то это воспринималось как нарушение субординации и устоявшихся негласных норм.

Новый главнокомандующий помимо того, что он был самым старым из всех дееспособных полных генералов империи, единственный имел титул светлейшего князя, что усиливало его старшинство. Этот фактор, а также концентрация почти неограниченной власти в одних руках внешне утихомирили генеральские страсти, хотя и не уменьшили числа недовольных. «Русская» партия не добилась поставленных целей, но у нее выбили главный козырь. Во главе армий был поставлен полководец с русской фамилией, имевший, как ученик и продолжатель дела знаменитого Суворова, популярность в армии и одновременно пользовавшийся поддержкой консервативных кругов дворянского общества. Кроме того, пропала даже видимая легитимная возможность вести какую-то борьбу. Субординация и дисциплина препятствовали этому, оставалось лишь выражать недовольство в частных разговорах.

С прибытием Кутузова к войскам кардинально изменился и расклад сил в армейских верхах. По свидетельству Ж. де Местра, новый главнокомандующий перед отъездом из Петербурга изъявлял желание определить на место начальника штаба маркиза Паулуччи и даже договорился с ним об этом. Но в последний момент все же предпочел вы-

полнить рекомендацию Чрезвычайного комитета об «употреблении» Л.Л. Беннигсена («по собственному усмотрению») и отдал эту ключевую должность данному генералу, до того лишь состоявшему при императоре без определенных обязанностей. Рескрипт о назначении Беннигсена был подписан 8 августа Александром I. Кутузов же встретил его по дороге в армию в Торжке и уговорил занять это место. Беннигсен следующим образом описал свою реакцию и возникшие сомнения: «Честолюбие и особое самолюбие, которое не может и не должно никогда покидать военного человека, внушало мне нежелание служить под начальством другого генерала после того, как я был уже главнокомандующим армиею, действовавшею против Наполеона...». Кутузов же сослался на «желание Государя». Скорее всего, эта идея принадлежала самому императору, он не жаловал обоих военачальников, не доверял каждому из них, но, учитывая их личные качества, предпочитал держать вместе для взаимоконтроля. Нахождение под одной крышей этих маститых генералов, претендовавших на лавры полководцев и придерживавшихся совершенно противоположных методов ведения войны, очень скоро, как показали дальнейшие события, превратили их из друзей с 40-летним стажем в непримиримых конкурентов и противников. Именно их взаимоотношения определили развертывание последующей борьбы в генеральской среде. В целом при оценке сложившейся ситуации оказался прав хорошо знавший и не любивший Кутузова Багратион: «Теперь пойдут у вождя нашего сплетни бабыи и интриги»²⁷.

Хотя Беннигсен и считался начальником штаба, Кутузов с самого начала попытался ограничить его влияние через своих доверенных лиц. Первоначально он использовал своего зятя – князя Н.Д. Кудашева, назначенного дежурным генералом, и близкого к Кутузову полковника П.С. Кайсарова. Влияние на светлейшего этих молодых полковников на первых порах вызывало явное неудовольствие со стороны генералитета. Вскоре они были заменены, на первые роли вышли П.П. Коновницын и К.Ф. Толь, действия которых оказались более профессиональными и эффективными. Они сумели за короткий срок замкнуть на себе все реальные нити управления армейской жизнью и оттеснить Беннигсена. Появилось и другое обстоятельство –

важнейшую и ключевую должность в войсках стал занимать приведший пополнение перед Бородинским сражением М.А. Милорадович, один из старейших полных генералов. К Кутузову он относился лояльно, хотя позволял критические высказывания в его адрес, но вряд ли разделял взгляды «русской» партии. К тому же у него имелся солидный список личных претензий к Багратиону, что наглядно проявилось при поступлении 2-й Западной армии под его начало. Вот как вспоминал С.И. Маевский этот момент: «Милорадович встретил штаб его длинною и несвязною речью, делал колкости памяти покойного Багратиона...». Позже главнокомандующий 3-й Обсервационной армией А.П. Торماسов после соединения с частями адмирала П.В. Чичагова был переведен в Главную квартиру, первоначально на место Багратиона, а затем он принял командование войсками Соединенной армией, исключая авангард и отдельные отряды. За короткий срок пребывания при Кутузове Тормасов фактически не успел себя проявить и не участвовал в генеральских интригах»²⁸.

Первое крупное столкновение генеральских амбиций на профессиональной почве состоялось при Кутузове во время исторического военного совета в Филях, решавшего судьбу Москвы. Причем национальный аспект, столь зримый еще совсем недавно, вообще не имел места, хотя именно «немцы» играли все первые роли. Парадоксальный факт: позицию на Воробьевых горах выбрал и предложил К.Ф. Толь, а главными оппонентами по уже неоднократно поднимавшемуся вопросу «сражаться или отступить?» стали Барклай и Беннигсен. Генералы с русскими фамилиями как будто забыли об их этнической принадлежности и в весьма драматической ситуации вынуждены были присоединиться к одной из точек зрения, высказанной «немцами». Лишившись Багратиона в Бородинской битве, «русская» партия уже не могла выступать консолидированно. Ее представителям не удалось даже сформулировать свое понимание ситуации. В большинстве своем они (допущенные на совет) поддержали мнение Беннигсена о необходимости нового генерального сражения во имя спасения первопрестольной. Но сама личность Беннигсена вызывала у многих генералов раздражение, и это обстоятельство (кроме здравого смысла) не позволило объеди-

ниться и выступить организованно против отступательной идеи Барклая.

Кутузов, как мудрый политик, инициировавший обмен генеральских мнений, занял самую удобную в тех обстоятельствах позицию. Он встал над схваткой и выступил в роли судьи с заключительным вердиктом о неизбежном оставлении Москвы. Многие генералы – участники совета – впоследствии сильно переживали из-за «уступления» Москвы, сетовали, оправдывались или находились в подавленном состоянии. Гостивший у П.П. Коновницына в начале 1813 г. Михайловский-Данилевский вспоминал: «Редкий день проходил без того, чтобы он не упоминал мне о сем обстоятельстве, присовокупляя каждый раз: “Я не подавал голоса к сдаче Москвы и в военном совете предложил идти на неприятеля”». Дохтуров по горячим следам в письме к жене от 3 сентября писал: «...Я в отчаянии, что оставляю Москву. Какой ужас!.. Какой стыд для русских покинуть отчизну без малейшего ружейного выстрела и без боя. Я взбешен, но что же делать?.. После всего этого ничто не заставит меня служить»²⁹.

Интриги в Тарутинском лагере

Генеральские страсти вновь разыгрались после оставления Москвы в период нахождения армии в Тарутинском лагере. А.С. Пушкин как-то обронил странную на первый взгляд фразу о том, что Кутузов оставался в «мудром деятельном бездействии в Тарутине». В самом деле, русская армия получила необходимую передышку, но главнокомандующий и его военачальники продолжали активно действовать, правда, не на поле брани. Основным местом «действия» стали армейские штабы, где бушевали нешуточные страсти, разыгрывались различные закулисные комбинации, а причина таилась в оскорбленном честолюбии и непомерных амбициях генералов. «Я в Главную квартиру почти не езжу, – писал 7 октября Н.Н. Раевский А.Н. Самойлову, – она всегда отдалена. А более для того, что там интриги партий, зависть, злоба, а еще более во всей армии эгоизм, несмотря на обстоятельства России, о коей никто не заботится»³⁰.

Высший генералитет и штабная молодежь за глаза критиковали нового главнокомандующего. По словам

Ф.В. Ростопчина, после оставления Москвы его называли то «предатель», то «темнейший», а многие офицеры громко заявляли, «что стыдно носить мундир»³¹. Среди тех генералов, кто неодобрительно и негативно отзывался о Кутузове, были многие известные лица и герои 1812 г.: Багратион, Барклай де Толли, Беннигсен, Ермолов, Платов, Раевский, Дохтуров и другие. Помимо личных и старых служебных обид генералы ставили ему в вину чисто профессиональные упущения: неудачу Бородинского сражения, оставление Москвы без боя, разлад армейской системы управления, пассивность и бездеятельность в ведении военных действий. В доносах, поступавших из Тарутина в Петербург, фигурировало и обвинение, что главнокомандующий спит по 18 часов в сутки. Весьма любопытно реагировал на это заявление генерал Б.Ф. Кнорринг: «Слава Богу, что он спит, каждый день его бездействия стоит победы». Не менее оригинально и живо тот же генерал отреагировал на другое обвинение («возит с собою переодетую в казацкое платье любовницу»): «Румянцев возил их по четыре. Это не наше дело»³².

Следует отметить, что в военных кругах новый главнокомандующий за оставление Москвы и дезорганизацию войскового управления подвергался яростным нападкам не менее жестким, чем в свое время под Смоленском Барклай. Письма к нему от императора, наполненные в этот период упреками и выговорами, дают полное основание считать, что Александр I в сложившейся критической ситуации был не просто недоволен Кутузовым, но и готовился при появлении веских оснований отстранить его от командования (на этот пост обсуждалась кандидатура П.А. Зубова). И такая ситуация во многом связывала Кутузову руки: он не мог в одночасье расправиться со своими хулителями. В то время при армии находились имевшие большой вес в общественном мнении и носившие тяжелые генеральские эполеты Беннигсен, Барклай де Толли, Ростопчин и Вильсон – главные и гласные (как имевшие право писать царю) критики главнокомандующего.

Но в армии не было единой и хорошо организованной антикутузовской «партии», так как каждый из названных лиц имел свои резоны и преследовал собственные цели. Кроме того, большинство относились к возможным

коллегам по оппозиции не менее негативно, чем к верховному вождю русских армий. Иначе говоря, какая-либо база для возникновения сплоченной коалиции полностью отсутствовала. В этих условиях Кутузов получал неоспоримые преимущества для борьбы с генеральской фрондой. Будучи человеком хитрым, обладая огромным терпением и богатым опытом придворных и дипломатических интриг, он никогда не торопился, всегда соблюдал внешний политес и прилюдно оказывал знаки внимания и уважения генералам-конкурентам, но в то же время дожидался удобного момента, чтобы удалить или нейтрализовать соперника. Труднее приходилось с теми, кто находился вне его компетенции. Критика действий «светлейшего» раздавалась не только из стана русских воинов, но и от английского генерала Вильсона, а также от московского главнокомандующего Ростопчина, неподвластных высшему командованию.

С потенциальными конкурентами (критиками, которые могли «подсидеть») Кутузов, проявив терпение и незаурядные способности в закулисной борьбе, разобрался в течение 1812 г. Не любивший нового главнокомандующего Багратион выбыл из строя после Бородино; затем, можно сказать добровольно, сошел с дистанции оскорбленный Барклай де Толли; отдалился волею судьбы от эпицентра событий Ростопчин. Фактически перестали существовать и штабы 1-й и 2-й армий – центры интриг и борьбы генеральского честолюбия. Раздражающим фактором долгое время оставался лишь Л.Л. Беннигсен, единственный из высшего командного состава, кто обжаловал поведение главнокомандующего в письмах к императору. Но после допущенных Беннигсеном тактических промахов во внутривидеальных разборках царь дал Кутузову карт-бланш на решение его участи, и главнокомандующий эффектно выслал из армии своего главного конкурента, причем смог отомстить Беннигсену с «изысканной жестокостью». Не случайно Н.Н. Раевский еще в 1810 г. писал: «С Кутузовым же и никому служить небезопасно, хотя, по моему мнению, он более других имеет способов командовать»³³. Но в разыгравшемся противодействии «Кутузов–Беннигсен» нельзя найти национальной подоплеки. Несмотря на то что у Беннигсена в армии имелось много личных недоброжелателей,

вокруг него постоянно группировалась часть военной элиты с русскими фамилиями.

В рядах кутузовской оппозиции имелись и фигуры второго ряда. Среди них следует особо выделить Ермолова. Активный участник «русской» партии в тарутинский период несколько присмирел, поскольку оказался отодвинутым с первого плана и был фактически поднят штабным окружением Кутузова. В письме к А.А. Закревскому в начале октября он писал в своей обычной ироничной манере: «Я не бываю в Главной квартире, не хожу к князю, не бывши зван, но сколько редко бываю, успел заметить, что Коновницын – великая баба в его должности. Бестолочь, страшная во всех частях, а канцелярия разделена на 555 частей или отделений, департаментов и прочее». Более того, начальник штаба 1-й армии явно сожалел об убытии своего бывшего начальника Барклая: «Правда, что мы заместили Михаила Богдановича лучшим генералом, то есть богом, ибо кажется, один уже он мешается в дела наши, а прочие ни о чем не заботятся»³⁴. Сам же главнокомандующий относился к Ермолову крайне настороженно и старался действовать осмотрительно, и не только оттого, что знал его независимый характер. Ермолов продолжал поддерживать свои, впрочем непростые, отношения с великим князем Константином и А.А. Аракчеевым; он мог в любой момент по своей должности напрямую написать письмо Александру I. Поэтому Кутузов старался «лишний раз не дразнить гусей» и даже закрывал глаза на вполне очевидные упущения и небрежное исполнение обязанностей со стороны Ермолова. Например, 4 октября была отменена запланированная атака всей русской армии на авангард Мюрата из-за того, что он до поздней ночи участвовал в одной генеральской попойке и не успел вовремя разослать диспозицию. Кутузов этот проступок оставил без последствий для начальника штаба 1-й армии и предпочел найти другого «стрелочника», чином куда ниже³⁵.

Легендарный «вихорь»-атаман и его «брат Вильсон»

В Тарутинском лагере случались и другие мелкие интриги и демарши генеральского недовольствия. Как вспоминал А.И. Михайловский-Данилевский, «в это время три предмета возбуждали всеобщее негодование: мародерство,

поведение московского дворянства и поступки атамана Платова». Адъютант М.И. Кутузова оценивал происшедшее глазами своего шефа и считал, что атаман «всех восстановил против себя и против казаков». Весьма интересно и другое откровение этого маститого историографа и мемуариста: «Платова и Барклая де Толли почитали в армии тогда главными виновниками бедствий России. Последствия доказали, сколь подозрения на второго из них были несправедливы...»³⁶. Из этого высказывания следует, что как раз подозрения в отношении первого были весьма справедливы. Резкая оценка была обусловлена в первую очередь антикутузовской позицией Платова в тот период. Донской атаман также причислялся к оппозиции, правда, не к ее главным действующим лицам, а всего лишь ко второму ряду. Его разногласия с Кутузовым не носили принципиального характера, а диктовались личностным фактором – неприязнью и мщением за прошлое со стороны самого высшего начальника. Предводитель казачьих полков оказался одним из немногих высших генералов, не награжденных за Бородино, затем был отрешен от командования арьергардом, а в Тарутинском лагере находился без всякой должности. Скорее всего, Платова, оставаясь он в бездействии, ждала судьба Беннигсена. Об этом свидетельствовали не только нападки со стороны окружения Кутузова, но и циркулировавшие вдали от армии слухи, а в России они чаще всего являлись отзвуками истинного положения дел. Атаман предпринял в этот период ряд эффектных акций, включая массовое «заболевание» командиров казачьих полков – рапорты о болезни являлись тогда самой удобной формой демонстрации недовольства подчиненных действиями высшего начальства.

Но окончательно выправил ситуацию старый друг атамана Вильсон. Он как раз прибыл в Тарутино, взял Платова под свою защиту и, собственно, выступил посредником в налаживании отношений между Кутузовым и «вихорь-атаманом». «Брат Вильсон» (платовское выражение) застал своего боевого товарища «безо всякой команды и удаленным от тех, кои почитают его равно как отца, так и начальника», пребывавшим «чуть ли не на пороге смерти от огорчения и обиды»³⁷. Английский генерал стоял «на одних квартирах» с Платовым, часто у него обедал. Атаман по-

дарил ему скакуна, снабжал вином и провизией с Дона. Новые акции против Платова неизбежно имели бы уже международный оттенок. В этом случае нетрудно было предугадать негативную реакцию Александра I, и Кутузов это отлично понимал. Казачий предводитель оказался под английской защитой и стал недосягаемым для новых уловок. Конечно, фигура донского атамана не устраивала главнокомандующего, но в этой ситуации требовалось забыть давние неудовольствия и ради общего блага попробовать договориться с ним или хотя бы заключить временное перемирие.

Это обстоятельство позволило Вильсону как посреднику между конфликтующими сторонами быстро найти общий язык. Британский представитель оказался искренне заинтересованным в прекращении затянувшегося конфликта. Можно, конечно, говорить, что его стремление к примирению диктовалось корыстными заботами о стране, которую он представлял. Но любые неурядицы в среде русского генералитета в тот момент не шли на пользу Британской империи и входили в противоречие с ее интересами. Однако, как бы ни истолковывались мотивы поведения Вильсона, в конце сентября Платов вновь получил под свое командование казачий корпус³⁸. Так Кутузов примирился с существовавшей тогда «казачьей» партией в генеральских рядах, которую в первую очередь олицетворял знаменитый «вихорь-атаман».

Вильсон, без всякого сомнения, выполняя секретные инструкции своего кабинета, играл весьма заметную роль на минном поле армейских интриг. В этом ему во многом помогала крепкая репутация «злейшего врага Наполеона» и личные дружеские связи с русскими генералами. Правда, с Кутузовым в силу противоположности темпераментов и разного понимания методов достижения победы отношения у него не сложились. Как представитель союзной державы, Вильсон занимал в Главной квартире русской армии исключительное положение. Он имел право прямой переписки с царем и в письмах резко критиковал действия главнокомандующего, однако Кутузов, несмотря на их в высшей степени враждебные отношения, не мог его удалить из армии и поневоле был вынужден с ним считаться. В целом англичанин занимал антикутузовскую позицию, но немало

претензий у него было и к Беннигсену. В то же время, заинтересованный прежде всего в полном разгроме наполеоновской армии, он искренне пытался для пользы дела примирить с Кутузовым не только Платова, но и Беннигсена. Взаимная же вражда двух высших военачальников зашла так далеко, что эта попытка потерпела неудачу.

Если рассматривать борьбу Кутузова с оппонентами, можно отыскать только два момента, когда недовольные генералы имели шансы что-либо изменить в расстановке сил на высшем военном олимпе. Первый и вполне легитимный – это заседание знаменитого военного совета в Филях. Но в рядах генералитета не существовало единой антикутузовской партии, каждый имел к потенциальным лидерам военной оппозиции не меньше претензий, чем к главнокомандующему. Кутузов же смог, столкнув лбами двух главных оппонентов (Барклая и Беннигсена), встать над схваткой. В целом ему удавалось контролировать ситуацию и направлять ход событий в нужное для него русло.

Второй момент возник во время пребывания армии в Тарутинском лагере, когда Кутузов решился встретиться с посланцем Наполеона Лористонам. Это вызвало бурную реакцию со стороны британского генерала и по совместительству «защитника императорских интересов» Вильсона. Как явствует из его бумаг, он был срочно вызван с аванпостов в Главную квартиру, где встретился с Беннигсеном и рядом генералов. «Они представили ему доказательства, что Кутузов в ответ на переданное через Лористона предложение Наполеона согласился этой же ночью встретиться с сим последним на Московской дороге... дабы обсудить условия соглашения о незамедлительном отступлении всей неприятельской армии из пределов России, каковое соглашение долженствовало бы послужить предварительной договоренностью к установлению мира». Далее была подтверждена «решимость генералов, которую поддержит и армия, не допустить возвращения Кутузова к командованию, ежели поедет он на сию ночную встречу в неприятельском лагере». Вильсону вместе с герцогами А. Вюртембергским и П. Ольденбургским, а также с князем П.М. Волконским удалось убедить Кутузова не ездить на переговоры, а лишь принять Лористона в русском лагере³⁹. Но никаких резких шагов со стороны русского генералитета не после-

довало, хотя впору утверждать о существовании и «английской» партии, деятельно отстаивавшей русско-британские интересы.

Под занавес кампании: генеральские обиды

Последним и самым заметным актом генеральских ссор на высшем уровне стала опала главнокомандующего 3-й Западной армии адмирала П.В. Чичагова, на которого общее мнение не без помощи Кутузова возложило ответственность за неудачи на Березине. Фигура Чичагова из-за своей неординарности вызывала в среде генералитета резкое раздражение. Первоначально в 1812 г. Александр I вверил ему Дунайскую армию для осуществления экспедиции на Балканы. С этой точки зрения назначение казалось в какой-то степени оправданным, но, когда армия была перебросена на главный театр боевых действий, сухопутный адмирал без опыта командования армейскими соединениями такого масштаба воспринимался при удалении от морских просторов как недоразумение. Дохтуров иронично замечал, что «наш адмирал управляет все по ветрам», а Кутузов считал, «что моряку нельзя ходить по суше»⁴⁰.

Помимо профессиональной предвзятости армейских генералов в отношении моряков, многие современники указывали на независимый характер Чичагова и его весьма критическое отношение к собственной стране⁴¹. Подобные взгляды в момент патриотического подъема также диссонировали с общим настроением. Чичагов, пользовавшийся доверием императора, всегда имел много врагов в высших эшелонах власти, но очень скоро приобрел противников среди командного состава и в своей армии. Немаловажным фактором стало личное, затаенное до времени, неудовольствие Кутузова. (Чичагов был послан сменить его на посту главнокомандующего Дунайской армии для скорейшего подписания мира с турками.) Хотя не только Чичагов, но и Кутузов с Витгенштейном, оставившие его один на один с Наполеоном, в равной степени допустили явные промахи в Березинской операции и должны были по справедливости разделить ответственность за ее исход, вся вина пала на адмирала. Чичагова стали называть в военных кругах не иначе, как «ангел-хранитель Наполеона». Так, вспоминая появление в конце кампании Чичагова в Вильно, генерал

А.М. Римский-Корсаков следующим образом описал его прибытие в Главную квартиру: «Адмирал сей в общем мнении на весьма невыгодном счете. Сами военные простить ему не могут утечку Наполеона, и нет человека, ему доброжелательствующего»⁴². Под давлением общественного негодования Чичагов вскоре покинул свой пост.

Антикутузовские настроения мало затрагивали низы армии, и офицерский корпус в целом находился во власти официальных представлений о «победителе Наполеона». В конце кампании лишь некоторые штабные сотрудники позволяли себе негативно оценивать главнокомандующего в своей частной переписке. Одним из таких смельчаков оказался А.А. Закревский, продолжавший мыслить и писать в духе «русской» партии («за что произвели его в фельдмаршалы?»; «по милости вышних начальников мундир нам носить не хочется»). Он также резко высказывался по поводу награждения Александром I Кутузова высшим военным орденом св. Георгия: «Надел на Старую Камбалу Георгия 1-го класса. Естли спросите за что, то ответа от меня не дождетесь»⁴³.

В Вильно в конце кампании император встретился с Р. Вильсоном и заявил, что у него много претензий к Кутузову: «Он избегал, насколько сие оказывалось в его силах, любых действий противу неприятеля... но московское дворянство стоит за него и желает, дабы он вел нацию к славному завершению сей войны. Посему я должен... наградить этого человека орденом св. Георгия, хотя тем самым нарушу его статут, ибо это есть высочайшая награда в империи... Но, к сожалению, выбора нет – надобно подчиниться вынужденной необходимости». Если же принимать на веру цитату из сочинения английского генерала, то под московским дворянством царь, конечно, разумел все российское благородное сословие, поскольку вслед за Ростопчиным многие москвичи как раз ругали Кутузова за сдачу и пожар первопрестольной. Тут уместно привести и мнение другого, не менее знаменитого иностранца и брата русского генерала – Ж. де Местра: «...Решали все природные русские, которые не желали делиться славой с иноземцами. Сами избрав Кутузова, они хотели создать для него гигантскую репутацию, для чего надобно было не только приписать ему все заслуги и неимоверно преувеличить оные, но еще отне-

сти все его ошибки на счет других, что и было сделано»⁴⁴. Бесспорно, элементы истины есть в этих словах. Кутузов в общественном мнении навсегда остался «спасителем Отечества», а Александру I всего лишь досталась роль «избавителя Европы».

В конце кампании 1812 г. в связи с прибытием к войскам императора происходила большая раздача наград и чинов, что послужило причиной очередных неудовольствий и личных обид в генеральской среде. «Сказать должно однакож, – писал 16 декабря из Главной квартиры А.М. Римский-Корсаков, – что интриг пропасть, иному переложили награды, а другому не домерили». Примерно в тех же тонах высказывался об этом и Н.Н. Раевский: «Раздают много наград, но лишь некоторые даются не случайно»; затем, перечисляя генералов, удостоенных высшего внимания, сделал очень характерную приписку: «...а я, который больше всех, чтобы не сказать один, трудился, должен дожидаться хоть какой-нибудь награды»⁴⁵. В дошедшей до нас частной переписке, относящейся к концу кампании, многие генералы высказывали своим близким недовольство большим количеством отличий своих коллег и жаловались на то, что их заслуги не были оценены по достоинству.

*Заграничные походы. Генералитет под главенством
«кротчайшего монарха»*

Приезд императора в армию (вместе с ним в Вильно прибыли великий князь Константин, Аракчеев, П.М. Волконский) повлек за собой очередную корректировку в расстановке сил среди верхушки армейского управления. Новые назначения происходили не без личных столкновений и подковерной борьбы, чему способствовало и прибытие императорского окружения. «Главная квартира, где присутствует особенно царь, – писал С.Г. Волконский, – есть тот же столичный быт дворцовых интриг». «Связи и интриги делают все, заслуги – очень мало», – вторил ему Н.Н. Раевский. Александр I был вынужден считаться с Кутузовым, но, недовольный (во многом справедливо) его деятельностью, твердо решил взять под строгий контроль происходившие процессы. Тем самым главнокомандующий продолжал выполнять почетную функцию победителя Наполеона (что было очень важно для привлечения будущих

союзников по европейской коалиции), но его роль оказалась уже сильно ограниченной. В конце кампании 1812 г. стали отодвигать от дел Коновницына. «По тем же расчетам, по коим пал Бениксон, начал упадать и Коновницын; ибо слишком прославляемая в Петербурге слава его начала рябить в глазах Кутузова», – писал впоследствии С.М. Маевский. По его мнению, которое разделяли многие современники, К.Ф. Толь «после отступления неприятеля из Москвы начал играть большое лицо, независимо от Коновницына». Кутузов хотел видеть на должности дежурного генерала К.И. Оппермана, чему противился не желавший терять своего влияния Толь. Но император распорядился по-своему. Пост начальника штаба занял П.М. Волконский. «Как мне показалось, – вспоминал Маевский, – фельдмаршал этим выбором крайне был недоволен, потому что живой свидетель царя мог ему передавать живую картину фельдмаршала; при том, с нами он работал, когда хотел, а с Волконским работал хотя и по неволе, но без отказа»⁴⁶. С этого момента оперативные вопросы стали решаться через Волконского.

Все внутренние вопросы военного управления (хозяйственные, подготовка резервов, назначения, награды, переписка царя и т. д.) с самого начала войны Александр I сразу же замкнул на Аракчееве. «Июня 17-го дня, 1812 года в городе Свенцянах, – писал об этом событии сам знаменитый временщик, – призвал меня государь к себе и просил, чтобы я опять вступил в управление военных дел, и с оного числа вся Французская война шла через мои руки, все тайные донесения и собственноручные повеления государя императора». Многие военачальники начали его именовать дежурным генералом, за что получали замечания от царского фаворита⁴⁷.

Роль Аракчеева в военном управлении на рассматриваемый период времени до сих пор остается не исследованной в отечественной историографии. Для публики он находился в тени, но некоторое представление о значимости его фигуры в 1812 г. дает переписка между ним и Александром I⁴⁸. Неслучайно большое количество документов той эпохи отложилось в его личном архиве (ОГВИА. Ф. 154). Осведомленные современники отмечали его резко возросшую роль в коридорах власти. Прибывший в ноябре 1812 г.

из армии в столицу А.А. Закревский в письме к А.Я. Булгакову отмечал: «Аракчеев в Петербурге сила всемогущая». Эту «силу» очень скоро почувствовал на себе и Кутузов. Он хотел назначить на пост начальника артиллерии объединенных армий генерала Д.П. Резвого, но Аракчеев настоял, сославшись «на волю государя», чтобы в этой должности был утвержден Ермолов. Сменивший Чичагова и призванный в Главную квартиру Барклай вынужден был несколько дней дожидаться приема у всемогущего любимца императора, а когда наконец 10 февраля 1813 г. был удостоен аудиенции, то подвергся изощренному унижению⁴⁹.

Полный контроль над армией через близких лиц позволил императору единолично принять стратегически важное решение о переносе боевых действий за пределы России. Еще во время кампании 1812 г. Александр I был уверен, что «если хотеть мира прочного и надежного, то надо подписать его в Париже»⁵⁰. По многим косвенным данным (в основном мемуарным), Кутузов неоднократно высказывался против перехода русскими войсками границ. Но в силу характера он ни официально, ни в письменной форме не зафиксировал своего мнения. Кроме того, генерал-фельдмаршал по сути и не имел иного выбора: будучи слишком опытным и искушенным царедворцем, он не противился царской воле и вынужден был подчиниться.

Отметим другой важный фактор. В 1813–1814 гг. произошел карьерный взлет молодежи. За заслуги на поле брани 1812 г. генеральские чины получили немногие. Основной поток наград и чинопроизводства за отличие пришелся на два последующих года. Генеральская среда пополнялась как ветеранами армии, так и молодежью. Эта новая генерация во многом определяла настроение армейского офицерского корпуса, а ее появление вносило коррективы в расстановку сил. Молодежь активно оттирала стариков, возникали новые нюансы во взаимоотношениях генералов. Многие из них не столько следили за ростом сверстников (имевших равные с ними чины), сколько опасались, что их обгонят скороспелые карьеристы.

Генеральские страсти медленно затихали к концу 1812 г., хотя отголоски былых бурь были слышны и позднее. Так, осведомленный петербуржец И.П. Оденталь в письме к А.Я. Булгакову от 5 января 1813 г. писал, что

П.Х. Витгенштейн, сказавшись больным, сдал команду и «писал к государю, что не может продолжать службу со связанными руками». В этом же письме сообщалось: «В армии три противных партии, и это между подданными кротчайшего монарха!!!»⁵¹. Необходимо заметить, что Кутузов предпринял ряд шагов, чтобы осадить Витгенштейна, резко набравшего очки в 1812 г. и завоевавшего славу «защитника Петрополя». По мнению светлейшего князя, в операциях на Березине он показал себя не с лучшей стороны; помимо этого, Витгенштейну ставили в вину беспрепятственный уход за границу остатков войск маршала Макдональда.

Тем не менее, после того как в зените славы ушел из жизни Кутузов, главнокомандующим объединенной русско-прусской армии был назначен «победоносный» Витгенштейн. Этот выбор российский император в ущерб принципу старшинства сделал под влиянием общественного мнения сановного Петербурга. Под командой Витгенштейна оставались дееспособные генералы, старше его в чине: Барклай де Толли, Милорадович, А.Ф. Ланжерон, Платов, а в запасе по разным причинам оставались Дохтуров, Беннигсен, Вюртембергский, А.С. Феньш, не говоря уже о прусских генералах. Старейший полный генерал А.П. Тормасов не захотел подчиниться молодому в чине Витгенштейну и отбыл из армии. Последовали и другие инциденты, в первую очередь с недовольным Милорадовичем, который в разгар сражения мог отказаться от командования арьберггардом или через присланного адъютанта передавать главнокомандующему выговор («когда он бывал под моим начальством, я не посылал ему противоречивых повелений»). Случались и другие столкновения между генералами.

Кроме того, присутствие Александра I привело к повторению аустерлицкого опыта 1805 г. с Кутузовым и в начале кампании 1812 г. – с Барклаем. Витгенштейн на законных основаниях считал: «В армии находится император, и я ожидаю повелений его величества». Таким образом, «никто не давал приказаний, государь надеялся на главнокомандующего, а тот на государя». После неудач под Люценом и Бауценом, связанных с именем Витгенштейна, вся армия увидела, что «звание, в которое он был облечен, не соответствовало его силам». Витгенштейн попросил уво-

лить его со столь ответственного поста. Самый активный из недовольных генералов – Милорадович – просил Александра I лично возглавить армию. На что, по словам Михайловского-Данилевского, император ответил: «Я взял на себя управление политических дел, что же касается до военных, то не беру их на себя». Тогда Милорадович предложил: «Поручите армию Барклаю, он старше всех». «Он не захочет командовать», – возразил государь. «Прикажите ему... тот изменник, кто в теперешних обстоятельствах осмелится воспротивиться вашей воле»⁵².

Вторичный приход Барклая на пост высшего руководителя войск вызвал глухой ропот в офицерском корпусе прежде всего среди недовольных его прошлой деятельностью. Как водится, в связи со сменой власти произошли очередные перестановки в штабных сферах, что только добавило Барклаю недоброжелателей. Можно лишь предполагать, во что вылились бы антибарклаевские эмоции части генералитета, но в 1813 г. резко изменилась внешнеполитическая ситуация. Помимо Пруссии, в боевые действия против Наполеона вступили Австрия и Швеция. На главном театре военных действий союзниками были созданы четыре армии, из которых только одна Польская армия оказалась по составу русской, и ее возглавил русский генерал (Л.Л. Беннигсен). В остальных армиях (Северная, Силезская, Богемская) русские корпуса подчинялись генералам-иностранцам. Барклай же сохранил должность командующего русско-прусскими войсками в Богемской армии. Внешнеполитический фактор притупил внутренние противоречия среди российского генералитета. Необходимость противостоять претензиям со стороны прусских, шведских, австрийских (в первую очередь), а затем германских генералов (в связи с пополнением 6-й коалиции войсками лоскутных немецких государств) в определенной степени сплачивала командный состав русской армии. В 1813–1814 гг. вопрос старшинства был выведен на международный уровень. Возникла проблема выяснения статуса российских военачальников и их взаимодействия с союзниками. Так, Михайловский-Данилевский вспоминал о переговорах в 1813 г. с пруссаками, когда впервые «зашла речь о том, кому в случае совокупного действия русских и прусских войск надобно будет начальствовать – русскому ли ге-

нералу или прусскому, с нашей стороны предложено было, чтобы тот принял команду, кто старее в чине...»⁵³. Руководствуясь этим веками испытанным и проверенным в «партийных» схватках принципом, русские генералы совместно со своими коллегами из европейских армий успешно довели русские войска до Парижа. Страсти были перенесены в высшие военно-дипломатические сферы и кипели теперь главным образом в ставке союзников.

Основная интрига в тот период приобрела международный характер, где, без всякого сомнения, первую скрипку играл Александр I. В этой сфере ему не было равных. Англия, Австрия и Пруссия испытывали глубокие опасения по поводу того, что Россия при дальнейшем победоносном продвижении вперед получит огромное влияние в германских и европейских делах. До сих пор в отечественной историографии деятельность российского императора как главного политического вождя и вдохновителя 6-й коалиции не нашла адекватной оценки⁵⁴. Вряд ли правильно категоричное утверждение, что он являлся главнокомандующим в военных действиях 1813–1814 гг., но степень его личного участия в принятии стратегических решений была очень высока. В своих действиях царь опирался на штабную сферу, где помимо П.М. Волконского и Барклая де Толли основную роль играли открытые в 1812 г. молодые штабные дарования – И.И. Дибич и К.Ф. Толь. Александр I приложил максимум усилий в борьбе с тяжеловесными положениями стратегической линии поведения Австрии. Не раз ему приходилось, используя свой высокий статус российского императора и авторитет среди союзных монархов, противостоять мнению австрийского главнокомандующего К.Ф. Шварценберга и заставлять последнего принимать русскую точку зрения. Личное вмешательство Александра I в решение чисто военных проблем принесло союзникам победы под Кульмом, Лейпцигом, а настойчивость в претворении замысла броска союзных войск на Париж позволила поставить победную точку в кампании 1814 г.

Борьба группировок в армии в 1812 г. стала закономерным явлением, порожденным острой общественно-политической ситуацией в России. Сначала на первый план вышел профессиональный аспект. В штабных сферах ве-

лись споры по поводу способов и методов достижения победы, но в последующем они приобрели национальный оттенок. Всплеск недовольства действиями М.Б. Барклая де Толли привел к созданию неформальной группы генералов, которую условно можно назвать «русской» партией. Прямым результатом ее деятельности стало назначение общего главнокомандующего – Кутузова, хотя лидеры этой партии, в первую очередь Багратион, возражали против подобного решения. С прибытием Кутузова к армиям военная оппозиция потеряла возможность действовать в легитимных рамках, отпала необходимость и в национальных гонениях на генералов-иностранцев. Борьба мнений часто перерастала в личные столкновения, все их невозможно проследить и суммировать. Вскоре у Кутузова среди высших военачальников появилось критиков не меньше, чем в свое время у Барклая, но создать единую оппозицию ввиду взаимных претензий противников главнокомандующего не удалось. Это обстоятельство позволяло Кутузову поодиночке разбираться со своими главными недоброжелателями. К окончанию военных действий все недовольные покинули ряды армии. С приездом в войска Александр I стал контролировать ситуацию среди генералитета, что затруднило создание каких-либо крупных группировок. После смерти Кутузова главная роль в армии перешла к императору. Это обстоятельство заслуживает положительной оценки, поскольку в условиях коалиционной войны русский царь оказался полезным в качестве политического руководителя, вдохновителя, фактического создателя и лидера союза европейских государств в борьбе против Наполеона.

Примечания

- ¹ *Великий князь Николай Михайлович*. Генерал-адъютанты императора Александра I. СПб., 1913. С. 13–20.
- ² *Местр Ж. де*. Петербургские письма. 1803–1817. СПб., 1995. С. 99.
- ³ Записки графа Е.Ф. Комаровского. М., 1990. С. 112–113.
- ⁴ Таков был, например, предводитель рязанского дворянства в 1802–1814 гг. отставной генерал-майор Л.Д. Измайлов, владевший 11 тыс. крепостных. Еще в 1802 г. император считал, что он «необузданно предается всем порокам и воз-

мутительнейшим образом приносит всех крестьян в жертву своему сладострастию и порочности». Но, несмотря на мнение царя, правительственные чиновники не могли найти законных оснований для отстранения его от должности, и в 1812 г. он возглавлял Рязанское ополчение. Под суд Измайлова отдали за преступления против крепостных лишь в 1827 г. (*Шиман*. Александр I. М., 1908. С. 67–70; Русская старина. 1872. Т. VI. С. 649–664).

- ⁵ Единственный случай, когда Александр I в категоричной форме потребовал отказаться от услуг отставного генерала, был связан с именем князя В.М. Яшвиля, считавшегося активным участником цареубийства Павла I. Узнав, что тот командует отрядом Калужского ополчения, император отправил Кутузову гневное послание: «С крайним удивлением увидел я из одного из рапортов ваших, что вы употребили на службе находящегося в ссылке известного Яшвиля... Вы сами себе присвоили право, которое я один имею, что, поставляя вам на замечание, предписываю немедленно послать Яшвиля сменить и отправить его в Симбирск под строгий надзор к губернатору» (Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П.И. Щукиным. М., 1903. Ч. VII. С. 410–411).
- ⁶ *Дубровин Н.* Отечественная война в письмах современников. СПб., 1882.
- ⁷ Подробнее см.: Материалы П.А. Чуйкевича // События Отечественной войны 1812 года на территории Калужской губернии. Малоярославец, 1995. С. 14–15.
- ⁸ Военный сборник. 1904. № 1. С. 234–236.
- ⁹ *Клаузевиц К.* 1812 год. М., 1937. С. 30–31.
- ¹⁰ *Местр Ж. де.* Указ. соч. С. 211.
- ¹¹ *Тартаковский А.Г.* Неразгаданный Барклай: Легенды и быль 1812 года. М., 1996. С. 42–136.
- ¹² См.: *Безотосный В.М.* Национальный состав российского генералитета 1812 года // *Вопр. истории.* 1999. № 7. С. 60–71.
- ¹³ *Целорунго Д.Г.* Офицерский корпус русской армии эпохи 1812 года по формулярным спискам: Дис. ... канд. ист. наук. М., 1996. С. 248; *Он же.* Военная карьера офицеров русской армии 1812 года – выходцев из различных регионов России и стран зарубежья // 185 лет Отечественной войне 1812 года. Саратов, 1997. С. 101–109.

- ¹⁴ В историографии еще полностью не исследованы вопросы о составе, деятельности и идеологии данной группы, не устоялось и ее название как термин. Например, В.В. Пугачев считал, что «русская» партия сложилась лишь после окончания наполеоновских войн и возглавлял ее П.М. Волконский (*Пугачев В.В. Денис Давыдов и декабристы // Тр. Музея истории и реконструкции Москвы. М., 1963. Вып. VIII. С. 111*). В монографии А.Г. Тартаковского, в которой едва ли не впервые разбираются генеральские распри первого периода войны, эта группировка названа «партией» Багратиона (*Тартаковский А.Г. Неразгаданный Барклай... С. 83*). Подробнее см.: *Безотосный В.М. Российский титулованный генералитет в 1812–1815 годах // От Москвы до Парижа (1812–1814 гг.). Малоярославец, 1998. С. 9–45*.
- ¹⁵ Приложения к запискам А.П. Ермолова. М., 1865. Ч. 1. С. 179.
- ¹⁶ 1812–1814: Секретная переписка генерала П.И. Багратиона. М., 1992. С. 278.
- ¹⁷ *Местр Ж. де*. Петербургские письма... С. 195, 219.
- ¹⁸ Из памятных записок Павла Христофоровича Граббе. М., 1873. С. 56–57.
- ¹⁹ *Тартаковский А.Г. Неразгаданный Барклай... С. 79–93*.
- ²⁰ *Дубровин Н. Отечественная война... С. 97*. В другом письме он писал: «Отнять же команду я не могу у Барклая, ибо нет на то воли Государя» (Там же. С. 99).
- ²¹ Например, Н.А. Троицкий считал, что «как военный министр Барклай был вправе от своего имени или даже от имени царя давать указания командующим другими армиями» (*Троицкий Н.А. 1812: Великий год России. М., 1988. С. 92*).
- ²² *Попов А.Н. Славянская заря в 1812 году // Русская старина. 1892. № 12. С. 620; Греч Н.И. Записки о моей жизни. М., 1990. С. 331; Кизеветтер А.А. Исторические очерки. М., 1912. С. 335; Военный сборник. 1903. № 11. С. 255*.
- ²³ См.: *Дубровин Н. Отечественная война... С. 99*.
- ²⁴ Там же. С. 96; *Вильсон Р.Т. Дневник и письма 1812–1813. СПб., 1995. С. 50, 135–136, 255–258*.
- ²⁵ М.И. Кутузов: Сб. документов: В 5 т. М., 1954. Т. IV. Ч. 1. С. 5–9, 47–48, 51–53, 71–74. Например, М.Б. Барклай де Толли чуть позже писал императору: «Назначение более старого генерала для командования над всеми армиями

- было необходимой мерой, которой желал и я сам» (Труды Императорского русского военно-исторического общества. СПб., 1912. Т. VI. Кн. 2. С. 13).
- 26 М.И. Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 66; Русский архив. 1874. Кн. 1. Ст. 1098–1099; *Михайловский-Данилевский А.И.* Журнал 1813 года // 1812 год... Военные дневники. М., 1990. С. 340; Приложения к запискам А.П. Ермолова. Ч. 1. С. 206–207.
- 27 *Местр Ж. де.* Петербургские письма... С. 220; М.И. Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 73; *Беннигсен Л.Л.* Письма о войне 1812 г. Киев, 1912. С. 70–71; *Дубровин Н.* Отечественная война... С. 101.
- 28 Мой век, или История генерала Маевского // Русская старина. 1873. № 8. С. 144; РГВИА. Ф. 29. Оп. 153а. Св. 28. Ч. 36. Л. 4. В личном разговоре с А.П. Тормасовым Александр I попытался объяснить причины его вызова в Главную армию и назначение П.В. Чичагова главнокомандующим 3-й Западной армией: «Я думал, что он, как личный враг Наполеона, будет действовать с полной энергией; я ошибся». Тормасов отвечал на это: «Государь, и я никогда другом Наполеона не был» (Цит. по: Отечественная война и русское общество. М., 1912. Т. 3. С. 109.)
- 29 *Михайловский-Данилевский А.И.* Журнал 1813 года. С. 314; Русский архив. 1874. № 5. Ст. 1098–1099.
- 30 1812–1814: Секретная переписка генерала П.И. Багратиона. С. 228.
- 31 *Ростопчин Ф.В.* Письма к своей подруге в 1812 г. // Русский архив. 1901. № 8. С. 464, 468. Ростопчин, стараясь всячески очернить Кутузова, явно сгущал краски; кроме того, он распространял в армии копию своего письма (составленного в язвительном тоне) к Кутузову. По словам А.А. Шаховского, письмо вредило «доверенности подчиненных к начальнику, от которого зависела судьба России» (Воспоминания князя А.А. Шаховского // Русский архив. 1886. № 11. С. 395–396).
- 32 Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П.И. Щукиным. Ч. VII. С. 278.
- 33 Архив Раевских. СПб., 1908. Т. 1. С. 96. Александр I вместе с наградами за Тарутинское сражение прислал в армию и письма Беннигсена с критикой главнокомандующего. Кутузов вызвал Беннигсена, заставил адъютанта читать свое собственное представление на Беннигсена за Тарутинское

дело, затем вручил ему золотую шпагу с алмазами и 100 тыс. рублей, пожалованных царем. После чего велел также громко прочитать донесение Беннигсена императору. Во время этого действия начальник штаба «стоял, как будто гром разразил его, бледнел и краснел» (Отечественная война и русское общество. Т. 3. С. 115).

34 Сборник Русского исторического общества. СПб., 1890. Т. 73. С. 188–189.

35 По свидетельству В.И. Левенштерна, «генерал Ермолов [так] праздновал в тот день у генерала Шепелева день его ангела, что он пробыл у него слишком долго и совершенно забыл свои обязанности начальника штаба». Тот же мемуарист следующим образом оценивал отношение Кутузова к Ермолову: «Фельдмаршал, умевший расстраивать интриги, знал двоедушие генерала Ермолова и ловко умел держать его в должных границах». Далее он пояснял: «Высокое мнение, которое все имели о способностях этого генерала, начинало уже пугать самых влиятельных людей. Таким образом, Кутузов, не желая разделять своей славы с кем бы то ни было, удалил Барклая, оттеснил Беннигсена и обрек Ермолова на полнейшее бездействие. Генерал Коновницын, полковник Толь и зять Кутузова, князь Кудашев, были единственными поверенными его тайн» (Записки генерала В.И. Левенштерна // Русская старина. 1901. № 1. С. 116, 128).

36 Записки А.И. Михайловского-Данилевского: 1812 год // Исторический вестник. 1890. № 10. С. 153–155.

37 Вильсон Р.Т. Дневник... С. 86, 148.

38 Подробнее см.: *Безотосный В.М.* Донской генералитет и атаман Платов в 1812 году. М., 1999. С. 75–108.

39 Вильсон Р.Т. Дневник... С. 267–270.

40 Русский архив. 1874. № 5. Ст. 1107–1108; Записки о войне 1812 года князя А.Б. Голицына // Военный сборник. 1910. № 12. С. 32–34.

41 В своих воспоминаниях Р.С. Эдлинг писала: «Чичагов не скрывал величайшего презрения к своей стране и своим соотечественникам» [Тайны царского двора (из записок фрейлин). М., 1997. С. 99]. Ж. де Местр оставил аналогичную характеристику: «Он воспитывался в Англии, где научился презирать свою страну и все, что там делается»; «презрение и даже глубокая ненависть ко всем установле-

- ниям своей страны, в которых видит он лишь слабоумие, невежество, преступления и деспотизм» (*Местр Ж. де. Петербургские письма...* С. 100, 240).
- 42 *Дубровин Н.* Отечественная война... С. 400.
- 43 Архив князя Воронцова. М., 1891. Т. 37. С. 234–235; ОР РГБ. Ф. 41. К. 86. Д. 8.
- 44 *Вильсон Р.Т.* Дневник... С. 282; *Местр Ж. де.* Петербургские письма... С. 240.
- 45 *Дубровин Н.* Отечественная война... С. 401; 1812–1814: Секретная переписка генерала П.И. Багратиона. С. 236.
- 46 *Волконский С.Г.* Записки. Иркутск, 1991. С. 276; Мой век, или История генерала Маевского // *Русская старина.* 1873. № 8. С. 161, 165; № 9. С. 253–254; 1812–1814: Секретная переписка генерала П.И. Багратиона. С. 238.
- 47 *Русский архив.* 1866. Кн. 6. Ст. 925–926; Столетие Военного министерства. СПб., 1904. Т. II. Кн. 2. С. 78, 88–89.
- 48 Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I: Опыт исторического исследования. СПб., 1912. Т. 2. С. 574–604, 664–665.
- 49 ОР РГБ. Ф. 41. К. 86. Д. 8. Л. 6; *Дубровин Н.* Письма главных деятелей в царствование Александра I. СПб., 1883. С. 78–79; Мой век, или История генерала Маевского // *Русская старина.* 1873. № 8. С. 164–165; *Тартаковский А.Г.* Неразгаданный Барклай... С. 163.
- 50 Тайны царского двора (из записок фрейлин). С. 122–123.
- 51 *Русская старина.* 1913. № 1. С. 188.
- 52 *Михайловский-Данилевский А.И.* Журнал 1813 года // 1812 год...: Военные дневники. С. 332–337, 340, 346; *Щербинин А.А.* Военный журнал 1813 года // Там же. С. 268, 272, 275–277.
- 53 *Михайловский-Данилевский А.И.* Журнал... С. 319.
- 54 См.: *Соловьев С.* Император Александр I: Политика – дипломатия. СПб., 1877. С. 237–238; *Капустина Т.А.* Александр I и заграничные походы русской армии // Эпоха наполеоновских войн: Люди, события, идеи. М., 1999. С. 26–35; *Она же.* Александр I и заграничные походы русской армии: Историкография вопроса // *Русская армия и флот в первой четверти XIX века: К 200-летию императора Александра I.* М., 2002. С. 51–64.

Фаддей Булгарин о наполеоновских войнах: к вопросу о прагматике мемуарного текста

В 1845 г., пытаясь добиться у правительства кредита на издание «Северной пчелы» и напоминая о собственных заслугах, Ф.В. Булгарин подвел итоги своей литературной деятельности за четверть века:

«До сих пор написано мною и издано в свет: по части словесности: 16 томов романов, 18 томов повестей, статей о нравах, биографий, разных исторических отрывков и путешествий <...>, а всего написано и издано мною в течение моей литературной жизни 173 тома. Осмеливаюсь утверждать решительно, что ни один писатель в России не оказал большей деятельности»¹.

До смерти в 1859 г. Булгарин успел издать еще немало. В 1998 г. А.И. Рейтблат прибавил к сочинениям, изданным самим Булгариным, толстенный том агентурных донесений в III отделение, автором для печати не предназначавшихся². Ученые явно пасуют перед таким количеством книг (около 200), поэтому произведения Булгарина все еще плохо исследованы³. Немалое место в этих сочинениях принадлежит теме наполеоновских войн – здесь и романы, и повести, и статьи, и мемуарно-исторические очерки.

Изучение текстов Булгарина приходится начинать с их прагматики. Булгарин как журналист был в первую очередь тактиком. Вот и мы проследим за тем, какую роль в «литературной тактике» (используя выражение Белинского) Булгарин предназначал собственным мемуарно-историческим очеркам о наполеоновских войнах. Этот аспект важен, на наш взгляд, не только для понимания творчества Булгарина, но и в качестве показателя отношения русского общества второй четверти XIX в. к наполеоновской теме, а

также для решения вопроса о том, кому было дано право «писать историю», особенно когда речь заходила о таких судьбоносных событиях, как наполеоновские войны. Здесь мы продолжаем тему, разрабатывавшуюся А.Г. Тартаковским в его фундаментальном труде о влиянии эпохи и темы 1812 г. на судьбы русской мемуаристики⁴.

Булгарин занимал в русском культурном контексте первой половины XIX в. исключительное место, поскольку, пожалуй, был единственным видным русским писателем, открыто предоставившим свое перо правительству (мы имеем в виду его публичную литературную деятельность, а не сотрудничество с III отделением). А.И. Рейтблат видит в сотрудничестве с властью причину его литературных неудач. «В России уже с начала XIX в. одной из важнейших предпосылок высокой литературной репутации становится противостояние властям». «Булгарин был обречен», – пишет исследователь⁵. Нам кажется, что все сложнее и интересней.

Не будем касаться того, в какой мере переход в правительственный лагерь после 14 декабря был для Булгарина вынужденной мерой. Заметим, что, сделав такой выбор, Булгарин не ограничился агентурной деятельностью. Он повернул свою *писательскую* судьбу, сделав из этого *литературный жест*. Тем самым он дал нам полное основание рассматривать этот переход, подобно другим событиям его писательской карьеры, не только в качестве эпизодов его частной жизни, но и как часть литературной биографии. Знаменательно, что построение собственной литературной репутации было предметом его постоянных забот. То, как он пытается строить свою репутацию, какой привлекал для этого «жизненный материал», достойно пристального изучения. Характерно, что Булгарин последовательно делал достоянием читателей разнообразные (и далеко не однозначные) факты собственной сложной и пестрой жизни, в частности военную карьеру и участие в наполеоновских войнах.

Биография Ф.В. Булгарина в самом деле может служить пособием по изучению военной истории конца XVIII – начала XIX в. Родившийся в Польше, он окончил Сухопутный шляхетский кадетский корпус в Петербурге, воевал против Наполеона в Пруссии и за Фридрихсбургское

сражение был награжден орденом Св. Анны 3-й степени. Затем воевал в Финляндии в шведскую кампанию 1808–1809 гг. (спровоцированная тильзитскими соглашениями между Францией и Россией, она относится к эпохе наполеоновских войн не только хронологически, так как входила в наполеоновский план раздела сфер влияния с Россией как с временным союзником). Все это время Булгарин находился в составе лейб-гвардии Уланского е. и. в. государя цесаревича (Константина Павловича) полка. Уволенный в отставку в чине подпоручика «по худой аттестации», Булгарин перешел в наполеоновскую армию, в Польский легион, который воевал в Испании. Затем в составе 7-го легиона французских улан Булгарин воевал в России и в Пруссии, где в 1814 г. попал в плен. Под наполеоновскими знаменами Булгарин заслужил чин капитана и орден Почетного легиона. Лишь в 1826 г. отставной французской службы капитан превратился в коллежского асессора, когда по протекции III отделения был причислен к Министерству народного просвещения⁶.

Обо всех кампаниях, в которых он участвовал (кроме «русской»), Булгарин оставил сочинения и воспоминания, с начала 1820-х годов публиковавшиеся в русской печати.

Остановимся на его первой книге – «Воспоминания об Испании», вышедшей отдельным изданием в 1823 г. Конечно, такая публикация произведения бывшего наполеоновского офицера, не замалчивавшего (хотя и не выпячивавшего), на чьей стороне он воевал, и не кающегося в этом, могла быть воспринята в России как вызов и привести к скандалу. Однако полемичный и задиристый Булгарин в этом случае совсем не хотел скандала и постарался сделать все, чтобы его избежать. М.П. Алексеев остроумно заметил, что по «Воспоминаниям об Испании» «не всегда легко догадаться» о том, что их автор сражался против испанцев в войсках Наполеона⁷.

Публикация была хорошо рассчитанным актом. Автор ориентировался на рецепцию книги разными общественными группировками, одновременно стремясь удовлетворить самые разные вкусы. Исторический контекст для публикации был также выбран осмысленно. Либерально мыслящую часть русского общества, сочувствовавшую испанской революции начала 1820-х годов, должны были

привлечь сам объект, а также описание героического сопротивления испанцев завоевателям, картины народной войны, параллели с Отечественной войной 1812 г. Вместе с тем сочувственный рассказ Булгарина о судьбе испанских Бурбонов вполне соответствовал официальной реакции русского правительства на те же испанские события. Кроме того, книга выделялась своим отчетливым полонофильством: Булгарин с нескрываемым восхищением описывает героизм Польского легиона в Испании, постоянно подчеркивая, что своими победами французская армия была обязана беспредельной храбрости поляков, чем как поляк Булгарин обеспечил себе прекрасную репутацию среди соотечественников. Отношение к полякам в тот период в Петербурге было сложным, но полонофильские настроения существовали и в правительственных, и в декабристских кругах, так что и эта сторона обеспечивала сочинению читательские симпатии. Коррелировала книга и с литературным контекстом 1820-х годов – романтической экзотикой пейзажа, напряженными батальными сценами, национальным испанским колоритом и пр.

Однако нас прежде всего интересуют образ автора-повествователя и способы выражения в тексте авторской точки зрения. Для построения образа автора используются два хронологических среза. Участник описываемых событий, он представлен храбрым, инициативным и гуманным офицером (ср. рассказ о спасении испанской женщины от насилия, семьи гверильяса от гибели и т. д.). Писатель, автор воспоминаний присутствует в тексте как «гонимый миром странник». Здесь Булгарин достаточно умело использовал романтическую маску. В одном из лирических отступлений он обращается к Н.И. Гнедичу, которому посвятил «Воспоминания об Испании», со следующими словами: «О как бы я желал, любезнейший Н.И.! за все приятные минуты, которые вы доставляли мне, *сирому на чужой стороне*, за все утешения, которые вы проливали в *растерзанное несправедливостями мое сердце*, наградить вас <...>» и т. д.⁸

Если говорить об отношении к описываемым событиям, то авторскую позицию можно назвать в высшей степени осторожной. Первый вопрос, который с неизбежностью возникал при обращении к испанскому сюжету, это концепция народной войны. О ней Булгарин пишет в пер-

вых же строках «Предисловия»: «Я намерен представить читателям разительные черты народной войны, прославившей Испанию и нанесшей первый удар могуществу Наполеона, в то время, когда испанцы движимы были привязанностью к вере, верностью к престолу и любовью к отечеству» (б/п). Уже в этих строках Булгарин умело соединяет две, по существу, разные концепции народной войны: борьбу народа за национальную независимость и борьбу за незыблемость легитимных принципов. Последняя линия станет, как было показано А.Г. Тартаковским, важнейшей составляющей официальной концепции Отечественной войны 1812 г. при Николае I⁹. Булгарин уже в начале 1820-х годов предвосхитил эту тенденцию, что знаменательно. На протяжении «Воспоминаний об Испании» автор многократно подчеркивал, что именно любовь испанцев к своему королю Фердинанду и преданность Бурбонам вызвали волну народного сопротивления. Совершенно не случайно поэтому А.Х. Бенкендорф, рекомендуя Булгарина правительству в 1826 г., особо выделил это сочинение и его полезную тенденцию: «Булгарин издал “Воспоминания об Испании” в том намерении, чтобы доказать, что народ, воспламененный любовью к своим государям, бывает непобедим»¹⁰.

Остановимся теперь на характерных для Булгарина способах организации повествования, когда внутри одной или в двух рядом стоящих фразах происходит перемещение точки зрения автора-повествователя. Первый пример взят из того места книги, где повествуется о подготовке восстания в Мадриде, вызванного, как подчеркивает Булгарин, протестом против вероломства Наполеона по отношению к Фердинанду и вообще к испанскому королевскому дому: «Во всех городах, а особенно в Мадриде, народ явно роптал и при всяком случае оскорблял французов. Толпы граждан советовались в домах и теснились на улицах. Патриотические прокламации возбуждали дух народный и призывали к оружию. Испанцы день ото дня становились смелее, и наконец дерзость черни перешла границы. Французы примерно наказывали возмутителей общественного спокойствия, однако тем не успокоивали, но еще более раздражали жителей. Наконец, 2-го мая 1808 года, голос мести раздался в Мадриде, и не умолкал в Испании до самого низвержения Наполеона» (с. 22–23).

Важно заметить, как в процессе повествования точка зрения незаметно сдвигается – как будто бы вследствие использования несобственно-прямой речи. Первая фраза более или менее нейтральна: «Во всех городах, а особенно в Мадрите, народ явно роптал и при всяком случае оскорблял французов». Вторая и третья уже явно переводят точку зрения повествователя на сторону испанцев: «Толпы *граждан* советовались в домах и теснились на улицах. Патриотические прокламации возбуждали *дух народный* и призывали к оружию». Третья и четвертая фразы замечательным образом сталкивают «испанскую» и «французскую» позиции. Ср.: «Испанцы день ото дня становились смелее», «и наконец дерзость черни перешла границы. Французы примерно наказывали возмутителей общественного спокойствия». Последняя фраза опять нейтральна, хотя, как и первая, скорее имеет «происпанский» характер («голос мести раздался в Мадрите, и не умолкал в Испании до самого низвержения Наполеона»).

Заметим, что Булгарин не мог быть свидетелем мадридского восстания (он в это время воевал в Финляндии в составе русской армии). Можно было бы предположить, что такой стиль выдает использование печатных источников, на которые автор иногда прямо ссылался в книге, а иногда и умалчивал. На последнее обстоятельство прямо указал Белинский: «Несмотря на то что под крыльями победоносных орлов Наполеона г. Булгарин сам мог многое видеть и заметить в Испании, несмотря на это – его “Воспоминания об Испании” напоминают не одну Испанию, но еще “Историю войны португальской и испанской”, соч. Бошана...»¹¹.

Однако другой пример уже прямо связан с личными впечатлениями. Описывая борьбу наполеоновской армии с испанскими партизанами, Булгарин пишет о своем начальнике: «Под предводительством генерала Лоазана – сурового воина, о котором нельзя сказать, что он при всей строгости по службе очень часто давал волю солдатам на счет жителей, требуя от первых одной только храбрости и неустрашимости – наша подвижная колонна несколько недель преследовала в горах Риоха (что в Старой Кастилии) гверильясов и прочих инсургентов и разбойников, каковыми именами раздраженный неприятель обыкновенно называет защитников отечества» (с. 72–73).

Последнюю часть запутанной фразы Булгарин комментирует сам, приписывая нелестные определения в адрес испанцев («прочие инсургенты», «разбойники») «раздраженному неприятелю» (к которому, напомним, сам принадлежал!). Однако первая часть явно нуждается в комментарии. В похвальную характеристику Лоазана исподволь вплетаются сведения об узаконенном мародерстве французов. Однако Булгарин осуждает мародерство, считает его одной из причин поражения наполеоновской армии и в Испании, и в России, поэтому своему хорошему начальнику он приписывает если не борьбу, то хоть ограничение мародерства: «...нельзя сказать, что он <...> очень часто давал волю солдатам на счет жителей» (косвенно указывая, что и сам не очень запятнан притеснением мирного населения). Кстати, только перед этим Булгарин рассказал читателю, как французы повесили испанского священника, участвовавшего в сопротивлении. Отсюда определение «суровый воин» в характеристике Лоазана.

Разумеется, подобные примеры построения текста легко умножить. Как мы видим, авторская точка зрения в «Воспоминаниях об Испании» весьма подвижна. С одной стороны, Булгарин не скрывает своего участия в испанской войне на стороне французов, но с другой – всячески старается затушевать это обстоятельство или, по крайней мере, выставить свое поведение по отношению к испанцам в выгодном свете. Все это проявляется не только в отборе описываемых событий, но и на уровне структуры повествования. Причем Булгарин пытается представить свою «подвижную» точку зрения как проявление объективности, поэтому, описывая войну, он непременно старается похвалить обе противоборствующие стороны и в то же время показать свое сочувствие «правильной» стороне.

Включая книгу об испанской войне в собрание сочинений 1830 г., Булгарин переименовал ее в «Картину испанской войны во время Наполеона». М.П. Алексеев справедливо замечает, что это также помогало затушевать автобиографический момент¹². Но есть и другая причина: новое название как бы переводило текст в ранг исторических сочинений и ставило его в один ряд с другими мемуарно-историческими текстами Булгарина, посвященными войнам 1807–1809 гг., в которых он участвовал как русский офицер.

Нам представляется, что интенсивность обращения автора к своей военной биографии связана в первую очередь с проблемами поиска собственной идентичности в русском культурном контексте (напомним, что мы рассматриваем только тексты, в которых позиция автора-повествователя прямо связывается с личностью Ф.В. Булгарина; его романы мы оставляем в стороне). Отсюда – постоянная эксплуатация темы польского происхождения, которая самым тесным образом переплетается с темой литературной судьбы. Булгарин представляет ситуацию следующим образом: он – «чужак», которого Россия приняла в число своих верных сынов, но русские литераторы не хотят принимать его за «своего»¹³. Вот характерный пример из «предисловия в лицах» «Истина и сочинитель», которым Булгарин предварил собрания сочинений 1827–1828 гг. и 1830 г.: «Буря ниспровергла плодоносное дерево, произраставшее на берегу морском (читай: Польшу. – Л. К.). Отторженные от корня ветви понесли по волнам (читай: поляки после раздела Польши). Одну из них (т. е. самого Булгарина) примчало к гостеприимному, хотя *чужому берегу*, и плодотворная земля, одинакового качества с родимым краем (т. е. славянская Россия), приняла в недра свое *осиротевшую ветвь* и оживила ее своими питательными соками» и т. д.¹⁴

Далее, однако, пригорюнившийся автор («сердце его сжалось грустью, слеза канула – [sic! Греч явно не заметил опечатки!¹⁵] – на бумагу») с горечью восклицает: «Какой злой гений возбудил во мне желание быть сочинителем!» (I, с. VI). Автора утешает явившаяся ему Истина (что свидетельствует не только об авторской установке, но и о высоте авторских претензий)¹⁶. В полемическом «Предисловии» ко второму изданию 1830 г.¹⁷ Булгарин специально останавливается на нападках «литературной партии, стремящейся овладеть общим мнением в литературе», а также «мнимых патриотов», боящихся его сатиры на нравы. Он рисует себя самостоятельным, независимым «от всякого влияния» писателем (I, с. XI), трудящимся в «тиши кабинета», в «удалении от светских обществ» (I, с. XIV), любимцем публики и жертвой литературных интриг¹⁸.

Последняя тема – тема его «горькой участи» как независимого литератора – становится постоянным спутни-

ком всех сочинений Булгарина. На этом фоне в интересующих нас мемуарных очерках и вырисовывается альтернатива писательской карьере – военная служба (см. его очерк «Военная жизнь» и многие другие)¹⁹. На войне, согласно Булгарину, он не был парией, а был таким, как все – членом боевого братства. Вот как он сам формулирует это противопоставление литературной и военной карьеры в своей «были» «Приключения уланского корнета, под Фридландом, 2-го Июня 1807 года»: «Мне и теперь жаль, что я не в военной службе. Вид кавалерийского полка и звук труб поныне производят во мне магическое действие: кровь играет, и все жилки во мне трепещут. От чего же это? От того, что в военной службе я был счастлив нравственно: был любим товарищами, всегда весел, всем доволен, пел и шутил с утра до вечера. Литература имеет свои приятности, не спорю, но – малейшая известность в свете есть мишень, в которую беспрестанно стреляет зависть своими ядовитыми стрелами, и уязвляет сердце гораздо более – нежели все пули и картечи!»²⁰

В историко-мемуарных очерках о наполеоновских воинах перед читателями предстает храбрый, веселый корнет, отличный товарищ, не теряющий присутствия духа и смекалки в трудных ситуациях (см.: «Ужасная ночь»), мужественно переносящий трудности похода (см.: «Переход через Кваркен»), великодушный, гуманный, умеющий ценить достоинства в неприятеле, но главное – патриот, преданный присяге, гордый своей принадлежностью к славному воинскому братству (иногда русскому, иногда французскому). Для того чтобы читатель удостоверился в его прекрасных качествах, Булгарин прибегает к ссылкам на авторитеты. Приведем один особенно выразительный пример – очерк «Знакомство с Наполеоном на аванпосте под Бауценом, 21 Мая (н. с.) 1813 года (из воспоминаний старого воина)». Обратимся к двум диалогам нашего героя с Наполеоном. Кроме повышенной знаковости самой ситуации, их структура дает замечательные примеры булгаринской «объективности» и «подвижной» точки зрения: «“Давно ли Вы служите?” – спросил он (Наполеон. – Л. К.). – “Это мое ремесло, Ваше величество: имея шестнадцать лет от роду, я познакомился с пушечными выстрелами” (не упоминая, что это было под Фридландом, в сражении против собесед-

ника. – Л. К.) – “Что вы думаете о Казаках?” (бывших сотоварищах! – Л. К.) – “Они храбрые солдаты: однако ж приносят больше пользы в лагерной службе, нежели в генеральном сражении”. – “Правда! Случалось ли вам драться с Русскою пехотой?” – “Случалось, Ваше Величество! Отличная пехота и достойная соперница пехоты Вашего Величества”. – “Он прав!” – сказал Наполеон, оборотясь к Нею» (I, с. 141–142).

Приведенный отрывок столь выразителен, что не нуждается в дополнительных комментариях. Следующий диалог с Наполеоном не менее колоритен. Он происходит после того, как Булгарин удачно выполнил поручение императора. Из него мы узнаем, как произошло его производство в капитаны французской службы: «“Бертье, запишите имя господина офицера!” – сказал Наполеон. Потом сел на лошадь и, оборотясь ко мне, примолвил: “Я говорил об вас с вашими подчиненными, я доволен вами. Если вы будете в чем иметь нужду, отнесите прямо ко мне и припомните наше знакомство под Бауценом; прощайте! Желаю вам скоро быть капитаном!” – Я поклонился, и Наполеон уехал шагом к эскадронам гвардейских улан. <...> Через час <...> я прибыл в полк, и первое слово, которым меня встретил мой Полковник, было: “здравствуйте, господин Капитан!” – В полку уже был прочитан приказ о моем производстве; мы с приятелями распили от радости несколько кувшинов старого вина и через час пошли встречать лбом пули (русские, заметим! – Л. К.), которые не разбирают ни Капитанов, ни Поручиков”» (I, с. 145–146).

Одним ударом Булгарин оправдывает перед русскими читателями свой «французский» чин (полученный из рук самого Наполеона) и превращает себя в лицо поистине историческое.

Оставим в стороне вопрос о подлинности этих и других эпизодов и остановимся на проблеме эффективности литературного жеста.

Усилия Булгарина не увенчались успехом, и созданный им образ храброго воина, на свою беду сделавшегося писателем, не помог его репутации. Критика отнеслась к его военным рассказам с обидным равнодушием, хотя и выделила некоторые из них на общем фоне булгаринских

сочинений²¹. Булгарин претендовал на искренность и объективность, а современники усматривали в его апелляции к своему прошлому дешевое самовозвеличение. Критик дельвиговской «Литературной газеты», охарактеризовав военные рассказы Булгарина как «*быль с примесью*», дал ясно почувствовать, что фактическая сторона этих текстов не поддается проверке (кстати, эта тема неизменно всплывала при обсуждении всех булгаринских мемуаров)²². Попробуем предложить объяснение булгаринской неудачи.

Литературная позиция Булгарина была объектом насмешек еще до 1825 г. – за неуместный выбор литературной роли, за вызывающее сочетание двусмысленных биографических обстоятельств и высоких патриотических и учительных претензий. Вспомним эпиграмму А.Е. Измайлова 1824 г.:

Ну, исполать Фаддею!
Пример прекрасный подает!
Против отечества давно ль служил злодею,
А «Сын Отечества» теперь он издает²³.

То же самое, хотя и в ином полемическом контексте, говорилось в злой статье Пушкина «О записках Видока».

Булгарин был по натуре борцом. Выбрав позицию – не замалчивать «невыгодных фактов» своей военной биографии, он решил эту позицию отстаивать. Он сам сделал свои приключения (хотя далеко не все) достоянием читателей, но у него не хватило писательского дара, чтобы справиться с созданной им же литературной ситуацией, требовавшей неожиданных и нетривиальных творческих решений. Булгарин не решился ни на литературный скандал, ни на романтическую драму страстей, ни на создание маски, подобной давыдовскому Бурцову; сделать себя героем авантюрного романа, видимо, не входило в его расчеты. Предложить совсем новые решения он тоже не сумел: Булгарин не был литературным новатором.

Как нам представляется, поражение Булгарина в решающей для него борьбе за репутацию, в поиске идентичности в русском литературном контексте – в борьбе, в которой он пытался использовать такой сильный козырь, как военную, причем боевую, биографию²⁴, – это в первую оче-

редь литературное, писательское поражение, на что, кстати, указывали и до нас:

Не то беда, что ты поляк <...>
Что родом ты не русский барин <...>
Беда, что скучен твой роман²⁵.

Примечания

- ¹ Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения с. е. и. в. канцелярии. СПб., 1908. С. 296–297 (письмо к А.Ф. Орлову от 13 апр. 1845 г.).
- ² См.: Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III отделение / Подгот. А.И. Рейтблат. М., 1998.
- ³ Отчасти этот пробел восполняется блестящей прижизненной критикой – известными статьями Полевого, Киреевского, Белинского и других критиков 1820–1840-х годов, вскрывших основные механизмы литературной деятельности Булгарина.
- ⁴ См.: *Тартаковский А.Г.* 1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковедческого изучения. М., 1980.
- ⁵ *Рейтблат А.И.* Булгарин и III отделение // Видок Фиглярин... С. 39.
- ⁶ В отставку с необременительной для него гражданской службы он вышел в 1857 г. в генеральском чине действительного статского советника, т. е. «его превосходительством».
- ⁷ *Алексеев М.П.* Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI–XIX вв. Л., 1964. С. 113.
- ⁸ *Булгарин Ф.В.* Воспоминания об Испании. СПб., 1823. С. 12–13. Курсив в приведенных цитатах принадлежит нам. (В дальнейшем ссылки на это издание даются в скобках с указанием страницы.)
- ⁹ *Тартаковский А.Г.* Указ. соч. С. 193 и далее.
- ¹⁰ *Лемке М.* Указ. соч. С. 245. Очевидно, что записка Бенкендорфа не только инспирирована, но скорее всего и написана Булгариним.
- ¹¹ *Белинский В.Г.* Воспоминания Фаддея Булгарина // Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 9. С. 632. В этой запрещенной цензурой ядовитой рецензии на первые тома булгаринских мемуаров критик дает убийствен-

ную характеристику всей литературной деятельности Булгарина.

¹² *Алексеев М.П.* Указ. соч. С. 112.

¹³ Важно отметить, что эта тема проходит красной нитью и через его записки в III отделение.

¹⁴ *Булгарин Ф.* Сочинения. Изд. 2-е: В 2 ч. СПб., 1830. Ч. I. С. V. (Далее ссылки на это издание даются в скобках с указанием части и страницы.)

¹⁵ Ср. замечание рецензента «Литературной газеты»: «Неправильное употребление слов... явно доказывает, что г. Греч не всегда мог с одинаковой внимательностью наблюдать за чистотой языка в статьях своего друга» (цит. по: *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 635).

¹⁶ Ср. описание этой самой Истины: «Вдруг кабинет Сочинителя озарился приятным светом, наподобие утренней зари: он в изумлении оглянулся и видит. – Женщину, прекрасную, как идеал Поэзии. Она была облечена в белую, полупрозрачную одежду и сладостно улыбалась» (I, с. VII). Можно себе представить, с каким удовольствием «хулители» Булгарина из числа «литературных аристократов» читали эту невольную пародию на «гения» Жуковского (ср.: «К мимопролетевшему знакомому гению», «Лалла Рук», «Таинственный посетитель»)!

¹⁷ Его смело можно назвать пасквильным. Ср. выпад против Пушкина и литераторов его круга, которые обвинялись в использовании низких средств для достижения литературного успеха. Явно намекая на известный эпизод с чтением «Бориса Годунова», Булгарин делает выгодное для себя сравнение: «Не читаю предварительно сочинений моих в рукописи в посещаемых домах; не ищущу милости и покровительства людей, имеющих вес в обществе, и не выманиваю журнальных приговоров» (I, с. XIV).

¹⁸ Характерно, что собрание сочинений посвящено «читающей русской публике, в знак уважения и признательности». Этот литературный жест вполне понятен в контексте полемики вокруг Булгарина конца 1820-х – начала 1830-х годов.

¹⁹ Неслучайно А. Бестужев, по свидетельству К. Полевого, находил в Булгарине «военную искренность» (Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 270).

- ²⁰ Булгарин Ф.В. Полн. собр. соч. СПб., 1843. Т. 5. С. 116.
- ²¹ Ср. отзыв «Московского вестника» (1828. №. 1. С. 78).
- ²² См. перепечатку рецензии в статье Белинского (*Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 636), в которой эта тема широко обсуждается. Белинский приводит примеры недобросовестных и попросту ложных ссылок Булгарина на свидетельства современников, якобы подтверждавших истинность его слов.
- ²³ Русская эпиграмма (XVIII – начало XX века). Л., 1988. С. 179.
- ²⁴ Ср. пушкинскую запись в «Table-talk»: «Дельвиг однажды вызвал на дуэль Булгарина. Булгарин отказался, сказав: “Скажите барону Дельвигу, что я на своем веку видел более крови, нежели он чернил”» (*Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 8. С. 80).
- ²⁵ Русская эпиграмма... С. 256.

«Грибоедовская Москва» в документах семейного архива князя И.Д. Щербатова

Мир, так ярко запечатленный на страницах комедии Грибоедова «Горе от ума», имеет какую-то особую, не ослабевающую с годами притягательную силу. «Грибоедовской Москвой» назвали его в начале XX в. исследователи русской культуры и с тех пор не раз посвящали ему свои работы, невольно соревнуясь с автором комедии в яркости красок и точности исторических описаний, которые во многом определялись богатством найденных документов той поры¹.

И все-таки многие нити, связывавшие Грибоедова с его героями, в образе ли реальных их прототипов или самой московской атмосферы, вырастившей и воспитавшей поэта, считаются навсегда утраченными. Начальный период его жизни чрезвычайно скудно освещен в источниках, напрямую касающихся биографии Грибоедова. Вот почему, расширяя поиск, неизбежно приходится обращаться к ближайшему окружению поэта, реконструировать дружеские связи, общение, круг занятий, идей, которые вообще были характерны для юных московских дворян начала XIX в., получавших образование и вступавших во взрослую жизнь, на службу, которая потом многих из них привела на поля сражений Отечественной войны 1812 г., а затем в ряды декабристов.

Личность князя Ивана Дмитриевича Щербатова может сыграть в этом реконструктивном поиске далеко не последнюю роль, о чем свидетельствуют информативность, полнота и разнообразие материалов, сохранившихся в дошедшем до наших дней его архиве, который до настоящего времени еще не служил объектом тщательного исследования историков.

История возникновения архива. Семья Щербатовых. Княжеский род Щербатовых происходит из черниговской ветви Рюриковичей и упоминается в русских летописях с XV в.² Из всех представителей рода наибольшую известность по праву заслужил придворный историограф Екатерины II князь Михаил Михайлович Щербатов, автор 7-томной «Истории Российской от древнейших времен» и знаменитого очерка «О повреждении нравов в России». Облеченное в рамки аристократического консерватизма страстное нежелание Щербатова мириться с нравами окружавшего общества во имя собственных идеалов через десятилетия отзовется в «Философических письмах» его внука, Петра Яковлевича Чаадаева; сходное настроение приведет другого внука, уже названного нами князя Ивана Дмитриевича, в среду декабристов.

Сын историографа князь Дмитрий Михайлович Щербатов родился в 1760 г. Смолodu он был записан в гвардию, начинал военную службу в Измайловском полку, а затем перешел в Семеновский и вышел в отставку в чине полковника. (Полковые связи князя, в частности дружба с командиром Семеновского полка генералом Писаревым, повлияли на выбор военной карьеры его сына Ивана и двух племянников, Петра и Михаила Чаадаевых, поступивших на службу именно в этот полк.) В семье Щербатовых существовали полулегендарные истории об учебе князя Дмитрия Михайловича в Кёнигсбергском университете, куда он был отправлен по обычаю того времени. Согласно одной из легенд, Щербатову как родовитому русскому аристократу доверили произнести приветствие на русском языке перед великим князем Павлом Петровичем во время проезда последнего через Кёнигсберг, но князь избежал этой чести, скрывшись на каком-то чердаке (история, таким образом, позволяет датировать учебу Щербатова в Кёнигсберге 1776 г.). Другой анекдот (часто повторяемый Чаадаевым) состоял в том, что за все время студенчества Щербатов так и не узнал ни о существовании знаменитейшего профессора университета И. Канта, ни тем более о его философии, о которой услышал только 30 лет спустя³.

В отставке князь поселился в Москве, посвящая все время заботам о своих имениях (в Московской, Ярославской, Калужской и Костромской губерниях за ним числи-

лось по 5-й ревизии почти 2400 душ крепостных и еще свыше 1300 душ в Новгородской, Нижегородской, Костромской и Ярославской губерниях принадлежало его жене Александре Федоровне⁴) и воспитанию детей, которых после ранней кончины жены на руках у князя осталось трое. Судя по описаниям, оставленным современниками, Дмитрий Михайлович был «умен, богат, мало честолюбив, очень самостоятелен, донельзя своенравен и своеобычен, очень самолюбив, чрезвычайно капризен, барски великолепен в замашках и приемах, отчасти склонен к похвальбе и превозношению, и имел неограниченное уважение, в то время понятное и основательное, к своему состоянию и к своему происхождению»⁵. Известное преклонение князя перед европейской ученостью позволило ему дать детям самое лучшее образование, которое только могла предоставить ученая Москва. У Щербатовых преподавали талантливейшие наставники Московского университета. Не скупясь на расходы по воспитанию детей, князь готовил им безоблачное будущее – успешную военную карьеру для сына, судьбу блистательных московских невест для дочерей. Однако этим семейным надеждам предстояло «крушение бесследное и безрадостное».

Единственный и любимый сын князя Иван Дмитриевич Щербатов появился на свет 7 марта 1794 г. Учеба, сначала домашняя, а затем продолженная в Московском университете, давалась князю легко. К 14 годам он в совершенстве знал три европейских языка и латынь, увлекался математикой, играл на скрипке, много читал, был знаком с основными произведениями русской литературы XVIII в. и античной классикой. Особенно привлекали князя описания битв и походов прошедших веков; его искренний интерес к военным наукам, фортификации, топографии совпадал с намерениями отца, готовившего сына к военной службе.

В 1811 г. Иван Щербатов поступил в Семеновский полк, участвовал в Отечественной войне 1812 г. и в зарубежных походах. Продолжая службу в полку, который называли колыбелью декабристского движения, Щербатов был близко знаком с участниками первых тайных обществ, своими однополчанами Сергеем Трубецким, Матвеем и Сергеем Муравьевыми-Апостолами, Федором Шаховским, который впоследствии женился на сестре Щербатова Ната-

лии. И хотя источники не подтверждают участия князя в Союзе спасения⁶, осведомленность Щербатова о его делах более чем вероятна.

За внешне благополучной карьерой князя (к 25 годам он в звании гвардии штабс-капитана командовал стрелковой ротой) скрывалось, однако, чувство неудовлетворенности, нереализованности собственных сил. Его петербургская жизнь не соответствовала тому благородному «античному» идеалу личности, который воспитывался с детства в людях поколения декабристов. В письмах к Якушкину Щербатов говорил о собственном «прозябании», вместо того чтобы жить наполненной чувствами жизнью⁷. Недовольство князя только усилилось, когда в марте 1820 г. в Семеновский полк был назначен новый командир – грубиян и самодур Ф.Е. Шварц. Как и многие офицеры полка, Щербатов всерьез задумывается об отставке. Но его планам не суждено было сбыться: после солдатского возмущения в полку, поднявшегося в ответ на жестокости Шварца, в октябре 1820 г. полк был расформирован и офицеры переведены в армию. Щербатова определили в Тарутинский пехотный полк, а через год после семеновской истории он оказывается под следствием, которое завершится для него только через 5 лет лишением всех чинов и высылкой на Кавказ⁸.

Главной причиной возбуждения этого судебного дела была убежденность Александра I, что за возмущением в Семеновском полку скрывался заговор офицеров. Для его расследования осенью 1821 г. была создана следственная комиссия, заседавшая в г. Витебске. Именно в руках комиссии, решавшей судьбу Щербатова и еще трех офицеров, попавших под подозрение в заговоре, в результате и оказался его обширный архив, история которого сложилась довольно необычно.

И.Д. Щербатов под следствием. 8 ноября 1821 г. князь И.Д. Щербатов был доставлен в Витебск, в распоряжение следственной комиссии. Основанием для ареста послужили два письма, обнаруженные полицией у его однополчанина Д.П. Ермолаева, которые якобы содержали «множество темных и условных выражений», а также оценивали поведение солдат как «благородную решимость», последовать которой было бы достойно и офицерам. Стре-

мясь получить как можно больше подробностей о поведении офицеров полка накануне и после «истории», комиссия потребовала доставить письма, которые Щербатов, находившийся тогда в Москве, получал от своих товарищей из Петербурга. Интересно, что запрос об этом, переданный в Москву князю Дмитрию Михайловичу Щербатову через дежурного генерала Главного штаба А.А. Закревского, написал сам Иван Дмитриевич. Однако нужные бумаги с первого раза не были доставлены (отец прислал только 8 писем конца 1820 – начала 1821 г.), и тогда комиссия повелела объявить Щербатову, чтобы «он вторично отписал к родителю своему в Москву, дабы он для удаления какого-либо нового упущения выслал сюда *все* (курсив мой. – А. А.) бумаги его и переписки»⁹. (О том, что полное собрание бумаг Щербатова осталось в Москве, в доме его отца на Девичьем поле, свидетельствовал на следствии Игнатий Панов, камердинер князя, бывший при нем неотлучно с 15 лет и хранивший его архив, сообщив, впрочем, что перед отъездом в Витебск его сестра Елизавета Дмитриевна брала из письменного столика письма, «какие и сколько не знаю».) Наконец, 20 декабря 1821 г. А.А. Закревский получил от князя Дмитрия Михайловича «письмо, адресованное на имя сына его майора кн. Щербатова, с следующими при оном *бумагами, в особом тюке запакованными* (курсив мой. – А. А.)»¹⁰.

Судьба этого тюка с бумагами развивалась крайне любопытно, чему мы в конечном счете и обязаны возникновением архива И.Д. Щербатова в составе его следственного дела. Комиссия в Витебске на заседании 27 декабря 1821 г. по случаю прибытия бумаг от Закревского из Петербурга выслушала сообщение своего председателя генерал-адъютанта Алексея Федоровича Орлова (будущего шефа III отделения). Орлов объявил, что «письмо отца майор³ кн. Щербатова вручил он сыну его, а тюк с бумагами распаковал в присутствии его обер-аудитор Терлецкий, из коего вынута семейная переписка майора кн. Щербатова и по прочтении вручена тоже майору кн. Щербатову под расписку» (такая расписка действительно хранится в следственном деле)¹¹. Таким образом, в первоначальном вскрытии бумаг участвовал очень узкий круг людей (только председатель комиссии и обер-аудитор), после чего их значитель-

ная часть была выведена из оборота следствия. Поскольку реальный объем семейной переписки Щербатова составляет свыше 300 писем объемом 4–6 страниц почтовой бумаги каждое, то можно усомниться в заверениях Орлова, что он все их прочел за то краткое время, что было в его распоряжении перед заседанием. Между тем часть архива могла бы очень пригодиться в поиске «заговорщиков» – там были письма, связанные с историей любви Якушкина, которые рисовали душевное состояние декабриста непосредственно в момент вызова на царубийство осенью 1817 г. (Кроме того, затрагивался круг знакомств Якушкина по Союзу спасения, некоторые его общественные проекты.) При желании в этих письмах комиссия могла найти куда больше «подозрительных» выражений, чем те, за которые пострадал князь.

В чем же причина неожиданной «оплошности» следователей? Дело в том, что граф А.Ф. Орлов здесь руководствовался неписанным кодексом дворянской чести. Своему непосредственному начальнику князю П.М. Волконскому Орлов так докладывал о сведениях, «кои не почел приличным внести в акты следствия»: «В числе полученных мною бумаг <...> найдена мною связка писем штабс-капитана Якушкина и сестры Тарутинского пехотного полка майора кн. Щербатова, заключающие взаимную привязанность их друг к другу, по-видимому без сведения родителей, которая, по личному объяснению кн. Щербатова, заключает семейную тайну, почему, для предосторожности прочитав сам оные письма и запечатав их печатью герба моего, сдал ему для хранения в том виде до совершенного решения дела»¹².

Остальные бумаги Щербатова, не попавшие в запечатанный Орловым пакет, были изучены членами следственной комиссии, выбравшими из них 15 писем, в которых упоминалась «семеновская история» (это были письма Ермолаева, Сергея Муравьева-Апостола и князя Федора Шаховского), а прочие бумаги – «упражнения в малолетстве кн. Щербатова, также записи и другие бумаги по службе его, равно и дружескую переписку, сдали майору кн. Щербатову, запаковав в тюк для хранения оных запечатанными до совершенного окончания сего дела».

Таким образом, бумаги почти в полном составе вновь оказались на руках у Щербатова и, по-видимому, остава-

лись у него в течение всего витебского заточения. Нерешительность Александра I мешала ему определить окончательную участь подсудимых. Император желал получить решающие доказательства причастности тайного общества к Семеновскому бунту, но так и не получил их от следствия. Судьбу Щербатова решил в феврале 1826 г. уже новый государь Николай I, приговоривший его к ссылке рядовым на Кавказ. Отправляясь туда, князь, вероятно, не имел возможности взять с собой архив. Бумаги остались в Витебске в доме коменданта, который, согласно документам следственного дела, в мае 1826 г. спрашивал, куда отправить хранившиеся в его ведении «ящик с какими-то бумагами и пакет с партикулярными письмами; все за печатями графа Орлова». В российской военной машине хозяин бумаг потерялся удивительно быстро – в июне 1826 г. запрошенный об этом Главный штаб не имел сведений, «кому именно упомянутые бумаги принадлежали и куда оные должны быть отправлены», поэтому решено было передать их в Аудиториатский департамент для приобщения к соответствующему следственному делу¹³.

Так, войдя в состав военно-судного дела над бывшими офицерами Семеновского полка И.Ф. Вадковским, Н.И. Кашкаровым, И.Д. Щербатовым и Д.П. Ермолаевым, «ящик с бумагами и пакет с письмами» и сохранились до наших дней. В 1920-е годы на них впервые обратили внимание историки – Д.И. Шаховской (внучатый племянник Щербатова), собиравший материалы о юности П.Я. Чаадаева, и В. Нечаев, опубликовавший ряд писем к Щербатову его сестры Наталии и все письма И.Д. Якушкина, которые с двух сторон рассказывали о любовной драме декабриста. Нечаев впервые указал на имеющийся в архиве автограф Грибоедова и несколько других документов, относящихся к периоду университетской учебы Щербатова и его друзей. Однако дальнейших публикаций не последовало – в первые же годы сталинских репрессий Д.И. Шаховской погиб¹⁴. Спустя 70 лет потребовался новый архивный поиск для введения в научный оборот этих чрезвычайно важных, по-своему уникальных документов, которые не только являются памятником декабристского движения, но и в целом освещают ключевые проблемы истории русской культуры первой четверти XIX в.

Состав архива. Военно-судное дело о Вадковском, Кашкарове, Щербатове и Ермолаеве (РГВИА. Ф. 801. Оп. 77/18. Д. 24 [3 отделение Аудиториатского департамента, 1826 г.]) в его современном виде разделено на 10 частей. Первые две содержат документы о следствии, суде, последующем прохождении дела в Аудиториате и о решении его императором. Собственно же архив Щербатова составляют части 3–10 (из них части 7, 8 в 2 т.). Далее мы приводим их последовательную опись с краткими комментариями (заметим, что нумерация частей не выдержана в хронологическом порядке).

Часть 3. Письма князя Дмитрия Михайловича Щербатова к сыну (1807, 1811–1820). Содержит 51 письмо старого князя на русском языке, одно ответное письмо И.Д. Щербатова (1812) и 3 письма, адресованных Д.М. Щербатову, в том числе от учившего князя русской словесности поэта Захара Алексеевича Буринского.

Часть 4. Письма княжны Елизаветы Дмитриевны Щербатовой к брату (1807–1821). Содержит 92 письма на французском, английском и русском языках, многие письма с приписками их сестры Наталии Дмитриевны.

Часть 5. Письма И.Д. Якушкина к И.Д. Щербатову (1816–1821). 25 писем, все, кроме одного, на французском языке. Эти письма опубликованы в русском переводе (с некоторыми малозначительными неточностями) В. Нечаевым.

Часть 6. Письма княжны Наталии Дмитриевны Щербатовой, в замужестве Шаховской, к брату (1807–1821). Всего 127 писем (в том числе один черновик 1819 г. письма И.Д. Щербатова к сестре), а также 4 письма ее мужа, князя Ф.П. Шаховского к Щербатову (1821). Почти все письма на французском и русском языках, кроме одного, написанного по-немецки. Во многих из них – приписки их сестры Е.Д. Щербатовой. Некоторые отрывки из писем, содержащихся в этой части, были опубликованы В. Нечаевым вместе с письмами Якушкина.

Часть 7, том 2. Письма разных лиц к И.Д. Щербатову (1806–1821). Всего 62 письма на французском, немецком, английском и русском языках. Здесь письма учителей, родственников Щербатова, его товарищей по службе. Особенный интерес представляют письма А.С. Грибоедова, П.Я. и М.Я. Чаадаевых, М.А. Фонвизина.

К письмам этой части примыкают письма, которые были изъяты из архива в ходе следствия и затем вшиты в следственное дело. Это 8 писем 1820–1821 гг. к Щербатову, первоначально присланные в Витебск его отцом (Ч. 1. Л. 324–339; в их числе письмо Якушкина от 14 февраля 1821 г. и записка П.Я. Чаадаева от 18 сентября 1821 г.), и 15 писем, выбранных из тюка (Ч. 1. Л. 368–403, в том числе несколько писем Д.П. Ермолаева, С.И. Муравьева-Апостола и Ф.П. Шаховского за 1820–1821 гг.).

Часть 7, том 1; часть 8, тома 1–2; части 9 и 10. Учебные тетради, служебные, хозяйственные и прочие бумаги И.Д. Щербатова (1802–1821).

Содержание архива. Учеба. Архив князя И.Д. Щербатова замечателен прежде всего тем, что в нем полностью, без заметных изъятов и пропусков, отразился жизненный путь молодого офицера декабристского поколения.

Значительным отрезком этого пути являлся период учебы, формирования мировоззрения и выбора молодым человеком будущей служебной карьеры. Судя по первым сохранившимся в архиве учебным тетрадям, для Щербатова этот период жизни начался в 1802 г., т. е. уже в возрасте 8 лет, а закончился в 1811 г. с его отъездом в Петербург на военную службу. Важным этапом в возмужании Щербатова и его становлении как личности было его обучение в Московском университете, где лекции с 1806 г. он посещал вначале на правах слушателя, а с 1808 г. в звании студента¹⁵.

То, что для юного дворянина начала XIX в. именно Московский университет был местом, где в полной мере завершалось его образование, совсем не случайно. Только что произошли глубокие преобразования университета, бывшие частью просветительских реформ начала царствования Александра I, и благодаря им университет превратился в один из важнейших центров культурной жизни России, притягивавший интересы дворянского общества. Так, одновременно с Щербатовым здесь учились не только его кузены Чаадаевы, но и Николай Тургенев, братья Перовские, Муравьевы, Якушкин и другие будущие декабристы, но и многие будущие литераторы, ученые и государственные деятели¹⁶. Благодаря особой университетской атмосфере все они сохраняли определенную общность интересов, убежде-

ний, уже тогда осознавали роль университетского братства: именно здесь завязывались дружеские контакты, продолжавшиеся всю жизнь. Знакомство Щербатова с Грибоедовым, о котором речь пойдет ниже, тоже произошло в университете. Можно сказать, что значение учебных материалов Щербатова, составляющих около четверти объема его архива, выходит за узкобиографические рамки, характеризуя существенный пласт культурного сознания поколения. В практическом плане мы, например, почти ничего не зная об учебе Грибоедова, но имея сведения об общих учителях и занятиях, которые тот посещал вместе со Щербатовым, можем восстановить круг знаний, полученных Грибоедовым в университете.

Как уже упоминалось, самые ранние учебные тетради Щербатова (на французском языке) относятся к сентябрю 1802 г., когда мальчик начал изучать географию и основы грамматики. Занятия географией проходили не чаще двух раз в месяц. Сначала Ивану давали самые общие сведения о частях света и странах земного шара, а в продолжении тетрадей, относящемся уже к 1804/05 уч. году, мы находим описания европейских стран и отдельных губерний Российской империи. Описание губернии строится по строго заданному плану: указаны ее границы, основные города, реки, занятия населения и промыслы. В рассказе о Европе упоминаются многие ее исторические памятники, как, например, замок Эльсинор в Дании¹⁷.

Первые учебные записи по русской истории (Новгородская республика и ее покорение Москвой), французскому и русскому языкам датированы осенью 1804 г. Наряду с прежними гувернерами-иностранцами около 1805 г. в семье Щербатовых появляется русский учитель – выпускник Московского университета З.А. Буринский. Сохранившиеся упражнения показывают, например, каким образом под его руководством Иван учился сочинять письма на русском языке. Для этого учитель давал подходящие темы, например: письмо к вельможе, изъявляющее благодарность за помещение к месту; письмо к другу, отправляющемуся в чужие края; письмо к благодетелю с просьбой; прошение государю о вспоможении несчастному семейству, коего отец долговременной службы убит на войне; письмо, отправленное после долгого молчания, и т. п.¹⁸ Юный князь состав-

лял по данной теме небольшой текст, в котором Буринский исправлял грамматические ошибки или погрешности стиля (в том числе часто убирал галлицизмы, хорошо показывающие, что письменный русский язык в обучении являлся вторичным по отношению к французскому).

С 1806 г. (с 12 лет) круг предметов, изучаемых князем, значительно расширился, что совпало с началом посещения университетских лекций. Одновременно у Щербатова появился наставник из числа профессоров – явление известное по биографиям многих дворян-студентов того времени, и в том числе Грибоедова¹⁹. Сходство здесь тем больше, что наставник у обоих молодых людей был один – знаменитый профессор, прибывший в Московский университет из Геттингена, блестящий знаток античной культуры и философии, издатель первых московских научных журналов и в целом одна из ключевых фигур в программе университетских преобразований начала XIX в. Иоганн Теофил Буле²⁰. О характере занятий Буле со Щербатовым красноречивее всего рассказывает сам профессор в аттестатах, которые он в конце каждого учебного года представлял его отцу.

«С великою душевною радостью, – пишет Буле 21 июня 1807 г. князю Дмитрию Михайловичу, – свидетельствую сим письмом, что молодой князь Иван Дмитриевич господин Щербатов, украшенный дарами природы и души, чрез целый год обучался под моим руководством преимущественно латинскому языку, также классическим древностям, мифологии и древней истории с отличным и щастливым прилежанием. Мы вместе с ним читали Корнелия Непота, Цицеронову речь на Верреса и многие фамилиарные письма сего же автора, потом некоторые книги из Овидиевых превращений, Теренциеву комедию Андрию и, наконец, остановились на чтении Тацита о нравах Германских народов. Молодой князь на сих лекциях занимался таким образом: разобравши со мною вместе текст писателя, темные места записывал на бумагу и затверживал, потом у себя дома объясненную часть текста переводил на немецкий язык, который перевод я после поправлял, объясняя при сем князю правила лучшаго немецкаго слога. Сверх сего читал я также с князем для упражнения писать по латыни Гарвиевы письма к друзьям, изданные на немецком языке; и сам молодой князь изоощрял природную свою способ-

ность и память, переводя сии письма у меня экспромту на латинский язык; а выработавши у себя дома с большим рачением, отдавал перевод мне, который я поправлял, имея в виду чистой латинской слог. Таким образом, сей достойной юноша оказал весьма хорошие успехи, и хотя я не щедр на похвалы молодых людей, думая что лучше их поощрять и побуждать к труду, пока они не достигнут некоторой зрелости ума и науки; однако справедливость и должность меня обязывает сказать, что я еще мало знавал таких, которые, будучи тех же юношеских лет, в каких теперь находится князь, мой прилежнейший ученик, и знанием языков и полезных наук, и прилежанием, и достохвальными качествами нравов и сердца, и желанием достигнуть высочайшей степени наук, столько себя отличил. И так наиболее желаю, чтобы он, благоприятствуемый щастливыми признаками, продолжал идти по проложенному уже пути и таким образом соделался бы достойным благоразумнейших попечений, ожиданий почтеннейшего своего родителя. Отечественная Россия и племя Щербатовых найдет в нем красоту свою»²¹.

В аттестате за следующий, 1807/08 уч. год Буле называет среди пройденных произведений «Сельские эклоги» и «Энеиду» Вергилия, оды и сатиры Горация, дидактическую поэму Лукреция «О природе вещей», «историю второй Пунической войны» Тита Ливия, «Анналы» и «Германию» Тацита, письма Цицерона, а также для упражнений в латинском слоге переводы немецких писем геттингенских профессоров Августа Шлецера и Христиана Мейнера о русской истории. Занятия с Буле чрезвычайно обогащали юношу, воспитывали в нем ощущение единства европейской культуры, находившей источники своего вдохновения в античном мире. Буле, как ученый и педагог, проводил в России идеи немецкого историка и теоретика искусства Иоганна Винкельмана о живом влиянии античности на современность в качестве образца для подражания не только в культуре, но и в жизни²². Сходный же комплекс идей отразится позже в мировоззрении декабристов²³.

В архиве сохранились переводы всех упомянутых Буле авторов, поэтому мы можем судить о блестящем знании Щербатовым немецкого языка и латыни. К этому же учебному году относится и начало углубленных занятий английской литературой по произведениям Шекспира,

Стерна, Гольдсмита. Интересно, что другой ученик профессора – Грибоедов – также имел глубокие познания в языках, и особенно в латыни, а его любимыми писателями в университете были комики Плавт и Теренций. Такие блестящие латинисты, как Щербатов и Грибоедов, заметно выделялись среди посетителей занятий в университете, где основным языком преподавания в начале XIX в. еще оставалась латынь. Все они были выходцами из богатых дворянских семей, и именно полученное дома образование позволяло без труда усваивать университетские лекции (о Грибоедове позже вспоминали, что он «почти один из русских был в состоянии следить за лекциями немецких профессоров, читавших по латыни»²⁴).

Связующей мыслью в ходе всей учебы Щербатова была идея пользы, которую сможет принести молодой дворянин не только себе, но и обществу, изучая языки и науки. Характерна в этом смысле тема сочинения, поставленная перед 12-летним князем его учителем немецкого языка, – «In wiefern kann die Kenntniß der Deutschen Sprache, besonders dem Russen nützlich sein». Отвечая на вопрос, Щербатов называет необходимость учиться у страны, в которой культура, науки и искусства находятся на высочайшем уровне, говорит и о близком территориальном расположении Германии и России, о важности знания языка для путешествий, общения с жителями (и для чтения научных книг, – добавлял учитель)²⁵.

Важное место в образовании Щербатова занимала математика, поскольку именно с ней в начале XIX в. связывалась карьера офицера. Домашним учителем математики в щербатовском доме был магистр Федор Иванович Чумаков. Под его началом князь и его кузены Чаадаевы в 1806–1809 гг. изучали университетский курс математики, включавший алгебру (операции с дробями и радикалами, решение уравнений), аналитическую геометрию до конических сечений, основные теоремы, фигуры и задачи планиметрии и стереометрии, а также начала тригонометрии. В 1807 г. Щербатов начал посещать лекции профессора Панкевича по механике, но, очевидно, не дослушал курса до конца. В архиве нет указаний, какие еще лекции посещал записанный в 1808 г. на физико-математическое отделение университета Щербатов, но вряд ли он миновал широко из-

вестные тогда всей Москве лекции по опытной физике профессора Страхова. Помимо латинского конспекта «Elementa Dynamica», сохранившегося среди бумаг, о серьезности занятий князя физикой говорят подготовленные им к публичному экзамену 86 вопросов, освещавших основные свойства движения и взаимодействия тел²⁶.

Судя по материалам архива, в университете князь изучал основы прав граждан (в курсе практического законоведения), риторику и теорию литературы и, конечно, всеобщую и русскую историю. Литературные и исторические занятия князя заслуживают отдельного рассмотрения в связи с деятельностью основанного при его участии дружеского студенческого общества, сведения о котором представляют особый интерес и для биографии А.С. Грибоедова.

Студенческие собрания в доме Щербатова. До последнего времени, к сожалению, единственным источником об этих собраниях считалась маленькая записка Грибоедова на французском, адресованная И.Д. Щербатову. Ее содержание было известно лишь в русском переводе Д.И. Шаховского, познакомившегося с ней в 1920-е годы при работе над статьей о Грибоедове и Чаадаеве. Статья тогда осталась неопубликованной и увидела свет гораздо позже и с искажениями²⁷. Значение этой записки не только в том, что это самое раннее из дошедших до нас писем Грибоедова. Из всего написанного им в Москве до 1812 г. сохранилась лишь она.

Подлинник записки был обнаружен нами в архиве Щербатова. С ее помощью можно попытаться ответить на некоторые непоясненные вопросы юношеской биографии поэта, главный из которых – так и остающийся до сих пор неизвестным год рождения Грибоедова (в момент написания записки ему могло быть 12 или 17 лет).

Приведем ее оригинальный текст, публикуемый впервые: «Je suis bien fâché, mon Prince, d'être privé du plaisir d'assister à Votre Assemblée, mon indisposition en est la cause. Comptant sur votre complaisance j'espère, que Vous voudrez bien me faire le plaisir de venir souper chez nous. Vous m'obligerez infiniment en acceptant mon invitation, ainsi que vos cousins Tshedaiow, les Messieurs de l'Assemblée, et Msr. Bourinsquÿ, qui certainement me procurera le plaisir de sa société»²⁸.

Итак, в записке идет речь о собрании (Assemblée), более или менее регулярно случавшемся в доме Щербатова, среди участников которого были Грибоедов, братья Чаадаевы и некоторые другие члены, знакомство которых состоялось во время учебы в университете²⁹. Молодые дворяне – питомцы Московского университета в эти годы организовывали немало таких кружков, преимущественно литературного характера, где они читали и разбирали новые журнальные статьи, повести и стихотворения, рассуждали на темы высокой морали и философии.

Наиболее известным было Собрание благородных университетских питомцев, проводившее регулярные заседания в университетском Благородном пансионе. Собрание имело собственный устав и определенные ритуалы. Иногда его посещали даже признанные литературные корифеи Москвы И.И. Дмитриев и Н.М. Карамзин. Благородный пансион вообще много способствовал складыванию дружеских связей между московскими дворянами декабристского поколения, а поскольку, как мы знаем, в пансионе Грибоедов провел, по крайней мере, один год учебы, то и прочих членов Собрания можно искать именно в пансионской среде³⁰.

Другим литературным объединением, связанным с университетом и пансионом, был кружок А.Ф. Мерзлякова, активным участником которого был упомянутый в записке З.А. Буринский³¹, поэтому здесь дружеские контакты с участниками Собрания тоже весьма вероятны. Так, с 1808 г. на пансионе у Мерзлякова жил земляк Грибоедова по Смоленщине И.Д. Якушкин, и примерно к этому же времени относится и его первое появление в щербатовском доме³², поэтому представить Якушкина участником Собрания очень легко. То же относится и к другому земляку и приятелю Грибоедова мемуаристу В.И. Лыкошину.

В архиве Щербатова обнаружен и еще один документ, проливающий свет на деятельность кружка. О том, что он носил именно литературный характер, свидетельствует черновик речи Щербатова, которую тот должен был произнести как секретарь Собрания:

«Милостивые государи! Обязанность вами на меня возложенную принял я с величайшей благодарностью и старался исполнить, сколько позволяли мои силы, но, ко-

нечно, я бы должен больше сделать для исполнения всеобщей нашей цели, по крайней мере, все желание мое клонилось ко всеобщей пользе, какую мы себе предположили. Есть ли я в <общество наше> (читается предположительно, текст поврежден. – А. А.) в месяце моего секретарства не доставлял собранию моих трудов, то это зависило (sic!) от особенных обстоятельств. При том малое число заседаний были некоторым образом тому причиною.

Обратим теперь внимание на то усердие, на ту похвальную <ревность>, с которой каждый член нашего общества старается и за честь себе поставляет споспешествовать другим своими посильными знаниями и советами, то мы ясно увидим, что в самом деле нельзя найти лучшего пособия образовать свой вкус и способности в отечественной литературе (sic!), как не в кругу таких друзей, которые долгом своим считают помогать друг другу. Итак есть ли всякой из нас желает исполнить предположенную нами цель, в чем никто не сомневается, то мы можем быть уверены, что такое дружеское согласие...»³³.

Таким образом, в черновике определена задача общества: «образовать вкус и способности в отечественной словесности», для чего его члены регулярно должны представлять Собранию свои труды, которые оно затем обсуждает. Один такой труд – рассуждение Михаила Чаадаева об искусстве знаменитого французского оратора и историка Боссюэ, в котором автор замечательным образом раскрывал природу ораторского мастерства, дошел до наших дней³⁴.

Другая тема, возможно, обсуждавшаяся друзьями, сохранилась в наброске Щербатова «Задачи всеобщей истории». Здесь князь пишет: «Всемирная история научает нас переменам, случившимся с земным шаром, в роде человеческом, в науках, искусствах и пр. Она есть соединение всех частных историй, или повесть о всех важных происшествиях, случившихся в мире; через нее познаем причины, по которым мир пришел в такое состояние, в котором он нынче находится. Род человеческий имеет одно начало, история его заключает в себе разделения его на народы, между собой не подобные, причины, по которым одни и те же народы переменялись в течении времен; человек может унижаться или возвыситься, смотря по тому, как будут возбуждены его способности. <...> Во всеобщей истории долж-

но помещать только одно верное и вероятное. Единство для важности науки, конец всех происшествий, для легчайшего обозрения целого, и для лучшего изучения»³⁵.

Литературной знаменитостью Собрания несомненно был З.А. Буринский, к этому времени уже магистр философии и словесных наук, превратившийся из строгого учителя в преданного друга щербатовского дома. Буринский приобрел известность в литературных кругах Москвы своими переводами не только романов и пьес (помимо развития слова дававших возможность многим бедным воспитанникам университета зарабатывать на жизнь), но и античной классики, исторических трудов, а также стихотворениями, публиковавшимися в пансионских сборниках «Утренняя заря», «Вестник Европы» и в других журналах³⁶. Воспоминания оставили образ веселого, общительного юноши с незаурядным дарованием, бывшего душой любой дружеской компании. «Поэт чувством, поэт взглядом на предметы, поэт оборотами мыслей и выражений и образом жизни – словом, поэт по призванию», – тепло вспоминал о нем один из друзей³⁷.

Таким предстает он и в семейной переписке Щербатовых. «Передайте, пожалуйста, от меня поздравления г. Буринскому, – писала в 1807 г. старшая из сестер Елизавета Дмитриевна, вероятно, после получения Буринским степени магистра. – Скажите ему, что я желаю ему всевозможных благ, поблагодарите его за все те любезности, которые он мне написал. Я заранее и от всей души благодарю его за подарок, который он мне посвятил; уверьте его, что получит то, что я ему обещала, то есть эстамп»³⁸. В письме речь идет о стихотворении Буринского 1807 г. «К к. Е. Д. Щ. Приглашение в деревню». (Впоследствии оно неоднократно издавалось в «Собрании лучших русских сочинений».) Приветами молодому поэту пестрят и другие письма сестер Щербатовых этих лет. Двенадцатилетняя Наташа просит передать Буринскому, что очень тронута его подарком и очаровательными стихами, которые тот написал в ее альбом³⁹. Из этих упоминаний мы узнаем, что Буринский правит Наташе ее русские письма и даже учит игре на клавишине.

Наряду с этим в письмах содержатся глухие упоминания о болезненном состоянии молодого поэта. Старый князь Щербатов приглашал его поправить здоровье в подмосков-

ную усадьбу. В относящейся, вероятно, к 1808 г. записке Буринского мы читаем: «Ваше сиятельство, милост. госуд.! Так как я по милости вашей располагаюсь в среду или четверток поехать в деревню, то и прошу покорнейше: 1-е приказать отправить наши некоторые пожитки, мою козу и повара. 2-е а мне с спутниками изготовить экипажец. Я думаю, Ваше Сиятельство, что можно бы здесь нанять четверню; и более всего уведомить прикащика через подводу, которая потащит наши пожитки, изготовить нам флигель, где жили г. Чаадаевы: он окнами в сад. А об других статьях нашего существования в деревне, я думаю, вы уже приказать изволили. Мне крайне хочется, как можно скорее уехать из больницы моей. Вы бы изволили очень одолжить меня, если бы дали знать, могу ли я надеяться выехать в четверг. С глубочайшим почтением честь имею быть Вашего сиятельства Милостивого Государя покорнейший слуга З. Буринский»⁴⁰.

К этим же годам относятся и несколько известных нам писем Буринского к своему товарищу по пансиону Н.И. Гнедичу, где поэт предстает совершенно другим человеком, чувствительным, ранимым, склонным к глубоким медитативным размышлениям⁴¹. В июне 1808 г. наступила печальная развязка: Буринский скончался, оплаканный друзьями, которые откликнулись на его смерть стихами. В их числе был и И.Б. Петрозилиус, в то время губернёр Грибоедова, что еще раз подтверждает близость последнего к Щербатовскому дому.

Деревня. Не менее богатый пласт щербатовского архива относится к бытовым подробностям жизни грибоедовской Москвы. По временам года он как бы делится на две части: деревенскую жизнь летом в подмосковных усадьбах и светскую – в самой Москве.

Жизнь семьи Щербатовых текла по привычной колее. Летом полагалось ехать в деревню, и туда уезжали, как только вставала дорога (судя по письмам, обычно в начале мая), а возвращались в последние погожие дни осени, в сентябре–октябре.

Для московского дворянского общества деревня в культурном отношении выполняла особую роль. Не теряя своих обычных социальных функций – предоставлять дворянину все необходимое для жизни (продукты, лошадей, слуг, наконец деньги, позволявшие жить в столице), дерев-

ня летом превращалась в пространство, где в более свободных и не скованных этикетом условиях развивались главные элементы светской дворянской культуры («Деревня летом рай», – писал Грибоедов). Из столицы сюда переносился интерес дворян к театру, чтению, музыке, изучению наук и природы, получавший в деревне куда более живое и непосредственное воплощение. Прежде всего это можно отнести к юному поколению, для которых пребывание в усадьбе превращалось в нескончаемый праздник.

Два села Щербатовых (подмосковное Рожественно [между Серпуховом и Зарайском] и ярославское Михайловское) были местом веселого летнего времяпровождения гостеприимной семьи, где, кроме кузенов Чаадаевых, нередко гостили другие родственники – Спиридовы, Горяиновы и пр. Взрослые члены семьи имели возможность не только отдохнуть, но и несколько поправить дела после разорительной столичной жизни. В сохранившихся свидетельствах щербатовской семьи мы видим деревню глазами молодого поколения, жившего здесь вольно и беззаботно, легко соединяя прогулки и чтение, игры и учебу.

«Работа с отдыхом, сменяемы друг другом / Для наслаждения разделят время вам...», – писал Буринский в уже упоминавшемся стихотворном послании «К к. Е. Д. Цц» давая описание дня, проведенного в усадьбе. Вот главная героиня стихотворения княжна Лиза Щербатова отправляется на прогулку с книгой в руке:

Великие певцы Природы
Займут прогулки вашей час:
Томсон, Делиль и Клейст и Гернер несравненный
Беседой усладят ваш путь уединенный
И душу приведут поэзии в восторг!

А вот после хлопотливого дня наступает вечер – время музыкальных занятий в усадьбе:

Вы с Музой за клавир. Под легкими перстами
Прелестных звуков строй
Польется чрез окно отверстие струей,
Достигнет ближней роши,
Обворожит обитель ночи
И там соперника разбудит соловья!..⁴²

Финальный вывод поэта – «Прекрасная душа прекрасна навсегда» – вполне естественно отражает гармонию соединения природы и пространства дворянской культуры, достижение которой было идеалом деревенской жизни.

В письмах членов щербатовской семьи эта поэтическая картина наполняется вполне конкретными деталями. Особенно интересны в этом смысле ранние письма сестер Щербатовых, которые так и дышат детской непосредственностью, живым, свежим восприятием природы. Девочки прибывают в Рождественно в середине того же прекрасного мая 1807 г., когда младшей из них, Наташе, еще не исполнилось 12 лет, а старшей, Лизе, около 15. Целыми днями они качаются на качелях, купаются и гуляют в лесу. Подобно всем детям, девочки играют в горелки, кошки-мышки, бегают за любимой собачкой Аргусом. Князь Дмитрий Михайлович хочет устроить театр и развлечь дочерей комедией. Сюда же в деревню Щербатовы ждут своих кузенов Чаадаевых, и те приезжают 26 мая, накануне дня рождения Петра, которого затем поздравляют всей семьей⁴³.

Следующее лето Щербатовы провели уже в Михайловском. 30 мая 1808 г. Наташа писала брату, задержавшемуся в Москве в связи с университетскими занятиями: «Целый день я на воздухе, утром иногда я хожу в нашу рощу за грибами для обеда. Я рисую, я читаю по-французски, потом я уже в саду, бегаю, как сумасшедшая, за бабочками вместе с нашим добрым Аргусом. Ах, когда же приедет кузен Пьер, ведь мы с ним прекрасные натуралисты! Бьет полдень, мы обедаем, и к нам за стол всегда кто-то приходит, а после обеда я беру книгу и иду в рощу, но читать невозможно, потому что я должна без конца отбиваться от ужасных мух и комаров. Я даю им весьма кровопролитные сражения, но, наконец, смиряюсь и иду в дом повторять очаровательную сонату Бетховена, и с каждой нотой я вспоминаю Mr. Suck (учителя английского языка. – А. А.), который так ее любит. Потом я перевожу по-английски или читаю Плутарха. Ах! потом мы идем купаться или гулять, а после ужина продолжаем прогулки до одиннадцати часов. Вот как я провожу время»⁴⁴.

Помимо картин природы и обмена новостями переписка из деревни служила для девочек и учебным целям: их

учителя следили за правильностью языка и правописания. Ради этого каждое следующее письмо следовало писать на другом языке (французском, английском или русском). Лиза в своих первых письмах из деревни предпочитала английский («во-первых, потому что я люблю этот язык больше, чем остальные, во-вторых, потому что папа его не понимает»). Впрочем, очень быстро привычка изъясняться по-французски взяла верх, так что часто предписания учителей нарушались. Иногда после привычного французского начала письма Лиза вдруг вспоминала: «Ах! да я совсем забыла, что мне велено по-русски писать». Встречаются и такие ее оговорки: «Я сегодня пишу по-французски, потому что лучше получается, да и некогда терять время»⁴⁵. В том же году еще более юная Наташа, обращаясь к брату, рассуждает по-французски о необходимости писать на всех языках, и особенно русском, «так как это наш родной язык, и его нужно знать прежде всех остальных», и... просит прислать ей французско-русский словарь⁴⁶.

Юноши в деревне также прогуливались на свежем воздухе, читали, иногда охотились. В мае 1807 г., когда Чаадаевы перебрались в Рождественно, пятнадцатилетний Михаил отправил И.Д. Щербатову письмо следующего содержания: «Любезный братец! Когда бы мне не представился случай, когда бы не видел сестриц занятых вам писать, не пришла бы мне мысль то же сделать и вы не увидели бы сего письма (*avoüe sincère*). – Да и что смогу вам писать будучи только один день здесь. Скажу впрочем, – прибыли сюда вчера 26-го числа в вожделенном здравии и без всякого неприятного приключения. – Ноне ездим мы купаться в Люторецкое, вода довольно тепла. Мистер Young учит меня по английскому манеру плавать. Вообще малое время нами здесь проведенное показалось нам довольно коротко. Надеюсь, что еще будет веселье, но совершенное удовольствие мое бы только доставит нам присутствие любезного и почитаемого мною двоюродного брата князя Ив. Дмитр. Щерб., коего покорным слугою всегда останется Михаил Чаадаев»⁴⁷.

Самое первое из сохранившихся писем Петра Чаадаева тоже связано с его пребыванием в усадьбе Щербатовых⁴⁸. Как и сестры Щербатовы, он ждет предстоящего спектакля, упоминает о ежедневных развлечениях: купаниях и

качелях. Интересно, что и Михаил, и Петр (в свои 13 лет) уже хорошо пишут по-русски.

У юношей в деревне выявлялись привычки, сохранившиеся на всю жизнь, например страсть Михаила Чаадаева к охоте. В одном из писем 1807 г. он, жалуясь Щербатову на дождливую погоду и скуку, пишет, что тем не менее «ходил раза два за тетеревами». В письмах других лет при упоминании имени Михаила почти постоянно говорится о его охотничьих успехах. Так, в 1817 г. Елизавета Дмитриевна передает через брата для обоих Чаадаевых новости об имении Алексеевское под Дмитровом, которое принадлежало их тетке Анне Михайловне (оба брата часто там жили в 1820-х годах, после отставки), и просит: «Скажи Мишелю в особенности, что в окрестностях усадьбы, где живет тетушка, множество оленей, и что он сможет развлекаться охотой, не удаляясь от дома больше чем на несколько саженьей, так как все это находится посреди болота, у которого не видно конца ни в какую сторону»⁴⁹.

В деревню молодые люди, тогда уже студенты Московского университета, переезжали вместе со своими учителями. К отъезду готовились основательно. Вот что из деревни писал по этому поводу к сыну князь Дмитрий Михайлович: «Князь Иван Дмитриевич! В будущую субботу тетка ваша к. Анна Михайловна возьмет вас с собой в с. Рождественно. Следовательно, Федор Иванович Чумаков свободен от беспокойства. Не забудьте обстоятельно отобрать нужное для вашего упражнения, телега для поклажи назначена. Не забудьте астрорябию и все потребное для черчения, фортификации. Возьмите ныне в Москве и в деревню скрипки, и все ноты может быть пожелаете повторить. К. Дмитрий Щербатов. Засвидетельствуйте мой усердный поклон любезному Федору Ивановичу Чумакову и г. Буринскому. Скажите им, что я почти совершенно уверен, что они по окончании их по университету упражнений не лишат нас удовольствия своим приятным посещением»⁵⁰.

Учителя общались с учениками без скидки на отдых: так, Петр Чаадаев в упомянутом письме от 1807 г. жаловался на «немилосердный урок» Чумакова. Не дошли до нас письма (о них упоминал Михаил), которые Буринский отправлял Петру из Москвы, впрочем, поэт вскоре и сам приехал в Рождественно. Заметим, что в деревню быстро дохо-

дили главные московские новости, они живо обсуждались в семье и с учителями. Будущих декабристов волновали политические интересы, правда, их пробуждавшиеся гражданские чувства «подстраивались» под деревенскую жизнь. В июне 1807 г. после известий о поражениях русской армии и Тильзитском мире Петр Чаадаев отказался участвовать в семейном спектакле и на весь день ушел в поле, забился в рожь, переживая событие, которое было, по его мнению, «пятно для России и унижение для государства». Позже в Москве формы протеста будут иные: Чаадаев смело будет ставить на вид московскому полицмейстеру, что «недостойно русской политики раболепствовать Наполеону»⁵¹.

Перед началом занятий в университете в деревню из Москвы присылали расписание университетских лекций, и в середине августа юноши отправлялись учиться.

Оставаясь в одиночестве, девочки скучали. Лиза писала, как бы она хотела, чтобы брат ее был в деревне, но: «Я забыла, что вы проводите время в серьезных занятиях». Наташа, посылая брату забытую им в деревне немецкую книгу по философии, подтрунивала над ним, адресуя письмо «М. г. моему Ив. Дмитр. Щербатову или Синехдохову или графу Пфедфергазену»⁵².

Впрочем, наступает осень, и прежнее радостное восприятие деревни изменяется. В дождливом сентябре 1807 г. Лиза размышляла: «Деревня нам показывает гримасу и будто говорит: “Что вы здесь делаете в то время, когда я лишена всех своих прелестей, когда все деревья желтые и листья почти облетели, когда по утрам заморозки, а из плодов остались только яблоки” – надо вам сказать, что у нас здесь нет ни дынь, ни арбузов»⁵³. И, несмотря на любовь к деревенской жизни, девушкам хотелось вернуться в Москву, где их ждали новые впечатления и переживания.

Светская жизнь. Картины светской жизни Москвы 1810-х годов занимают в переписке сестер Щербатовых значительное место. Следует отметить, что наиболее насыщенные описания московского быта также относятся к ранним годам, т. е. к допожарному времени. Затем в своих письмах девушки все чаще жаловались на скуку, пустоту происходящего вокруг. В дальнейшем сестры чувствовали необходимость делиться с братом не внешними событиями, а семейными новостями или собственными переживаниями.

ми. В первых же письмах 1811 г., которые только что убывший на военную службу И.Д. Щербатов получал из Москвы, происходил весьма живой обмен светскими новостями, отзывами о недавних общих знакомых и пр.

Рисуя допожарную Москву, многие письма словно служат иллюстрациями к строкам комедии Грибоедова (который, напомним, жил в Москве преимущественно до 1812 г. и поэтому, несмотря на позднейший хронологический фон комедии, черпал образы своих героев именно из этого времени). Так, в письмах юной Наталии часто звучали и знакомые нам по комедии иронические «гонения на Москву». Она называет столицу «*Cette babillarde de Moscou*» (эта болтливая Москва) и жалуется на московские балы, где «танцовщики ужасно стали редки»: «Все уезжают в Петербург, молодые люди в особенности. В Москве большая нехватка кавалеров, нет никого, кроме детей и стариков. Бедная Москва!». В том же письме Наташа сообщает, что «Поздняков устраивает прелестные праздники. Через две недели у него будет маскарад, у графа будет тоже. Г. Грибоедов этим летом уезжает в Берлин»⁵⁴. Последнее упоминание относится к известному в Москве своим барским образом жизни родному дяде А.С. Грибоедова Алексею Федоровичу (ему поэт посвятил очерк «Характер моего дяди» и описал черты, столь напоминающие черты Фамусова), а первое – к генерал-майору Позднякову, о котором Чацкий вспоминает при первой же встрече с Софьей и называет «наше солнышко, наш клад, на лбу написано: театр и маскарад»⁵⁵. Насколько тесно связаны эти персонажи с «грибоедовской Москвой», свидетельствует и переписка К.Н. Батюшкова с Н.И. Гнедичем⁵⁶. Так, по упоминаниям сестер Щербатовых, в марте 1811 г. именно у А.Ф. Грибоедова давал концерт пианист Фильд⁵⁷. Известно, что Фильд давал уроки сестре Александра Грибоедова, прекрасно музицировавшей на клавире, и, возможно, самому поэту.

Говоря словами Чацкого, основу распорядка светской жизни Москвы составляли «обеда, ужины и танцы». На этих вечерах блистали и члены щербатовской семьи: по крайней мере, об одном из них – Петре Чаадаеве – говорили, что он «выделявал *entrechat* не хуже всякого танцмейстера», да и сам Грибоедов в одном из редких воспоминаний о его юности изображен именно на уроке танцев⁵⁸.

Пятнадцатилетняя Наталия Щербатова в последнюю перед нашествием французов зиму танцевала до упаду. Этой зимой должен был состояться ее первый выход в свет. Наташа писала брату в те дни: «12 числа сего месяца (декабрь 1811 г. – А. А.) мой первый выход в свет. Я надеюсь там изрядно поскучать и, однако, жду этого момента немного с нетерпением». Первый бал Наташи происходит в присутствии лучшего московского общества, на открытии Дворянского собрания. По рассказу Лизы, «Натали <...> танцевала кадрили и даже экосез в Дворянском собрании. Она сильно выросла и с каждым днем становится все очаровательнее»⁵⁹. Письма и приписки Наташи того времени пестрят восторженными чувствами: она танцует на балах до двух, даже до трех часов ночи! Впрочем, «расплата» не замедлила последовать – после рождественских праздников она слегла и новый 1812 г. встретила в постели. Ее старшая сестра куда более благоразумна: в ответ на упреки брата, что они редко пишут, Лиза отвечает: «Никакие удовольствия Москвы, ни балы, ни спектакли никогда не смогут меня отвлечь от тех, кого я люблю, они лишь могут меня утомить, вот и все»⁶⁰.

Кроме балов, сестры в ту зиму часто посещали театр (в начале 1812 г. взяли ложу на 30 спектаклей) и продолжали занятия: Лиза с удовольствием совершенствовала свой английский, а Наташа играла на клавишине и становилась, по отзыву сестры, превосходным музыкантом.

На балах, обедах и вечерах Щербатовы узнавали светские новости, которые тут же сообщали брату. Их переписку в этом смысле можно сравнить с такой «энциклопедией» светской жизни допожарной Москвы, как, например, письма М.А. Волковой к В.А. Ланской. Выделим из всей массы только одно известие: осенью 1811 г. общим предметом обсуждения была женитьба князя П.А. Вяземского. Ранее история его знакомства с княжной Верой Гагариной во время болезни князя (тот промок во время одной из юношеских проказ и заболел, а княжна за ним ухаживала) не выходила за области семейных легенд⁶¹. Однако в письмах сестер Щербатовых она находит свое подтверждение. Наташа пишет 28 сентября 1811 г.: «Вот другая, поистине печальная, новость – молодой Вяземский, который живет с Карамзиным, очень опасно болен, так что опасаются за его жизнь. Но

самое плохое то, что он имел глупость совершенно отдать себя в ручки княжны Веры Гагариной и что он (невзирая на свой юный возраст) теперь помолвлен с ней»⁶².

Черета пышных обедов и балов иногда прерывалась общедворянскими праздниками, в которых участвовала вся светская Москва. Летом 1811 г. главным из них был торжественно объявленный карусель, т. е. конный рыцарский турнир, организованный силами московского дворянства. Подобные праздники устраивались в России в екатерининское время, когда в рыцарском одеянии блистали братья Орловы. Этот карусель, последний из проводившихся с таким размахом в Москве, казался данью прошедшему веку: среди его организаторов были в основном «екатерининские старики» во главе со Степаном Степановичем Апраксиным. Правда, и дворянская молодежь с удовольствием пробовала себя в роли средневековых воинов. Когда-то сам Апраксин брал первые призы на каруселях XVIII в., поэтому и теперь в светском обществе вспоминали о деталях устройства тех праздников, распространялась даже специальная брошюра об истории каруселей, написанная В.Л. Пушкиным⁶³.

С мая 1811 г. на поле близ Донского монастыря проходили первые репетиции турнира. Наташа пишет брату 17 мая: «Здесь только и разговоры о карусели. Дамы бывают на репетиции в Поддонском, и судят их, и кажется, неплохо. Мы там были вчера в большом обществе. Кузен Дмитриев⁶⁴ – один из рыцарей, и, я вас уверяю, из самых неуклюжих. Там будет четыре кадрили: 1. крестоносцев, 2. в кавалергардских колетах, 3. в костюмах древних руссов, которые почти такие же, как у рыцарей (я предполагаю печальную картину), 4. в венгерских костюмах. Отличился Нелединский, так же, как и младший Бехтеев, который выполнил вчера почти все па»⁶⁵.

Ради того, чтобы посмотреть праздник, Щербатовы решили даже прервать пребывание в деревне: к середине июня сестры обещали брату вернуться в Москву «на самый блестящий спектакль, который когда-либо был». Описывая костюм Дмитриева-Мамонова, Лиза пишет: «Представьте себе, что только его костюм, не считая лошади, обойдется ему в 1000 рублей. А все вместе не может стоить менее 50 000 рублей»⁶⁶.

Но праздник не оправдал их ожиданий. Его начало долго откладывалось, и наконец 4 июля Лиза упоминает о нем в письме, ограничиваясь весьма скупым комментарием: «Видели знаменитый карусель. Признаюсь, что он совершенно не соответствовал идее, которую я о нем составила»⁶⁷. Наташа же вообще отказалась о нем что-либо писать и лишь через месяц сообщила: «Карусель был в конце прошлого месяца... Постройка была довольно красивой, а рыцари сидели на конях ах! ужасно. Кони были плохие, костюмы скверные. Всех в конце концов судили хорошо, ибо все шло плохо»⁶⁸. Отрицательные отзывы о мастерстве участников находим и у других очевидцев. Иронически упоминал турнир Батюшков: «У нас карусель, и всякий день кому нос на сторону, кому зуб вон!»⁶⁹.

В этом мире, как кажется непрекращающихся, праздников и развлечений между тем исподволь формировалось мировоззрение поколения декабристов (ведь, например, среди участников карусели в неуклюжих костюмах крестноносцев был М.А. Дмитриев-Мамонов – будущий основатель вполне реального Ордена русских рыцарей, одной из первых декабристских организаций). Неизбежным, конечно, становилось столкновение дворянской молодежи с поколением отцов, тот самый конфликт между Чацким и Фамусовым, который столь ярко описан в комедии «Горе от ума». Свидетельства такого рода находим и в переписке Щербатовых. Так, вскоре после возвращения И.Д. Щербатова в Россию осенью 1814 г. у него произошел какой-то серьезный конфликт с отцом, едва не завершившийся разрывом. О «мировоззренческих сражениях, которые вел с Д.М. Щербатовым его племянник Петр Чаадаев, сообщает биограф последнего. Е.Д. Щербатова в своей переписке дает характеристику споров брата с отцом, которую почти слово в слово можно отнести к Чацкому и Фамусову: по ее словам, старый князь постоянно сравнивает «le siècle passé et présent» («век нынешний и век минувший» – из письма 6 ноября 1818 г.). «Отец не может забыть, – обращается она к брату 12 сентября 1816 г., – несмотря на все усилия, которые я к этому прилагаю, XVIII век и царствование доброй вдовы (la bonne veuve), против которой ты так всегда ополчаешься, как если бы ты всерьез сердился на нее⁷⁰. Все эти высказывания, имевшие место в действительности, лишь

подтверждают жизненность героев комедии и затронутых в ней проблем.

Выбор службы. Перед молодыми людьми декабристского поколения, вступающими в зрелую жизнь, стояла цель – найти свое призвание в служении Отечеству, а для этого необходимо было определить род будущей государственной службы. Большинство юношей поступали в офицеры, но, как представляется, выбор здесь не всегда оказывался легким. Некоторые подробности такого рода становятся известны из архива Щербатова, в частности относительно братьев Чаадаевых и Якушкина.

Для самого И.Д. Щербатова вопрос о поступлении в лейб-гвардии Семеновский полк, находившийся в Петербурге, был делом почти решенным: к этому обязывали семейные традиции, да и принадлежность князя к одному из титулованных дворянских родов не обещала трудностей при вхождении в элиту российской армии. Семья простилась с Иваном в январе 1811 г., и тут выяснилось, что его товарищ по учебе и частый гость семьи И.Д. Якушкин также желал бы вступить в ряды семеновцев. Реакция на это Щербатовых была неоднозначной: «Якушкин, с которым мы к вам писали, также хочет вступить в Семеновский полк, но ему я боюсь будут много затруднений», – пишет Наташа в начале 1811 г.⁷¹ Действительно, неравенство положений князя и Якушкина было слишком очевидно – последний происходил из захудалой фамилии смоленских дворян и не имел никаких связей в Петербурге. Конечно, со свойственным ему благородством князь тут же предложил помочь Якушкину и даже собирался разделить с ним кров, чем вызвал явное неудовольствие старого князя Щербатова. Лиза в своем письме к брату передает слова отца: «Вот что папа поручил мне сказать по поводу Якушкина. Он думает, что, живя вместе с ним, вы вовлечете себя в ненужные расходы, которые ваша деликатность заставит вас делать. Во избежание неприятностей он решительно не советует вам занимать одну квартиру»⁷².

Может быть, в том, как происходил отъезд Якушкина из Москвы (судя по письмам, он выехал вскоре после 6 марта 1811 г.), надо искать объяснение последующих событий: Якушкин «потерялся в дороге». Почти три месяца сестры Щербатовы не имели о нем никаких вестей (что им

было тем досаднее, поскольку они передали с ним в Петербург к брату свои письма). Вероятно, Якушкин где-то на полпути решил изменить маршрут и, как естественно предположить, мог направиться в смоленское имение к родителям. Там он надеялся не только получить их благословение на военную службу, но и достать средств для столичной жизни. По крайней мере, когда в июне 1811 г. он наконец прибыл в Петербург, то смог устроиться в полк, не чувствуя своего ущемленного положения по отношению к другим офицерам, а через некоторое время число его друзей в полку увеличилось, поскольку туда же прибыли и братья Чаадаевы.

Михаил и Петр Чаадаевы должны были последовать в Петербург вскоре за И.Д. Щербатовым. Однако их отъезд в итоге был отложен на год, и немалую роль в этом сыграла неопределенность с продолжением их карьеры.

Исходной причиной задержки называлось желание видеть все тот же «славно-комический карусель»⁷³. В мае, когда вся семья была в Москве, Чаадаевы и сестры Щербатовы часто виделись: в одном из писем Лиза сообщала: «Я пишу в кабинете у Пьера», а в одном из писем Наташи сделал приписку и сам П.Я. Чаадаев. Он пенял кузену, что тот редко пишет: «Любезный мой капрал и брат – вам кланяюсь. Когда вас увижу, что будет скоро, так вам скажу, зачем вы к нам не писали. Ваш брат Петр»⁷⁴.

Праздник отшумел, а отъезд Чаадаевых все еще оставался столь же неопределенным. Настоящим объяснением здесь могут служить только колебания П.Я. Чаадаева, который никак не мог решиться, вступать ли ему в гражданскую службу или в военную. С одной стороны, он к тому времени – уже знаток наук (особенно философии), блестящий студент Московского университета, библиофил и пр., был, возможно, предубежден против военной службы (от нее Чаадаева, в частности, отговаривал И.Т. Буле). Но с другой – общение с некоторыми из товарищей по университету (и, что характерно, также будущих декабристов) склоняло его к обратному.

Среди друзей П.Я. Чаадаева выделялся 15-летний Михаил Николаевич Муравьев (будущий граф Виленский, один из основателей Союза спасения). Прекрасно разбираясь в математике, он был убежден в необходимости глубо-

кого изучения точных наук для карьеры офицера и с помощью отца основал Общество математиков, занятия которого, проходившие на дому у Муравьева, впоследствии превратились в знаменитую московскую школу колонновожатых, которую окончили несколько десятков декабристов⁷⁵. К занятиям в обществе Муравьев привлек и П. Чаадаева. Вот как об этом сообщает Е.Д. Щербатова 19 сентября 1811 г.: «Отъезд Чаадаевых отложен до будущей зимы. Пьер совершенно переменял мнение, он теперь предпочитает военную службу всем остальным. Г. Муравьев, оказавший большое влияние на его образ мыслей, объяснил ему, что математика – наука, совершенно необходимая в карьере, которую тот решил избрать. Пьер, убежденный в этой истине, рассуждает о превосходстве математики с таким же красноречием, с каким некогда говорил о ее бесполезности и сухости. Г. Муравьев сам начал давать ему уроки, и он полагает в течение трех месяцев окончить полный курс математики, фортификации, артиллерии, тактики, выучить часть механики и гидравлики и научиться в совершенстве чертить планы»⁷⁶.

Письма Н.Д. Щербатовой также говорят об интенсивных занятиях П. Чаадаева в доме Муравьевых осенью 1811 г., и таким образом его офицерская карьера приобретала определенные очертания: Чаадаев готовил себя к службе колонновожатым при Главном штабе. Об этом же писал сыну и старый князь Щербатов 5 октября 1811 г.: «Ежели ты любопытен знать о Чаадаевых, скажу тебе, что Петр знатным образом занимается математикою с Чумаковым, бароном и Муравьевым, для вступления в колонновожатые на будущий год в Генваре. Михайла молчит и стреляет»⁷⁷.

М. Чаадаев в выборе, сделанном братом, кажется, играл пассивную роль: он в эти месяцы избегал общества, много охотился (Наташа пишет, что он «подстрелил оленя, часть которого прислал нам»). По словам Лизы, Мишель «ничего не говорит, и день ото дня становится все молчаливее. Он ведет себя так своеобразно, так нелепо, что нужно знать его так, как мы его знаем, чтобы не впасть в ошибку относительно состояния его ума»⁷⁸. Некоторую нелюбимость и угрюмость старший Чаадаев, действительно своеобразная личность, сохранял и во время военной службы,

что тем не менее не мешало его близким друзьям испытывать искреннее восхищение лучшими качествами его характера⁷⁹, а желание сохранить верность чести и благородство души определяют его офицерскую судьбу⁸⁰.

Пока же, в конце 1811 г., у П. Чаадаева опять возникли колебания. Кузены пишут, что он «меньше занимается математикой и начал от нее уставать», а следовательно, пошатнулись и его планы поступать в Главный штаб. Наконец 9 января 1812 г. братья Чаадаевы все же отправляются в Петербург⁸¹. Они вернулись к первоначальному решению – в духе семейных традиций поступить в Семеновский полк, где уже служили И.Д. Щербатов и И.Д. Якушкин. Так вместе они и будут служить (и даже жить в одной палатке) в течение нескольких лет, пройдут всю кампанию 1812 г. и заграничные походы, вплоть до самого Парижа.

Итак, проведенный далеко не полный анализ архива князя И.Д. Щербатова доказал его ценность как исторического источника, рассказывающего о людях и атмосфере «грибоедовской Москвы». Большая часть материалов архива отражает формирование личности дворянина в «золотой век» русской дворянской культуры. Архив содержит упоминания о многих замечательных людях России, среди которых прежде всего П.Я. Чаадаев и А.С. Грибоедов. Помимо биографических подробностей в письмах приводятся красочные историко-бытовые описания, относящиеся в первую очередь к праздникам и светской жизни допожарной Москвы. Относительная редкость и ценность такого рода источников ставит вопрос о возможности полной публикации писем семьи Щербатовых с развернутым комментарием, которая внесла бы существенный вклад в изучение общественной жизни и культуры России начала XIX в.

Примечания

¹ Прежде всего, это книга М.О. Гершензона «Грибоедовская Москва» (М., 1914), написанная на материалах архива семьи Римских-Корсаковых, а также ряд статей, посвященных выяснению прототипов героев «Горя от ума», например: *Анциферов Н.* Грибоедовская Москва // А.С. Грибоедов: Сб. ст. М., 1947.

- 2 *Петров П.Н.* История родов русского дворянства. М., 1991. Кн. 1. С. 85. Полная родословная князей Щербатовых хранится в исследуемом архиве: РГВИА. Ф. 801. Оп. 77/18. Д. 24. (Далее: Архив Щербатова.) Ч. 8. Т. 2. Л. 423–462.
- 3 *Жихарев М.И.* Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х гг. XIX века. Люди и идеи: Мемуары современников. М., 1989. С. 53.
- 4 Архив Щербатова. Ч. 7. Т. 1. Л. 72.
- 5 *Жихарев М.И.* Указ. соч. С. 53.
- 6 Это отрицает в своих записках такой важный свидетель, как И.Д. Якушкин.
- 7 *Нечаев В.* Письма И.Д. Якушкина к И.Д. Щербатову // Декабристы и их время. М., 1928. Вып. 1. С. 153.
- 8 Подробнее о следствии см. в нашей статье: *Андреев А.Ю.* «Отсутствующие всегда виновны...» (Князь И.Д. Щербатов и Д.П. Ермолаев на следствии по делу о возмущении Семеновского полка в 1820 г.) // Знание – сила. 1998. № 3. С. 112–120; № 4. С. 129–138.
- 9 РГВИА. Ф. 801. Оп. 77/18. Д. 24. Ч. 1. Л. 359 (от 22 ноября 1821 г.).
- 10 Там же. Л. 366.
- 11 Там же. Л. 424.
- 12 Семеновское дело. Публикация А. Яковлева // Декабристы: Сб. матер. Л., 1926. С. 205. О том, что на самом деле Орлов не читал писем, говорит и неточное определение им романа Якушкина как «взаимной привязанности без сведения родителей», хотя, по-видимому, именно так представил дело Щербатов.
- 13 РГВИА. Ф. 801. Оп. 77/18. Д. 24. Ч. 2. Л. 141, 142, 146.
- 14 О судьбе Д.И. Шаховского см.: Звенья: Исторический альманах. М.; СПб., 1992. Т. 2. С. 174–242.
- 15 14 октября 1808 г. И.Д. Щербатов в качестве студента был записан на физико-математическое отделение (Архив Щербатова. Ч. 8. Т. 2. Л. 315), но официальное его производство в студенты состоялось на торжественном акте Московского университета 3 июля 1809 г. (Московские ведомости. 1809. 7 июля. С. 1247).
- 16 *Андреев А.Ю.* Московский университет в общественной и культурной жизни России начала IX века. М., 2000. С. 237–254.
- 17 Архив Щербатова. Ч. 9. Л. 1–20.

- ¹⁸ Там же. Ч. 10. Л. 85–97.
- ¹⁹ См., например: *Лыкошин В.И.* Из записок // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 34.
- ²⁰ Фигура И.Т. Буле в настоящий момент привлекает интерес отечественных исследователей (см., например: *Андреев А.Ю.* «Геттингенская душа» Московского университета // Вопросы истории естествознания и техники. 2000. № 2. С. 71–113; *Петров Ф.А.* Немецкие профессора в Московском университете. М., 1997. С. 80–88; *Хлопников А.М., Панибратцев А.В.* Философия Фихте в историко-философских трудах И.Т. Буле и И.Б. Шада // Философия Фихте в России. СПб., 2000. С. 47–64.
- ²¹ Архив Щербатова. Ч. 8. Т. 1. Л. 1.
- ²² О философских взглядах Буле см.: *Медведева И.Н.* Творчество Грибоедова // Грибоедов А.С. Сочинения в стихах. Л., 1967. С. 15–20; *Хлопников А.М., Панибратцев А.В.* Указ. соч. С. 58–64.
- ²³ *Лотман Ю.М.* Декабрист в повседневной жизни // Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллин, 1992. С. 321.
- ²⁴ Из воспоминаний товарища Грибоедова по учебе В.В. Шнейдера // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. С. 338.
- ²⁵ Архив Щербатова. Ч. 7. Т. 1. Л. 71.
- ²⁶ Там же. Ч. 9. Л. 88–98.
- ²⁷ *Шаховской Д.И.* Грибоедов и Чаадаев // Литература в школе. 1988. № 4. С. 20. В опубликованном здесь тексте Грибоедова пропущено имя З.А. Буринского.
- ²⁸ Архив Щербатова. Ч. 7. Т. 2. Л. 86. Перевод Д.И. Шаховского с исправлениями по оригинальному тексту: «Крайне огорчен, князь, быть лишенным удовольствия присутствовать на вашем собрании, тому причина мое недомогание. Рассчитываю на Вашу любезность, надеюсь, что Вы доставите мне удовольствие отужинать у нас сегодня вечером. Вы меня очень обяжете, так же, как ваши кузены Чаадаевы, члены собрания, и г. Буринский, который, конечно, доставит мне удовольствие своим присутствием».
- ²⁹ Этим определяется время написания письма: между 1806 г. – временем поступления в университет Щербатова и Грибоедова – и июнем 1808 г. – временем смерти З.А. Буринского (см. ниже).

- 30 *Дубшан Л.С.* Из московских лет Грибоедова // А.С. Грибоедов: Материалы к биографии. Л., 1989. С. 30–33.
- 31 *Жихарев С.П.* Записки современника. Л., 1989. Т. 1. С. 170.
- 32 *Якушкин И.Д.* Записки, статьи и письма. М., 1951. С. 468.
- 33 Архив Щербатова. Ч. 8. Т. 1. Л. 10.
- 34 Хранится в библиотеке Н.К. Пиксанова в ИРЛИ (См.: *Тарасов Б.Н.* Чаадаев. М., 1990. С. 20).
- 35 Архив Щербатова. Ч. 8. Т. 1. Л. 6.
- 36 Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. С. 367.
- 37 *Жихарев С.П.* Указ. соч. Т. 1. С. 170.
- 38 Архив Щербатова. Ч. 4. Л. 4 (пер. с фр.).
- 39 Там же. Ч. 6. Л. 5 (пер. с фр.).
- 40 Там же. Ч. 3. Л. 66.
- 41 *Лотман Ю.М.* Мерзляков как поэт // Избранные статьи: В 3 т. Таллин, 1992. Т. 2. С. 253.
- 42 Вестник Европы. Ч. 46. 1809. № 13.
- 43 Архив Щербатова: письма Е.Д. Щербатовой. Ч. 4. Л. 1–6, 121; Н.Д. Щербатовой. Ч. 6. Л. 1–7 (пер. с фр.).
- 44 Там же. Ч. 6. Л. 15 (пер. с фр.).
- 45 Там же. Ч. 4. Л. 6, 10, 121 (пер. с англ. и фр.).
- 46 Там же. Ч. 6. Л. 7, 70 (пер. с фр.).
- 47 Там же. Ч. 7. Т. 2. Л. 42.
- 48 Там же. Ч. 7. Т. 2. Л. 37. Впервые письмо опубликовано по копии Д.И. Шаховского (*Чаадаев П.Я.* Полное собрание сочинений. Т. 2. М., 1991. С. 6). Факсимильное воспроизведение оригинала этого письма Чаадаева так же, как и вышеупомянутой записки Грибоедова, см. в нашей книге: *Андреев А.Ю.* Московский университет... С. 231, 245.
- 49 Архив Щербатова. Ч. 4. Л. 93 (пер. с фр.).
- 50 Там же. Ч. 3. Л. 1.
- 51 *Жихарев М.И.* Указ. соч. С. 56.
- 52 Архив Щербатова. Ч. 6. Л. 11.
- 53 Там же. Ч. 4. Л. 7 (пер. с фр.).
- 54 Письмо от 22 января 1811 г. // Там же. Ч. 6. Л. 23 (пер. с фр.).
- 55 *Фомичев С.А.* Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»: Комментарий. М., 1983. С. 72.
- 56 *Батюшков К.Н.* Сочинения: В 3 т. СПб., 1886. Т. 3. С. 77.
- 57 Архив Щербатова. Ч. 4. Л. 21; Ч. 6. Л. 30.

- 58 *Жихарев М.И.* Указ. соч. С. 54; Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 338.
- 59 Архив Щербатова. Ч. 4. Л. 27; Ч. 6. Л. 67 (пер. с фр.).
- 60 Там же. Ч. 4. Л. 23 (пер. с фр.).
- 61 В таком статусе она входит в новейшие биографии князя. См.: *Бондаренко В.В.* Князь Вяземский. Жизнеописание. Минск, 2000. С. 14–15.
- 62 Архив Щербатовых. Ч. 6. Л. 60 (пер. с фр.).
- 63 О каруселях Благородному Московскому обоюго пола словию посвящает... Василий Пушкин. М., 1811 (*Пушкин В.Л.* Сочинения. СПб., 1893. С. 130–135).
- 64 Имеется в виду М.А. Дмитриев-Мамонов.
- 65 Там же. Ч. 6. Л. 48 (пер. с фр.).
- 66 Там же. Ч. 4. Л. 31 (пер. с фр.).
- 67 Там же. Л. 36 (пер. с фр.).
- 68 Там же. Ч. 6. Л. 58 (пер. с фр.).
- 69 *Батюшков К.Н.* Указ. соч. Т. 3. С. 123.
- 70 Архив Щербатовых. Ч. 4. Л. 80, 104 (пер. с фр.).
- 71 Там же. Ч. 6. Л. 40.
- 72 Там же. Ч. 4. Л. 47, 49 (пер. с фр.).
- 73 Цитата из письма Н.Д. Щербатовой от 23 мая 1811 г. // Архив Щербатовых. Ч. 6. Л. 51.
- 74 Архив Щербатовых. Ч. 4. Л. 33; Ч. 6. Л. 49.
- 75 Подробнее об обществе математиков см.: *Андреев А.Ю.* Московский университет... С. 246–252.
- 76 Архив Щербатовых. Ч. 4. Л. 12 (пер. с фр.).
- 77 Там же. Ч. 3. Л. 13 (пер. с фр.).
- 78 Там же. Ч. 4. Л. 134 (пер. с фр.).
- 79 См. дневник его товарища по Семеновскому полку: *Чичерин А.В.* Дневник. М., 1966. С. 106–107.
- 80 В архиве Щербатова хранится письмо М.Я. Чаадаева, объясняющее причину его отставки из Семеновского полка в 1819 г. – это произошло из-за несогласия с поступками одного из начальников по отношению к солдатам (Архив Щербатова. Ч. 7. Т. 2. Л. 46–47).
- 81 Там же. Ч. 4. Л. 52 (пер. с фр.).

Франция, 1829 год: два прогноза

Даже самые правдивые мемуаристы не свободны от знания того, что произошло после описываемых ими событий. Особенно ясно это сказывается в тех случаях, когда описываются кануны революций или других кризисов и катастроф; постфактум легко демонстрировать проницательность и уверять: «...невозможно было не видеть, что мы движемся к пропасти»¹. Труднее тем, кто берется за политическое прогнозирование: с течением времени становится очевидно, что многие из них предвидели далеко не все и нередко ошибались в своих ожиданиях. Прогнозами часто занимаются журналисты и политики, но есть люди, для которых составление политических прогнозов – первейший профессиональный долг; это дипломаты; о дипломатических донесениях и пойдет далее речь.

Донесения, анализируемые в нашей статье, относятся ко второй половине 1829 г., когда среди прогнозов относительно развития французской внутренней политики преобладали версии пессимистические: после того как 8 августа 1829 г. король Карл X отправил в отставку умеренное, сравнительно либеральное правительство Мартиньяка и заменил его кабинетом, во главе которого стал (сначала фактически, а с ноября 1829 г. и официально) крайне непопулярный, ассоциирующийся со всеми ретроградными и антифранцузскими тенденциями князь де Полиньяк², ощущение, что дело вот-вот окончится взрывом, возникло у многих участников и свидетелей политического процесса³. Широко известна оценка нового министерства, данная Сен-Марком Жирарденом в газете «Журналь де Деба» через неделю после назначения Полиньяка и его

соратников, 15 августа 1829 г.: «С какой стороны на него ни посмотри, оно вызывает страх и раздражение. С какой стороны ни взгляни, вид оно имеет ужасный и зловещий. Вспомните нашу ненависть тридцатилетней давности, наши страдания и тревоги пятнадцатилетней давности: все, кто прежде вызывал эти чувства, собрались в новом министерстве, чтобы оскорблять и раздражать Францию. Как ни дави на это министерство, как его ни выкручивай, ничего кроме унижений, несчастий и страхов из него не выжмешь». Находились, однако, и такие наблюдатели, которые оценивали ситуацию более спокойно и даже благобно.

Образцами «оптимистического» и «пессимистического» политических прогнозов, сделанных во Франции в 1829 г., могут служить донесения двух российских дипломатов – агента коллегии иностранных дел Федора Андреевича (Готгильфа Теодора) Фабера (1768–1847) и многолетнего (1814–1834) посла России в Париже Карла Осиповича (Шарля-Андре) Поццо ди Борго (1764–1842). Оба – один в специальной записке под названием «Взгляд на состояние общественного мнения во Франции» (*Cour d'œil sur l'état de l'opinion publique en France*), другой в регулярных отчетах, посылаемых в Петербург, – излагают результаты, выражаясь современным языком, мониторинга общественного мнения во Франции 1829 г.

Если для Поццо внутрифранцузская ситуация была всего одним, и притом не самым главным, объектом внимания (гораздо больше его в этот период волновали международные дела, прежде всего отношение Франции и Англии к политике России на Востоке), то записка Фабера посвящена подробному анализу умонастроений французов вся целиком. Поэтому текст Фабера мы публикуем почти полностью (некоторые сокращения сделаны в главе о налогах; опущена глава об отношении французов к иностранцам), из донесений же Поццо выбраны только фрагменты на интересующую нас тему (настроение общества и судьба монархии Бурбонов).

Здесь не место останавливаться на жизненном пути Поццо ди Борго, изученном достаточно подробно⁴; что же касается Фабера, то он известен куда менее и о нем следует сказать несколько слов.

Готгильф Теодор Фабер родился в Риге, учился в Германии, воевал во французской революционной армии, с 1805 г. состоял на русской службе, в 1813 г. в течение нескольких месяцев редактировал петербургскую франкоязычную газету «Беспристрастный консерватор» (*Conser-vateur impartial*), в 1814 г. был определен в «ведомство государственной коллегии иностранных дел», 28 апреля 1816 г. назначен сверх штата в русскую миссию во Франкфурте-на-Майне, а затем служил при некоторых других миссиях в германских государствах (в Майнце, Кобленце); в 1840 г. вышел в отставку в чине действительного статского советника⁵. Фабер – автор книг на французском языке: «Заметки о внутренних областях Франции» (*Notices sur l'intérieur de la France*, 1807; русский перевод 1813 г. под названием «Бич Франции, или Коварная и вероломная система правления нынешнего повелителя французов»), «Замечания о состоянии французской армии в 1792–1807 годах» (*Observations sur l'armée française des derniers temps à partir de 1792 jusqu'en 1807*; 1808, русский перевод 1808 г.) и «Безделки. Прогулки праздного наблюдателя по Санкт-Петербургу» (*Bagatelles. Promenades d'un désœuvré dans la ville de St-Petersbourg*, 1811)⁶. В 1842 г. Фабер выпустил на французском языке том извлечений из переписки Каподистрии (*Le comte I. Capodistria, président de la Grèce, jugé par lui-même, d'après les actes de son administration*).

Уже в книге 1811 г. о Петербурге в полной мере проявилось внимание к бытовым мелочам, заметное и в других сохранившихся текстах Фабера, как написанных для печати, так и для нее не предназначенных. Хотя основным местом службы Фабера были немецкие государства, во второй половине 1820-х годов он часто бывал в Париже⁷ и оставил весьма колоритные его описания. Например, 19–24 июня 1829 г. Фабер адресовал жене своего начальника, графине М.Д. Нессельроде, письмо (а по сути род очерка⁸) об изменениях во внешнем облике Парижа и парижском ежедневном быту, которые произошли в течение одного года. Здесь описаны новшества самого разного масштаба: от новых тротуаров и новых улиц, новых наемных экипажей, способных перевезти из одного конца Парижа в другой до двадцати пассажиров за один раз, и «странству-

ющих библиотек», доставляющих литературу для чтения на дом, до экзотических мелочей: только что изобретенной специальной булавки, позволяющей завязать галстук в одно мгновение, шляпы-присоски (ventouse), владельцу которой не страшен никакой ветер, и, наконец, недавно открытого заведения, где варят бульон, а затем рассылают его всем, кто не может сварить себе бульон сам («Если пристрастие к такому бульону распространится, быть может, под землей пророят каналы, чтобы доставлять его повсюду, и у любителей этого кушания в домах появятся краны, из которых будет течь бульон, как сейчас течет газ. Все возможно»)⁹.

Если письмо к графине Нессельроде посвящено бытовому облику Парижа летом 1829 г., то в публикуемой нами докладной записке, описывая Париж и Францию, Фабер останавливается преимущественно на облике нравственно-политическом. Фабера вообще чрезвычайно интересовала эта сторона жизни; в книге 1808 г., посвященной французской армии, он объясняет все ее успехи тем, что революция основала военную систему на национальном характере народа, «возбудила в нем [солдате] весь его национальный дух, т. е. доставила всем его способностям, умственным, нравственным и физическим, величайшее развитие, к какому только они были способны»¹⁰). Он сам сознавал эту свою склонность и обращал на нее внимание начальства; в прошении на имя императора Александра, отосланном из Майнца 5/17 марта 1825 г., он просил прикомандировать его к русскому посольству в Париже на том же основании, на каком прежде состоял при русской миссии во Франкфурте, мотивируя это следующим образом: «Пребывая в столице Франции, у самого истока волнений политических, я смогу знакомиться с сочинениями, писанными в духе разных партий, тотчас по их появлении в свет и разбирать их направление с такою подробностью, на какое у посольских служащих времени не остается»¹¹.

В сопроводительном письме, сочиненном в Дрездене 9/21 марта 1830 г. и адресованном начальству, по всей вероятности, вице-канцлеру графу К.В. Нессельроде, Фабер представляет записку об общественном мнении во Франции как результат многолетних наблюдений и подчеркива-

ет преимущества своей позиции, которые связывает с особенностями своего рождения и воспитания:

«Поскольку мне довелось в течение сорока с лишним лет бывать во Франции в самые разные эпохи, по возвращении моем в эту страну любопытно мне сделалось познакомиться с духом ее жителей и сравнить его с тем, какой царил там прежде. Пересекая ныне королевство в разных направлениях, я имел случай, ваше сиятельство, повидать людей всех классов и состояний, людей с самыми разными убеждениями и с самым разным капиталом. Путешествовал я как частное лицо, отчего всякий охотно принимал меня за своего и говорил мне все, что приходило ему в голову, так что мне то и дело приходилось выслушивать исповеди, коих я не искал и не ожидал. Благодаря этому получил я возможность проверить, таковы ли французы, какими их видят или хотели бы видеть парижские газеты и салоны, одним словом, в самом ли деле Франция живет теми мыслями, какие ей приписывают»¹².

Парадоксальная сторона записки Фабера заключается в том, что, несмотря на всю (в своем роде весьма замечательную) проницательность ее автора, содержащийся в ней прогноз оказался ошибочен. Причем ошибку эту нельзя объяснить тем, что текст Фабера написан 1 августа 1829 г., т. е. еще при правительстве Мартиньяка, когда имелись хоть какие-то основания полагать, что французский король не пойдет против общественного мнения и не покусится на конституционное устройство страны (в чем Фабер пылко уверяет своего высокопоставленного адресата). Дело в том, что Фабер окончил свой текст и отослал его в Петербург позже, 9/21 марта 1830 г., когда у власти находилось уже министерство Полиньяка и шансов на мирный исход конфликта между властью и обществом оставалось совсем мало. Это понимали многие свидетели и участники политических событий и среди прочих Поццо ди Борго, о чем свидетельствуют его депеши, приводимые ниже. Фабер же в марте 1830 г., посылая свою записку в Петербург, оговаривает, что, несмотря на все события, которые произошли после августа 1829 г., и даже «на те события, которые еще могут произойти во Франции», он не видит никакой необходимости менять что бы то ни было в своем тексте, «ибо если то, что я сказал о французском общественном мнении, бы-

ло правдой в августе, оно должно остаться правдой и сегодня, и в дальнейшем»¹³.

Фабер ошибся, хотя, как мы постараемся показать, сказанное им об умонастроениях французов в 1829 г. в очень большой степени верно и вполне соответствует тому, что известно по другим – мемуарным и эпистолярным – источникам. О причинах же ошибки Фабера речь пойдет ниже.

* * *

Готгильф Теодор Фабер

Взгляд на состояние общественного мнения
во Франции¹⁴

Мнения газет и салонов парижских

Не надобно долгое время находиться во Франции, дабы заметить, что общественное мнение ее – не в газетах. Каждый листок притязает на то, чтобы быть его выразителем, однако представляет не более, чем отдельную его часть, порою вдобавок весьма незначительную. Не стоит искать общественное мнение и в салонах парижских. В течение одного вечера, переместившись из Сен-Жерменского предместья в квартал Шоссе-д'Антен, попадаешь из XV или XVI века в год 1789-й¹⁵. Достаточно пересечь Сену по мосту, чтобы очутиться у антиподов: в одних парижских салонах и газетах царит революция, в других – контрреволюция, а между тем Франция не помышляет ни о той, ни о другой. Все дело в господствующем повсюду духе партий, который все искажает, все уродует, все отравляет.

Внешний облик Франции

Чужестранец, видевший Францию такой, какой сделала ее революция, ныне, в каком бы месте страны он ни оказался, убеждается с первого же взгляда, что времена Республики, Консульства и Империи ушли без возврата: началась новая эпоха. Такого вида, как ныне, Франция не имела с 89 года. Лишь только ступив на французскую землю, немедленно замечает путешественник неоспоримое стремление к порядку; стремление это видит он на первой же таможне и его же встречает на таможне, расположенной на противоположной границе. Чиновники гражданские и военные, заведения всякого рода, все, в чем выражает себя власть, носит на себе отпечаток порядка; все кажется устроенным раз и навсегда; ничто не брошено на полпути, не отложено в сторону как первона-

чальный набросок, ожидающий своего часа; одним словом, очевидно, что в стране есть правительство. Можно подумать, что лилии на этой земле не переставали цвести ни на мгновение¹⁶.

Лица нынешние и лица минувшие

В людях, точно так же, как и в вещах, находишь уверенность, некоторую нравственную твердость, в высшей степени непохожую на то беспокойство, которое отличало французов при всех прошлых режимах. Теперь уже не встретишь во Франции исполинских творений, имеющих целью поразить, заморозить, пленить, удивительных созданий, призванных затмить прошлое и приблизить будущее, и даже поклонники имперского правления вынуждены признать, что бахвальство сие, которое походило на хвастовство выскочки, выставляющего напоказ свою силу, и скорее смущало, нежели успокаивало, исчезло совершенно. Не одни лишь местные жители, но также и чужестранцы чувствуют себя ныне гораздо более покойно, чем во времена нечаянных чудес. Ныне во Франции никто не угрожает, не допрашивает и не обыскивает; насколько подозрительны были французы прежде, настолько доверчивы сделались они сегодня; причем к этой новой уверенности прибавляются все формы старинной французской вежливости¹⁷. Полагаю, невозможно ныне не сказать себе: революция более не царит во Франции; нечистая совесть не мучит нынешнее правительство, оно не торопится жить; Бурбоны чувствуют, что находятся у себя дома. Положение их упрочилось. Одним словом, старинные формы восстановлены повсюду, и это внушает мне величайшую уверенность. Мне показалось, что повсюду жители Франции сознают все выгоды подобного положения дел; очевидно, что оно им по душе: порядок и спокойствие суть то, что более всего потребно человеку в обществе: французы наслаждаются ими¹⁸. Так выглядит население современной Франции, или, во всяком случае, таким оно мне предстало во всех областях ее, где мне довелось побывать, на юге и на севере, на востоке и на западе. Впечатлений моих о внешнем виде французов никто, полагаю, не сможет опровергнуть, но тем дело не ограничивается; за внешностью этой скрываются разнородные убеждения, которые, оказывая влияние и подвергаясь ему, создают в конечном счете то мнение, которое именуют *общим*, или *общественным*. Я разумею под таковым *мнение большинства, порожденное его интересами*. Именно исходя из этого постараюсь я изложить все увиденное и замеченное мною в нынешней Франции.

Живы ли в обществе революционные настроения?

Есть ли в обществе люди с революционными настроениями? Если понимать под таковыми настроениями желание разрушить существующий порядок вещей и учинить революцию, то я обязан заявить, что подобных людей не нашел я нигде. Напротив, увидел я повсюду желание укрепить и улучшить то, что уже достигнуто, и стремление поскорее насладиться плодами, давно ожидаемыми. Неоднократно имел я возможность видеть: революция оставила по себе такие воспоминания, что, основываясь на опытности ли, на предании ли, продолжения ее никто не желает. Революция, показалось мне, излечилась от революции. Признаюсь, что не однажды встречались мне умы беспокойные, люди недовольные. Однако, присмотревшись поближе, убедился я, что недовольство это объясняется причинами не политическими, а сугубо экономическими. Материальные интересы берут верх над идеями политическими. Люди дорожат тем, что приобрели, и боятся потерять приобретенное; те же, кому терять нечего, составляют, к счастью, наименьшую часть общества. Ныне во Франции устроено общество таким образом, что, кажется мне, беспокойному меньшинству, которое ничем не дорожит, нелегко будет его себе подчинить. Владение собственностью, которое в нынешней Франции всякому помогает преуспеть, все собою скрепляет. Конечно, неугомный дух партий породит еще немало волнений, но революция вроде той, что разразилась в 1789 году, есть вещь в этой стране наименее вероятная.

Существует ли в обществе благорасположение к имперским порядкам?

Желают ли французы возвращения тех порядков, какие установил во Франции Наполеон¹⁹? Я убедился, что система конного Робеспьера вызывает ничуть не больше приязни, нежели система Робеспьера 1793 года. Имя Наполеона с каждым днем становится все менее привлекательным, и скоро след, оставленный им в душах, звук, еще и сегодня обольщающий слух иных людей, исчезнут окончательно. Идеи сугубо военные, которые постоянно тревожили население и периодически приводили к его истреблению, не могли сделаться предметом задушевных привязанностей или искренних сожалений в сердцах жителей мирных и предприимчивых. Национальное самолюбие собрало богатую жатву. Разумеется, подвиги солдата-императора еще чаруют воображение иных людей и льстят тщеславию тех, кто воевал вместе с ним, од-

нако рассказы об этих подвигах уже никого не способны вдохновить на противодействие нынешней власти, и те, кто с удовольствием слушает эти рассказы, не желали бы возвращения времен, их породивших²⁰. Власть Наполеона внушала уважение, но не любовь, и, невзирая на все очарование славы, наверняка останется в памяти здравомыслящей части нации эпохой крови и слез, тревог и смуты. Эта часть нации, ныне без сомнения составляющая уже ее большинство, увеличивается с каждым днем, другая же часть, состоящая из людей, коих пьянит память славных дней, уменьшается с той же скоростью. Ныне всякому во Франции ясно, что Наполеон исчез, не оставивши плодов, как тот метеор, что слепит глаза, тревожит умы, а после угасает. С тех пор, как страсти утихли, ясно сделалось, что роль завоевателя не к лицу ни веку сему, ни Франции, Наполеон же, избрав эту роль, пренебрег тем делом, к которому предназначен был эпохой, а именно улучшением жребия человеческого. Мне довелось встречать во Франции даже людей в высшей степени рассудительных, которые, отдавая должное выдающимся талантам Наполеона, отказывают ему, однако же, в звании *великого человека*; они убеждены, что он обманул всех французов, и соглашались именовать его только лишь *гигантом* или *колоссом*, ибо, говорят они, великим бывает лишь тот, кто обладает величием нравственным, тому же, кто, как Наполеон Бонапарт, этого достоинства лишен, не стоит надеяться, что деяния его пребудут в веках.

Партия Наполеона утратила былую силу

Не думаю, что ошибусь, если скажу, что ныне у Наполеона больше поклонников в Германии и Италии; в иных мелких княжествах Германской конфедерации берусь я найти их более, нежели в целой Франции²¹. Это нетрудно объяснить. В большей части Германии, и особенно в некоторых мелких княжествах, Наполеон по-прежнему представляется людям неким фантастическим существом, которое одних вдохновляет на создание спекулятивных систем, а другим внушает химерические надежды. В Германии, этого нельзя не признать, людям потребны прежде всего философические построения и поэтические мечтания, появление же нового мессии предоставляет для того и другого богатую почву²². Впрочем, жителям некоторых областей немецких приходилось так несладко, что в добродушии своем они вообразили, будто чужестранный завоеватель желает сделать их счастливыми; в народе по сей день верят, что Наполеон жив и еще принесет немцам

счастье всеобщее. Итальянцы вспоминают о Наполеоне с сожалением, ибо с ним потеряли они возможность объединить нацию, нынешнее же свое состояние, лишаящее их надежды на объединение, ненавидят они всем сердцем. Иначе обстоит дело во Франции, где всякий так или иначе причастен был к деяниям Наполеоновым в начале, в середине либо в конце его карьеры. Времени с тех пор прошло уже довольно, чтобы судить об императоре можно было без пристрастия и основываясь на фактах; действие же этих фактов каждый ощутил на себе; химерам нет более места в оценке Наполеона; иллюзии развеялись. Во Франции всякий помнит, что рука и воля у императора были железные. Французы любят славу, но не хотели бы вновь ее заработать столь дорогой ценой. Одним словом, остатки сторонников Наполеоновых не составляют ныне партии; они рассеяны по всей Франции и лишены того, что у других партий имеется, – ядра. Что бы ни произошло в стране, трудно вообразить, чтобы в ней сложилась партия Наполеонова.

Роялизм французов и оттенки оного

Но можно ли назвать французов роялистами?.. У роялизма во Франции столько оттенков, что среди тех, кто исповедует роялистские убеждения, многие, почитая роялистами себя, отказывают в этом звании другим. Роялизм салонов парижских не заслуживает рассмотрения, ибо он есть не что иное, как карикатура; салоны суть область замкнутая, мир мнимый; нет в них ничего действительного, исключая желание преуспеть. Дабы получить верное представление о происходящем, следует выехать из столицы. В департаментах северных и западных население привержено роялизму, понимаемому в духе Хартии²³: сношения с жителями других стран сообщают, кажется, тамошним обитателям большую привязанность к установлениям французским и диктуют их честолюбию желание к оным прилепиться. На берегах Атлантики и Средиземного моря, по мнению моему, сделались люди роялистами из корысти, ибо континентальная система Наполеонова нанесла великий ущерб их торговле. В Вандее роялистами становятся из почтения к традиции, которую поддерживают священники и возвратившиеся из чужих краев помещики, а также в память о кровавых жертвах, кои принесены были некогда старой королевской власти²⁴. Однако в этом краю дворяне предъявляют королевскому правительству требования непомерные: нигде не видел я столько недовольства Хартией и ее создателем; тамошние жите-

ли желают восстановления старинной монархии со всеми ее установлениями; до тех пор пока не возродится она во всей полноте, не могут они почитать себя счастливыми; вандейцы суть большие роялисты, нежели сам король. Деревенское население составляют люди порядочные, трудолюбивые, самоотверженные, однако заблуждаться не следует: и они не без притязаний; подобно помещикам, требуют они многого от правительства, однако требования эти проникнуты духом, весьма далеким от духа старинной монархии: веяния времени достигли лошин вандейских; поколение, ныне их населяющее, пройдя сквозь огонь и кровь, вдохнуло вместе с воздухом, коим дышит вся Франция, атомы, в течение последних сорока лет его насыщавшие. Предъявляя свои требования, излагают их вандейцы новым языком, явившимся вместе с новым порядком вещей; жалобы их опираются на новое законодательство, ибо другого они не знают; именно с помощью сего законодательства защищают они, точь-в-точь как жители севера и востока Франции, свою собственность, свою безопасность; они действуют и поступают согласно новым правилам, так же и рассуждают²⁵. Тем же влияниям, что и вандейцы, подвержены бретонцы; бывшие эмигранты питают безграничные иллюзии как насчет собственного положения, так и насчет положения прежних их вассалов. Совершенно чуждые своей родной стране, они прекратят восхвалять прелести старинной монархии не прежде, чем голос их совершенно лишится силы; впрочем, время это не за горами. – На юге Франции духовенство имеет более влияния, нежели дворянство; если на западе дворяне более влиятельны, то здесь отступают они на задний план. Священники почитают себя главной опорой королевской власти и необходимыми орудиями для восстановления той монархии, о какой они мечтают. В этих краях родились религиозные братства, во время революции исчезнувшие, а вместе с эпохой Реставрации вновь явившиеся на свет. Если в западной Франции все движения политические носят рыцарский характер, то на юге имеют они окраску религиозную. В краю трубадуров всякий желает записаться в ряды некоего братства, дабы при случае покрыть обычное свое платье просторной монашеской сутаной, а на лицо надеть маску с узкой прорезью для глаз. Здесь во всякое время дня по улицам и площадям следуют в странных и пестрых нарядах длинные процессии – дело рук бесчисленных конгрегаций, число которых постоянно умножается вдали от людских глаз.

Французы отдают должное Бурбонам

Я убедился, что подавляющее большинство нынешних французов сознательно отдают предпочтение королевской власти. Они безоговорочно принимают сторону Бурбонов, в которых видят наилучший залог безмятежности и спокойствия внутри страны; вот, пожалуй, единственная польза, какую принес Франции имперский режим: пожив при Империи, подобными убеждениями прониклись все французы, причем после падения Наполеона каждый новый день их в этом лишь укреплял. Королевская фамилия сделалась за годы эмиграции чужой для французов, однако впоследствии они имели случай узнать ее характер. Они оценили природную доброту Бурбонов, находящую отклик в сердце любого француза. Они понимают, что Карл X питает наилучшие намерения, и любят в нем открытого и честного рыцаря, настоящего француза как по чувствам, так и по способу их выражения. Дофин неколебимо верен принципам справедливости, и это вселяет в сердца самые радужные надежды; известно, что он с великою охотой принимает все идеи, от коих, как говорят, проистечь могут благие последствия для Франции; он покровительствует этим идеям, поддерживает их, помогает их осуществлению. Терпимый по характеру и из принципа, он никогда не действует под влиянием предпочтений политических или религиозных²⁶. Человечность, доброжелательность, кротость суть отличительные черты королевской фамилии, кои, невзирая на преграды, воздвигаемые придворным этикетом, рано или поздно доставят ей любовь народную.

Природа привязанности французов к Бурбонам

Впрочем, я охотно признаю, что привязанность к Бурбонам, увиденная мною во Франции, мало походит на те узы, какие обычно связывают государя и подданных в странах, которыми правит династия старинная и славная, счастливая и богатая воспоминаниями, в странах, где привязанность к престолу рождается и растет под влиянием неба и почвы, где любовь к монарху сливается в единое целое с любовью к отечеству. Мне доводилось видеть следы этой привязанности, этого инстинктивного чувства в жителях Вандеи и в некоторых районах Бретани, однако для подавляющего большинства французов Бурбоны – династия, родившаяся одновременно с Реставрацией, и, признаюсь, привязанность к ним весьма далека от той врожденной любви, которая связывала французов с королями до Революции; я бы сказал, что

привязанность эта зиждется не столько на чувстве, сколько на разуме; она очень далека от энтузиазма – расположения чувств, столь привычного для французов; тем не менее из всех возгласов, какие им случается испускать, возглас «*Да здравствует король!*» звучит наиболее естественно²⁷, и я убежден, что новая привязанность сможет легко опуститься из голов в сердца и превратиться в прежнюю любовь; осмелюсь даже добавить, что счастливая эта перемена будет зависеть едва ли не всецело от самих Бурбонов.

Хартия и следование ей

Что же для этого надобно сделать?.. Вещь, полагаю, очень простую; назову ее совершенно откровенно, основываясь на наблюдениях, сделанных во время путешествия моего по всей Франции, а равно и в течение многих лет, прожитых в этой стране прежде. Скажу положе руку на сердце, что ответ на сей вопрос заключается в одном-единственном слове, и слово это – *Хартия*. Я убедился, что честное и прямое следование Хартии есть единственный способ упрочить покой внутри Франции и укрепить положение Бурбонов. Не стоит напоминать, что все попытки обойти Хартию, предпринятые до сего дня, имели последствия самые печальные и для Франции, и для королевской фамилии. Те, кои советовали покойному королю вымарать из Хартии пункты, которые почитали они чересчур большими уступками, или же вставить в нее новые пункты, смягчающие нынешнее ее содержание, дурно понимали интересы короля и семейства королевского²⁸. Незрячие эти советчики не могли взять в толк, что, разрушая собственное свое творение, Людовик XVIII разрушил бы веру в королевский характер, в королевские обещания и клятвы. Те, кои полагали, что, прикрываясь Хартией, смогут возродить во Франции монархию старинного образца, доказали глубокое свое незнание и людей, и вещей; недоверие к действиям королевского правительства отвратило от него в последние годы царствования Людовика XVIII сердца французов и произвело волнения, омрачившие эту эпоху. А разве лучше понимали Францию и французов те, кто в царствование Карла X настоял на роспуске предпоследней палаты депутатов?²⁹ Разве понимали Францию и французов те, чьими злокозненными стараниями в клятве короля во время коронации «*законы королевства*» поставлены были впереди Хартии, как если бы в 1825 году существовало королевство вне Хартии и без Хартии!³⁰ При злополучном имперском порядке власти имели привычку в государственных документах играть

смыслами двойными и подразумеваемыми, однако ж Бурбоны совершили бы страшную ошибку, согласись они подражать тем деяниям прежнего правительства, что в наибольшей степени достойны были осуждения и злонамеренностью своею привели его к гибели. Политические мистификации не имеют более власти над французами. Да и что сказала бы Европа о нарушении договора, который почитает она залогом спокойствия Франции?

Карл X и похвальные его старания

Сердце Карла X отыскивало правильную дорогу. Он решился вернуться к Хартии, и сие честное намерение сообщило ему силы для исполнения того дела, на какое недоставало смелости у прежних правительств: он преподнес французам щедрейший из даров, а именно – свободу печати. Затем он пожелал принять все законы, кои необходимы, дабы развить и дополнить правление согласно Хартии. Наконец, преодолевая сопротивление сил весьма могущественных, он дал согласие на удаление из страны общества, угрожавшего спокойствию французов, – Ордена иезуитов. Свершения столь великие пробудили в народе еще большую любовь к королевскому правлению. Никогда еще французы не наслаждались столько свободами гражданскими и политическими, как ныне, когда Карл X принялся черпать силу в Хартии. Общественное мнение с каждым днем все охотнее склоняется в его сторону³¹. Партия, враждебная Хартии, пугала французов революцией; сотню раз предсказывала она – и сотню раз я это слышал – день и час падения трона и всеобщего потрясения. Ничего подобного не случилось, а те перемены, что произошли, доказывали лишь одну-единственную вещь, а именно, сколь велика была дистанция, в последнее время отделявшая Францию от Хартии. Всякий шаг, приближавший к ней, представал деянием едва ли не революционным. И в самом деле производил он чувствительное воздействие, ибо отнимал у меньшинства мнимую его силу, дабы возвратить большинству силу подлинную. Партия неумеренных между тем не дремала. Вечно жаждущая крайностей, чью бы сторону она ни держала, она попыталась в выборной палате распространить демократический принцип Хартии за положенные ею пределы. Когда Карл X с должною твердостью воспротивился этим требованиям и отозвал законы, им предложенные, люди осмотрительные, хотя и сожалели об отсрочке улучшений, сделавшихся необходимыми, рукоплескали, однако же, силе, с какой король вступился за Хартию: сила от века была добродетелью, более

других необходимой французским правительствам; это ясно всякому, и люди справедливые и просвещенные от души осуждали меры, направленные против королевских прерогатив и способные смутить покойную старость государя, чьи седые волосы достойны обхождения уважительного и предупредительного³².

Хартия и французы

Улучшения, которых желает большая часть общества, должны прийти не извне, а от самого королевского правления. Французы хотят, чтобы ими правил король, чтобы ими правил Бурбон, но чтобы Бурбон этот черпал свою силу в Хартии, а Хартия черпала свою силу в нем. Я убедился, что, в отличие от предшествующих конституций-однодневок, Хартия для французов не пустой звук. Они видят в ней плод мудрости, творение, основанное на понимании века и насущных его потребностей. Они благодарны королю-законодателю за то, что он признал эти потребности и вложил в свое творение элемент демократический, сочтя, что без него невозможно править страну в духе времени. Они восхваляют Людовика XVIII за то, что он узаконил интересы, которые родились и развились вследствие революции, и признал права, о которых молчали все предшествующие конституции. Они усматривают в Хартии залог освобождения от всех форм рабства, которым подвергалась Франция в течение сорока лет политической смуты; они с тем большим жаром принимают Хартию, что она гарантирует им преимущества, которые предыдущее правительство, захватническое по природе, уничтожало безо всякой жалости. Одним словом, французы обретают в Хартии награду за прошлое, гарантию настоящего и основания для будущего. Слившись всем своим существом с интересами революции, они дорожат Хартией так же сильно, как дорожат жизнью. Привязанность к интересам национальным есть истинное выражение общественного мнения. Для возвращения старых порядков следовало бы уничтожить новые интересы, следовало бы отменить нынешние времена, больше того, следовало бы стереть с лица земли самих французов, которые суть выражение нынешних времен и продукт всего, что к этим временам привело. Иначе говоря, следовало бы совершить революцию, пожалуй, куда более страшную, нежели первая! Тронуть Хартию значило бы вновь раскрыть ту пропасть, какую пожелал закрыть царственный автор этого акта!.. Верность Хартии полагаю я единственным средством возобладать над неудержимым стремлением умов и сообщить благоде-

тельное направление общему мнению, которое стало во Франции могущественной силой и без которого управлять ею сделалось решительно невозможно. Чем более смело будет король защищать Хартию от покушений, с какой бы стороны, с левой или с правой, они ей ни грозили, тем более прочными узами будет он связывать себя с французами, ибо таким способом убедит он их, что даровал им ее от чистого сердца. Ныне, по всеобщему убеждению, большинство так сильно привержено Хартии, что партия любой политической окраски в стремлении своем к власти добьется успеха, лишь если сумеет убедить всех, что любит Хартию и не станет на нее покушаться. Ныне невозможно отыскать другой способ покорить общественное мнение; всем партиям придется ссылаться на Хартию и клясться в верности ей. Поистине, это выгодно всем, противное же – никому. Отринуть Хартию значило бы возвратиться в год 1789-й.

Ложное мнение

Иные полагают, будто общественным мнением можно управлять, как придворным празднеством; люди эти принимаются воздействовать на власть имущих: одних пугают, других подкупают. Они интригуют, дабы оказать влияние на выборы депутатов и на решения палат; то, что делается и говорится, не выражает более общественного мнения; мнение это искажают, однако же уничтожить его до конца не удастся. По-настоящему выражается оно не в речах, писанных под диктовку, не в законах, вырванных силой, не в газетных статьях, сочиненных подкупленными журналистами. Парламентские сессии, с начала и до конца заполненные пустыми фразами, годы, потраченные на красноречие, не переменяют общественного мнения, коренящегося в глубинах сердец; им по силам самое большее привести нацию в раздражение. Для перемены общественного мнения следовало бы завладеть целым поколением и сообщить ему совершенно иной образ мыслей. Но что станется с жалким большинством, собираемым по круплицам, если миллионы внезапно разорвут цепи и во всеуслышание объявят о своем мнении, до той поры заглушаемом!

Свобода печати

Вот что думаю я о мнении большинства, его источнике и его цели. Периодическая печать притязает на то, чтобы служить выразителем общественного мнения, однако на деле она есть не что иное, как полишинель, который каждое утро выходит на под-

мости, где суетится, смеется и плачет, дабы заработать на хлеб насущный. Король, решившись дать французам свободу печати, взвесил, должно быть, все «за» и «против», и если он предпочел свободу печати ее ограничению, значит, он таким образом выбрал зло, кое счел наименьшим. Он выказал тем самым превосходное знание своего века и своего народа. Французам необходимо каждое утро узнавать все подробности общественных дел; чтение газет сделалось занятием столь же необходимым для их ума, сколь и потребление пищи – для их тела. Свобода печати привела к последствиям, кои нетрудно было предугадать: все партии употребили ее и злоупотребили ею, насколько то было в их силах; их взаимные обвинения, их декламации, ложь и крики возмущают нацию, однако она не желала бы ни на день их лишиться; вдобавок существует некоторый национальный здравый смысл, придерживающийся золотой середины и умеющий отыскать в отвратительном хаосе лжи крупницы истины. Следует признать, что газеты, которые выражают мнение большинства, имеют гораздо больше читателей, чем те, которые этому мнению противостоят. Эти газеты никто не любит, но многие ценят их тенденцию³³. Почти все читают «Конститюсьонель»: есть края, где его можно прочесть только в публичных заведениях и где частные лица не читают никаких других газет³⁴. Это не означает, что читатели безоговорочно верят газете «Конститюсьонель»; я встречал среди ее читателей и подписчиков людей, которые порицают ее преувеличения, жалуются на недостоверное изложение фактов на ее страницах и не любят ее высокомерный дух. Тем не менее все они предпочитают «Конститюсьонель» таким изданиям, как «Газет де Франс» или «Котидьен»³⁵, потому что видят в этой газете защитницу прав и интересов, отвоєванных революцией и освященных законным порядком вещей. Нынче газеты для французов суть одна из первейших потребностей жизни; француз, не читающий газет, не знал бы, жив он или умер. Чтение ежедневных листков для нравственности французов – то же, что дыхание для их физического существа, эти листки – их легкие для жизни в атмосфере политической, которая их окружает. Ни одна партия не согласилась бы без них обойтись; даже те, кто осуждает журналистику, то и дело пользуются ею как орудием и не согласились бы от этого отказаться³⁶. Даже иные министры не гнушаются ежеутренне нисходить в эту арену со статьями, направленными против писак, напавших на них накануне. Человеческое достоинство, условности – все отбрасывается за ненадобностью, все втаптывается в

грязь. Главное – произнести речь, блеснуть умом, отпустить острое словцо, добиться рукоплесканий, а если возможно, вызвать смех; кто не говорит, тот не живет. Сначала поговорим, а уж после позаботимся об истине, чистосердечии, справедливости.

Армия

Любопытствовал я узнать мнение, господствующее в армии. Я видался с генералами, говорил с офицерами и солдатами и не упускал ни единой возможности расширить свои познания на сей счет. Нынешняя армия есть явление самое интересное для того, кто видел ее в различные эпохи революции; дух ее совершенно переменился, и если знаешь, что было прежде, воистину удивительным считаешь то, что стало с нею теперь³⁷. Французский солдат более не рекрут и не волонтер времен Республики; он более и не конскрипт времен Империи. В нем видят человека, взявшего в руки оружие во имя короля Франции, и тем походит он изрядно на французского солдата, каким был тот до 1789 года. Походит он на него совершенною покорностью и верностью долгу своему перед отечеством: таким сумели воспитать нынешнего молодого солдата его командиры. Он не рассуждает более и не выносит резолюции, как в те времена, когда носил красный колпак, не изъясняется грубо и самодовольно, как в те времена, когда служил Бонапартовым орлам: он совершенно покорен, то есть таков, каков и должен быть солдат нынешней европейской армии. Видя сегодня французского солдата на учениях или при встрече с командиром, пусть даже командир этот всего лишь капрал, поражаешься приключившейся с ним перемене. Дистанция между званиями так велика во французской армии, как, пожалуй, ни в одной армии европейской, и касается это столько же офицеров, сколько и солдат; высшие офицеры столуются отдельно от низших³⁸. Кажется, будто от прошлого не осталось никаких воспоминаний и все минувшее забыто навсегда. Решение сего важного вопроса достигнуто было прежде всего увольнением из армии всех, кто сражался под командою Наполеона³⁹. Разобщив частные воспоминания, правительство лишило их силы. Нынешняя армия составлена из людей совсем нового поколения. Кое-где можно еще встретить мужчин с большими усами, которые выпренно повествуют о давних подвигах; рассказы эти льстят национальному самолюбию и вселяют в каждого желание совершить подобное, и потому юноши слушают их с удовольствием, но так, словно речь идет о временах легендарных, о происшествиях многовековой

давности, ибо герои той поры ныне никому не известны и представляются воображению в дымке, подобно призрачным созданиям Оссиана. В стране, где события и люди сменялись с огромной быстротой, герои стареют так же стремительно. Ничто личное не связывает более сегодняшнего юного солдата с ушедшими полководцами; не движут им и мотивы политические: нынешняя армия живет преимущественно интересами военными. Королевское правительство приобрело такую силу, что спокойно взирает на выставленные повсюду для всеобщего обозрения гравюры с изображением подвигов последней войны. Память о них не только ничем не грозит правительству, но оборачивается ему на пользу; я уверен, что если разразится война с чужестранцами, оно вполне сможет положиться на армию. В этом отношении французский солдат уподобился тому, каким он был до революции. Однако кто осмелится утверждать, что таковы же будут его действия в случае кризиса внутреннего? То мнение, какое назвал я мнением всеобщим, царит повсюду; солдаты всосали его с молоком матери, усвоили от отцов, выросли под его влиянием, прониклись им до глубины души и сохранили верность ему в военной службе; дух нынешней армии есть дух не только военный, но и национальный, или, вернее сказать, национальный дух составляет основу военного. Способ же, каким армия пополняется и обновляется, окончательно сообщает ей характер национальный⁴⁰. Никто не возьмется отгадать, как станет действовать армия, если ее убедят, что интересам, представленным ей в качестве интересов нации, грозит опасность⁴¹. Основная часть армии бесспорно разделяет мнение, господствующее в обществе.

Командиры

Если разразится кризис, как поведут себя командиры?.. Внедрив в ряды офицеров таких людей, которые по рождению и взглядам принадлежат к сторонникам Бурбонов, власти уничтожили остатки привязанности к воину-императору, однако тем же самым возбудили они в иных военных ревность и злобу. Война в Испании смешала все воспоминания, как добрые, так и злые, и все французы прониклись единым военным духом, столь для них привычным⁴². Впрочем, низшие офицеры сыграли бы в случае кризиса роль подчиненную, какая и подобает им по чину. Однако чем выше звание, тем больше оттенков политических убеждений. Конечно, прославленные военачальники не станут более ставить на кон состояние и покой, по примеру маршала Нея⁴³... Тем не ме-

нее показалось мне, что те высшие офицеры, которые при Наполеоне ожидали уже скорого производства в генералы, сохраняют в душе живейшие воспоминания о времени, полном надежд. Ныне они майоры, подполковники и полковники, покрытые шрамами и поседелые в боях, орден Святого Людовика сверкает у них на груди рядом с орденом Почетного легиона⁴⁴, но если бы беглец с острова Эльба мог бы убежать и с того света, офицеры эти, полагаю, не раздумывая последовали бы за ним, и триумфальное его шествие по Франции вновь возмутило бы мир. Впрочем, сегодня Наполеон для армии есть лицо сугубо историческое, не в его власти раздавать ордена, звания и богатства, и потому никто не станет за него воевать. Но кто поручится, что эти командиры сохранят верность королю из рода Бурбонов в том случае, если их призвуют на защиту национальных интересов, обещая в награду те богатства и звания, каких не получили они из-за смерти кумира? Раз они повиновались тому, кто именовал себя императором народа, откажутся ли они последовать за теми, кто скажут им: мы сами народ?⁴⁵

Священники и религия

Много говорили и говорят до сих пор о влиянии, которым во Франции вновь стали пользоваться священники, и факт этот представляется неоспоримым. Бурбоны, искони глубоко религиозные, справедливо узрели в религии могущественное средство для восстановления покоя и порядка внутри страны. Священники воспользовались этим их расположением, помышляя, однако же, более о благополучии собственного сословия, нежели об интересах религии: способ, каким они оказали Бурбонам помощь, менее всего отвечает духу Евангелия и нравственным потребностям нынешнего поколения; совершенно пренебрегши и первым, и вторыми, они, вместо того чтобы привлекать людей к религии, их от нее оттолкнули. Французское духовенство испокон веков было в католическом мире самым взыскательным в том, что касается соблюдения обрядов, и самым строгим в том, что касается требований нравственных. Воссоединившись с Бурбонами, оно не только выказало прежний свой характер, но и довело его до крайности. Память о гонениях революционной поры сообщила действиям священнослужителей оттенок мстительности, и все их поведение – отрицать это невозможно – есть движение попятное. К несчастью, после восстановления Бурбонов на французском престоле в стране чувствовался острый недостаток священников, и по

сей причине их принялись вербовать второпях из молодых людей, принадлежавших к низшим сословиям. Неофиты сии, прямо со школьной скамьи отправленные в самые разные углы и уголки королевства, не знали ни человеческого сердца, ни мирской жизни; не способные ни учить, ни убеждать, они могли только со слепую яростью, доходившей порою до настоящего террора, объявлять войну тем, кто не разделял их верований. Вместо того чтобы завести себе друзей, они построили против себя врагов. Они принялись проповедовать христианство в стране христианнейших королей так, как если оно никогда не было там известно и как если бы им предстояло обратить в истинную веру край сугубо языческий. В стране цивилизованной эти невежественные миссионеры употребили средства варварские и, выступив в поход, принялись обходить ее с фанфарами и победными кличами⁴⁶. Кресты, которые они тащили за собой, нимало не напоминали о христианском смирении и призваны были лишь гордо возвещать о триумфе крестителей; кичась и бахвалясь, они водружали эти кресты в самых видных местах, придавая им форму лилий, а в многословных самодовольных надписях объявляли о том, что престол Бурбонам возвращен именно их стараниями⁴⁷. Строгие требования новых апостолов раздражали большинство французов и породили многочисленную оппозицию не только среди мирян, но даже и среди действующих священников, имеющих собственную паству. За исключением женщин, по преимуществу покорившихся влиянию новых реформаторов, апостолы эти нашли весьма малое число адептов. Да и это меньшинство с каждым днем убывает, притязания же духовенства растут. С самого начала Реставрации целью его сделалось подчинение правительства, пожелавшего прибегнуть к его помощи, и очень скоро ему удалось проложить через исповедальню путь к должностям государственным. Нынче, не имея свидетельства об исповеди, невозможно ни поступить в школу либо другое учебное заведение, ни вступить в службу государственную. Наполеон видел в церкви не что иное, как орудие управления; священники эпохи Реставрации увидели в правительстве не что иное, как орудие церкви. Казалось, общество Иисуса вот-вот поглотит и церковь, и государство: иезуиты, призванные на подмогу, распространились повсюду. Присутствие их тревожило умы; удаление их осуществилось не вдруг и, хотя произошло по закону, никого не успокоило⁴⁸.

Религия французов

Должен сказать прямо, ни одна нация не кажется мне менее приспособленной для того, чтобы покоряться священникам, нежели французы; среди множества достойнейших их свойств тщетно, полагаю я, стали бы мы искать предрасположение к религии, ту глубокую чувствительность, что приводит человека к жаркой молитве или покойной созерцательности. Быть может, именно отсутствие этого предрасположения с самого начала внушило французскому духовенству ту суровость, которая отличает его от всех прочих священников христианских. Но вести себя так сегодня – значит глубоко заблуждаться на счет умонастроения французов: все они ощущают потребность в религии, но им надобны священники образованные, доброжелательные, ставящие превыше всего согласие и милосердие, заповеданные Евангелием. Карательная система порождает лицемеров и отступников, и, несмотря на все принуждение, к которому прибегает духовенство для наполнения церквей и исповедален, католическая религия сегодня, в царствование Бурбонов, королей истинно набожных и не жалеющих сил для ее поддержки, процветает менее, нежели во времена магометанской памяти императора Бонапарта⁴⁹. Исключение, пожалуй, составляют некоторые области на юге Франции. В других же областях женщины отправляются в церковь, потому что не смеют пойти в театр. Внешнее почтение к религии и благочестивые речи, которые мы напрасно стали бы искать среди представителей средних классов, обнаруживаются при дворе. Эти повадки и речи образуют нередко разительный контраст с подлинными нравами и вкусами придворных, а порою даже прикрывают неверие. Религия, господствующая при дворе, – не что иное, как следствие духа партий, мода, которая завтра же переменится. Истинная религия, религия сердец и душ, начнет пользоваться во Франции заслуженной любовью и уважением лишь после того, как ограничится спасительным воздействием, к которому она признана своим божественным создателем; что же касается власти священников, то ей французы не подчинятся ни при каких условиях.

Великая жалоба

По здоровом размышлении представляется мне, что власть короля упрочилась чрезвычайно и поддержание покоя в стране пребывает всецело в руках правительства: если король пожелает употребить средства, находящиеся в его распоряжении, Франция может не опасаться ни притязаний церкви, ни умонастроений ар-

мии. Средства же эти заключены в Хартии. Повторяю: стремление к порядку очевидно повсюду, к нему уже привыкли, и если я говорю, что во Франции воцарилось спокойствие, я не просто повторяю фразу из газеты или из речи, произнесенной в палате. Тем не менее я изъяснился бы в высшей степени неточно, если бы стал уверять, будто встретил повсюду во Франции довольство существующим порядком вещей. Напротив, за долг почитаю сказать, что не раз замечал волнение, выливающееся в требования и жалобы, однако природа этого волнения, спешу добавить, нимало не политическая; предметом его являются средства к существованию глубоко материальные: продиктовано оно тревогою, в какой преобладают почти все французские производители. Одна жалоба слетает со всех уст как в городах, так и в деревнях с поразительным постоянством; это жалоба на чрезмерную величину государственных повинностей⁵⁰. Тысячи людей повторяют ее ежедневно, ежедневно, во всякое время, и она вполне обоснованна. [...] ⁵¹

Сильное лекарство от сильного недуга

[...] Я убежден, что изменение хотя бы одного налога, произведенное по велению короля, произведет на общественное мнение воздействие куда большее, нежели два десятка политических уступок, требуемых теми, кои называют себя либералами. Прежде всего французский народ желает послаблений в домашнем своем существовании, желает наслаждаться плодами трудов своих. Послабления эти примет он с благодарностию, от которой без труда перейдет к энтузиазму, лишь только узрит, как отеческое намерение Генриха IV доставить каждому французу курицу на обед осуществляется при его потомке⁵². [...] Уменьшение податей должно происходить постепенно, однако не следует ограничивать его мелкими сокращениями, иначе говоря, не следует ставить своей целью такую, выражаясь языком финансистов, «экономию», при которой налоговое бремя, тяготеющее над отдельными личностями, уменьшится на несколько тысяч франков, основная же масса налогоплательщиков никакого облегчения не почувствует; необходима решительная и всеобщая реформа взимания податей, а именно исправление всех возмутительных пороков, ныне этой системе присущих, и куда более жесткий надзор за использованием государственных средств. Недостаточно уменьшить подати на несколько миллионов, миллионы эти тотчас растворятся без следа, словно капли в океане; необходимо – и об этом надо сказать прямо – вычеркнуть из гигантского бюджета сотни и сотни миллио-

нов, и лишь тогда французы почувствуют подлинное облегчение. [...] Облегчив всем французам уплату податей, ныне разросшихся до размеров чрезвычайных, король докажет, что Хартия начертана в его сердце. Тогда ежедневная доука, единственная, которая тревожит сегодня большинство французов, а именно тревога касательно финансов, исчезнет; спокойствие общества будет обеспечено, а трон Бурбонов укрепится надолго, ибо большинство убедится, что Бурбоны действуют в согласии с его мнением, мнение же это определяется прежде всего интересами материальными.

Франция в сравнении с самой собою

Теперь, описавши мнение всеобщее, как оно мне неоспоримо представляется, и указавши способы, какими, по убеждению моему, следует им управлять, остается мне только вывести из сказанного необходимые следствия. Не стоит думать, будто я полагаю общественное мнение, существующее сегодня во Франции, вещь завидной. Я далек от мысли, будто нравственное состояние французов после революции предпочтительнее того, кое отличало их прежде этой великой катастрофы, и остерегусь выдавать его какой-либо стране за образец для подражания. Разумеется, мира и внутреннего спокойствия с тех пор во Франции не прибавилось, и ни одна держава не захотела бы взять с нее пример при условии, что заплатить пришлось бы ей такую же цену. Та периодическая горячка, которая возобновляется поочередно в коммунах, департаментах и столице во время выборов и сессий палаты, а равно и в интервалах между ними, вне всякого сомнения представляет собою болезнь, исход которой вечно неясен. Однако болезнь эта носит конституционный характер, и ее предпочитают нынешние французы покою, проистекающему из иного порядка вещей; я сказал бы даже, что они ее любят. Беспокойство умов, происходящее от смут религиозных, находит разрешение в неведомом мире, куда живым путь заказан; беспокойство же, являющееся следствием смут политических, не утихает никогда: гонясь за целями земными, человек чем более приобретает, тем более желает приобрести, ибо один интерес вытекает из другого, так что землю, родящую изобильно, человек терзает и мучит, требуя от нее все больше и больше⁵³. Источник этого беспокойства во Франции никогда не иссякает, и невозможно предсказать, к чему приведет оно однажды, если правительство не сумеет укротить его железною рукой. Партии суетятся, страсти накаляются, побуждения более или менее низкие становятся всеобщим достояни-

ем. Люди скромные и покойные отходят от общественных дел. Интрига распространяется повсюду; горе всякому, кто платит 300 франков налогов⁵⁴; она потревожит и их⁵⁵.

Замечание

При переписывании выпустил я статью, которую не стал бы здесь приводить, не содержи она некоторых весьма достоверных наблюдений. Место ей сразу следом за статью «Франция в сравнении с самой собою».

Общественный дух

Поскольку всеобщее мнение таково, каким я его изобразил, ни один смертный, как бы ни был могуществен, не в силах переменить существующий порядок вещей. Речь не идет более о том, чтобы сделать его сносным: теперь следует направить его ко благу. Для этого потребен *общественный дух*, который один способен предохранить мнения публики от крайностей, им угрожающих. Сей дух умеренности, состоящий в жертвовании личными интересами ради интереса всеобщего, во Франции отнюдь еще не распространился, больше того, как ни тяжко мне в том признаваться, скажу: он еще почти не существует⁵⁶; доказательство тому – в отношении людей к обязанностям, кои закон предписывает им исполнять бесплатно. Обязанности это почитают за честь, но опасаются трудов, с ними сопряженных: великое множество людей отклоняют приглашение стать присяжными, войти в муниципальный совет или подать свой голос на выборах! Сколько видел я присяжных, горюющих, что приходится им заседать в суде, вместо того чтобы находиться в мастерских, лавках или магазинах. Видел и депутатов, горюющих, что отлучены они от поместий, фабрик и контор, и остающихся в собрании законодательном лишь по причине мелкого тщеславия либо страха перед доверителями. *Общественный дух*, зиждущийся на принципах справедливости и истины, один только может предохранить государство от тех пагубных кризисов, которые приключаются, если всеобщее мнение пребывает во власти низких страстей. Ради собственной своей выгоды правительство должно сообщить всеобщему мнению характер честный и великодушный, а также способствовать всеми доступными средствами созданию и развитию общественного духа, который есть не что иное, как благородное самоотвержение, забвение личных интересов ради блага всеобщего. Добьется же оно этого, приведя в действие два могущественных рычага,

без которых положение его будет непрочно, как то: религию и образование. Оба в руках короля. Король честный и просвещенный ими воспользуется: в этом спасение Франции.

* * *

Выше уже было сказано, что приведенный текст датирован 1 августа 1829 г., однако отправил его Фабер своему дипломатическому начальству лишь 9/21 марта 1830 г. В другом случае такая разница была бы несущественна, однако во Франции за восемь месяцев, разделяющих две даты, изменилось очень многое: в марте 1830 г. странюю правил уже другой кабинет министров; более того, именно в марте произошел парламентский кризис, и ровно за два дня до того, как Фабер отправил письмо к вице-канцлеру, король в ответ на адрес палаты с требованием изменить состав кабинета отсрочил парламентскую сессию до сентября (два месяца спустя это решение было заменено более резким – роспуском палаты и назначением новых выборов; выборы эти оказались для кабинета столь же неудачными, и все закончилось в июле 1830 г. публикацией королевских ордонансов и последовавшей за ними революцией). Фабер между тем счел, что ситуация осталась прежней, и оставил без изменений свою записку. Можно, конечно, объяснить это инстинктом рачительного хозяина, не желающего, чтобы уже написанный текст пропал даром, однако думается, что такой тонкий наблюдатель общественного мнения, каким выказывает себя Фабер в публикуемом документе, не стал бы компрометировать свою служебную репутацию заведомо ошибочным прогнозом.

По всей вероятности, объяснение конечной неправомерности прогноза Фабера – в том, что он, как и обещал, исходил из анализа мнений, господствовавших в обществе. Меж тем судьба страны решалась не обществом (чьи устремления Фабер охарактеризовал совершенно верно), а королем и кабинетом министров, отличительной чертой которых и мемуаристы, и историки называют абсолютную слепоту и непонимание общественных устремлений и предпочтений.

Это становится особенно ясно при сопоставлении записки Фабера с донесениями другого, более высокопоставленного, дипломата (впрочем, ровесника Фабера) – рус-

ского посла в Париже Поццо ди Борго. Если Фабер видит, описывает и анализирует преимущественно мнения, господствующие во французском обществе, то Поццо, обладающий информацией не только об обществе в целом, но и о реакциях и намерениях политических верхов – короля и главы кабинета, соотносит свои оценки и предсказания с этими сведениями. Картина получается отчасти близкая к фаберовской, отчасти же – совершенно иная.

Во-первых, еще в пору пребывания у власти кабинета Мартиньяка (когда, собственно, и сочинял свою записку Фабер) Поццо ясно осознает непрочность положения этих министров, на которых как раз и возлагала надежды часть общества, приверженная Хартии (именно се умонастроения Фабер анализирует особенно подробно и справедливо называет господствующими); Поццо даже называет этот кабинет «временным правительством»⁵⁷. 21 апреля/3 мая 1829 г., пересказывая в личном письме к графу Нессельроде слухи о передаче портфеля министра иностранных дел герцогу де Лавалю, Поццо замечает: «Это сделка между прочими претендентами, и такое мнение наносит неизмеримый вред власти, поскольку дает повод для новых догадок, и все готовятся к новым комбинациям. Попробуйте после этого что-либо строить на этих зыбучих песках! Здесь что ни год, то новые министры, и постоянно все начинается сначала; я ожидаю следующего правительства с интересом; сказал бы: с любопытством, если бы положение не было столь серьезным»⁵⁸. Во-вторых, Поццо принимает в расчет личную привязанность короля к князю де Полиньяку, которая внушает всему обществу самые мрачные предчувствия относительно судьбы конституционной монархии во Франции. Русский посол постоянно размышляет о вероятности назначения Полиньяка главою кабинета и о вредности такого решения, если оно все-таки будет принято:

«Король хранит молчание относительно перемен в министерстве; правда заключается в том, что ни на каком плане он до сих пор не остановился. <...> Министры утверждают, что подадут в отставку все до единого, лишь бы не находиться в одном министерстве с князем де Полиньяком. Намерение это, которое, полагаю, останется неизменным, сделает невозможным назначение сего последнего, ибо он не сможет своими силами составить кабинет. Ненависть

публики к князю де Полиньяку доходит до крайности и высказывается как никогда откровенно. Пренебречь ею во время перерыва в работе палат значило бы вызвать чудовищное противодействие в обществе, и я не в силах вообразить, что король решится на меру столь пагубную»⁵⁹.

Некоторое время Поццо сохраняет надежду на то, что король не выберет худший путь: «Позавчера король беседовал с князем де Полиньяком наедине, а вчера в Сен-Клу заседал совет министров. Вечером многие из министров уверили меня, что о переменах в составе кабинета речи не идет. Кажется, мнение общества торжествует над частным влиянием господина де Полиньяка и шансы сего последнего сделаться главою министерства уменьшаются на глазах»⁶⁰. Однако в начале августа (т. е. как раз в те самые дни, когда сочинял свою оптимистическую записку Фабр) ситуация в верхах снова меняется, причем к худшему; опять возобновляются разговоры об отставке старого кабинета и назначении нового, причем в переговорах с королем «деятельную роль играет князь де Полиньяк»⁶¹. Больше того, «в обществе постоянно ходят списки кандидатов на министерские посты, выдвигаемых конфиденстами князя либо догадками публики, что ставит нынешний кабинет в ложное положение и ослабляет власть, которою он располагает»⁶². С одной стороны, «никто не может утверждать, что князь де Полиньяк не переменит полностью или частично состав кабинета и не предложит самого себя в качестве человека, призванного оказывать наибольшее влияние на судьбы Франции, – ведь король имеет право опубликовать все это в «Монитёре»⁶³, с другой же стороны, убежден Поццо, «нет такой силы, которая смогла бы подчинить французов подобному фавориту и той системе внутренней и внешней политики, которую публика ему приписывает уже теперь». Иначе говоря, общество отторгает Полиньяка и стоящую за ним политику, но король может все это обществу навязать, и подобное несовпадение привязанностей чревато опасностями, которые «невозможно преувеличить». «Те, кто не способен предвидеть эти опасности сегодня, потому что они еще не сделались неотвратимыми и надобно подождать четыре месяца, чтобы увидеть их последствия, замечает Поццо, позже первыми придут от них в отчаяние»⁶⁴.

На отношение Поццо к Полиньяку оказывали существенное влияние обстоятельства внешней политики (Полиньяк, до назначения министром занимавший должность французского посла в Лондоне, поддерживал в обсуждении внешнеполитических проблем, и в частности Восточного вопроса, Англию против России, что, разумеется, вызывало раздражение Поццо, разделявшего распространенное во Франции отношение к Полиньяку как к агенту английского премьер-министра герцога Веллингтона⁶⁵). Однако не только из-за этих внешнеполитических причин Поццо с ужасом воспринимает известие о назначении бывшего посла в Лондоне министром (новый кабинет был сформирован 8 августа 1829 г.). Поццо не менее Фабера внимателен к реакциям общественного мнения и ясно видит «неизъяснимое чувство презрения и негодования, охватившее всех французов» после создания «антинационального министерства»⁶⁶, видит нежелательные политические последствия этого решения (объединение умеренных, не желающих иметь ничего общего с Полиньяком, с левыми), видит бесполезность и даже вредоносность нового кабинета для короля: «Вследствие своего рода государственного переворота, который короля заставили совершить и к которому он весьма охотно склонился, он получил лишь приятную возможность распоряжаться более свободно своими министрами, но сделался гораздо более слаб по отношению ко всему народу»⁶⁷. Более того, Поццо видит, как фатально изменилось сразу же после назначения Полиньяка состояние общественного мнения, и усматривает в антиминистерской активности прессы не причину этой перемены, но лишь фактор, ее ускоряющий: все многочисленные парижские газеты, за исключением двух, «Котидьен» и «Газет де Франс», пишет Поццо, «разбирают и унижают правительство оптом и в розницу так сноровисто, что ставят под угрозу если не жизнь, то покой и достоинство самого короля», причем «когда писатели и литераторы, коими Франция изобилует, пытаются возбудить чувства, публикую не разделяемые, или желают выдать факты, противные истине, за известия достоверные, они всего лишь доставляют властям неудобства, но в тех случаях, когда писания их согласны с настроением большей части общества и ловко указывают стране на обстоятельства, и без того внушающие опасения, воздей-

ствие их на умы вырастает до размеров исполинских»⁶⁸. Главное же, Поццо способен предвидеть наихудшие действия короля и министров и их последствия: «Стремление править Францией с помощью ордонансов есть шаг безумный. Король и вся династия перейдут таким образом от конвульсий к гибели»⁶⁹. Именно так и случилось ровно через год, и Поццо, прекрасно осведомленный о взаимоотношениях короля и Полиньяка, Полиньяка и палат, это предвидел.

Поскольку политическое прогнозирование входило в обязанности посла, Поццо старается исполнить свой долг и набрасывает разные варианты развития событий; он утверждает (совпадая в этом с Фабером), что «желание избежать революционных потрясений разделяется всеми классами общества» и что, несмотря на тревоги насчет состояния общественных свобод, люди повсеместно испытывают «уверенность в том, что можно избежать опасностей с помощью законных мер». Однако такое мирное развитие событий возможно при соблюдении одного-единственного условия – верности короля Хартии. «Всякий здравомыслящий человек во Франции понимает, что если, к несчастью, король позволит себе нарушить основной закон и пожелает своею собственной властью изменить формы привычные, освященные законами или Хартией, ответом ему станет упорное сопротивление. Если сопротивление это будет вооруженным, начнется гражданская война, которую король долго вести не сможет; если же оно будет заключаться в простом неповиновении, судьи оправдают бунтовщиков всех до единого, ибо те приведут в свое оправдание законы ясные и общие для всех. В этом случае власти, натолкнувшись на многочисленные случаи такого рода, будут вынуждены капитулировать и, если даже их не свергнут окончательно, все же потерпят серьезную неудачу»; впрочем, подобные «крайние» варианты Поццо считает все-таки маловероятными и объясняет свой оптимизм тем, что государственные ценные бумаги продолжают расти в цене, а значит, «никто не смеет поверить» в возможность королевского самоуправства⁷⁰. Однако конечный исход будет зависеть не от общества, чье настроение более или менее ясно, а от того, какое решение примет король, и это обстоятельство Поццо неоднократно подчеркивает⁷¹.

В сущности, и Фабер, и Поццо смотрели на внутриполитическую ситуацию во Франции в 1829 г. одинаково: оба осознавали приверженность французов Хартии, оба настаивали на том, что лишь при соблюдении Хартии Франция имеет шанс существовать в мире и согласии. Однако Поццо взвешивает реальные шансы на осуществление разных (наилучших и наихудших) вариантов, Фабер же рисует картину не столько реальную, сколько желательную. Не будучи принципиальным противником конституционного режима, он, однако, в других своих записках, посвященных положению в Южной Германии⁷² или на левом берегу Рейна⁷³, резко критикует парламентское устройство немецких государств, созданное «как будто специально для того, чтобы опорочить демократический принцип»⁷⁴, и противопоставляет запустению, в котором находятся государства Южной Германии, благоденствие, которым наслаждаются подданные мудрого короля Пруссии. Во Франции эпохи Реставрации Фабер, напротив, видит опыт удачного сочетания конституционного режима (Хартия) и монархического принципа и, превознося свой идеал, старается не придавать внимания всем тем настораживающим фактам и факторам, которые в конце концов (и спустя очень недолгое время после создания его записки) привели Бурбонов к падению. Эта подчиненность всего изложения заранее выработанной концепции вкупе с неточной оценкой характера и реальных устремлений короля (настоящий Карл X был весьма далек от того безупречного стража Хартии, каким он предстает под пером Фабера) и обусловили двойственный характер той записки, которую Фабер посвятил Франции в 1829 г.: как описание умонастроений она ценна и полезна; предсказателем же Фабер оказался не слишком удачливым. Сбылись прогнозы прагматика Поццо, наблюдателя чуть менее предвзятого, чуть менее оптимистичного и гораздо более осведомленного не только о настроении общества, но и о намерениях властей, которые этим настроением пренебрегли⁷⁵. Следует добавить, что в самый канун июльского переворота донесения Поццо стали более спокойными и оптимистическими, так что Николай I даже несколько раз говорил французскому поверенному в делах барону де Бургуэну, заменявшему в это время посла Мортемара: «По-

лучил нынче из Парижа хорошие новости; надеюсь, что опрометчивых поступков во Франции не совершат»⁷⁶. Однако дело было не в том, что Поццо внезапно утратил способность понимать скрытые механизмы французской внутренней политики, а в намеренной скрытности короля Карла X и его приближенных. По словам посланника Луи-Филиппа генерала Аталена, накануне принятия июльских ордонансов король намеренно вводил русского посла в заблуждение, скрывая от него готовящиеся меры (в них вообще не был посвящен никто, кроме членов кабинета министров). «Невозможно, – пишет Атален в своих «Заметках», датируемых сентябрем 1830 г., – чтобы Его Величество [Николай I] не признал, что все поведение Карла X, приведшего страну к катастрофе, было исполнено небывалого вероломства; ведь и сам император, по-видимому, пал жертвой двуличности, каковую выказывал король в обращении с русским послом в Париже. Тщание, с которым король Карл X уверял его за несколько дней до публикации ордонансов, что он далек от мысли предпринять что-либо противное законности, доказывает, что он превосходно сознавал всю серьезность своих намерений, что план его был замыслен и отточен уже давно, но что не мог он ни в коей мере рассчитывать на поддержку России, кою подобное покушение на законность не замедлило бы возмутить»⁷⁷.

Министры вели приготовления к государственному перевороту в обстановке столь строгой секретности, что сумели усыпить бдительность даже таких убежденных своих противников, как журналисты оппозиционных газет. Как минимум полгода эти журналисты из номера в номер уверяли своих читателей, что кабинет Полиньяка вот-вот произведет государственный переворот, но, по иронии судьбы, именно в конце июля тон газетчиков внезапно стал более спокойным; они поверили, что министры в самом деле позволят новой палате депутатов собраться на первое заседание, намеченное на 3 августа. Либеральный «Курье», в частности, писал: «Государственные перевороты по-прежнему в цене; о них по-прежнему говорят, хотя и меньше, чем вчера. [...] Пресловутый переворот сделался предметом беседы, подобно погоде; при встрече люди осведомляются, *на когда назначен переворот*, как три месяца назад осведомлялись, на когда назначен роспуск палаты. С другой стороны,

говорят, что вчерашнее заседание королевского совета было посвящено исключительно вопросу о том, будет король произносить речь на открытии сессии или нет; план сессии уже разработан... [...] Кажется совершенно очевидным, что намерение осуществить государственный переворот отложено. Пока дело идет только об угрозах, все представляется легко осуществимым, но когда доходит до того, чтобы привести их в исполнение, обнаруживаются некоторые трудности. Именно эти трудности и на сей раз остановили сторонников насилия. Министры вернулись к обычным своим занятиям. Сессия откроется 3 августа». Ему вторил «Насьональ»: «Министерство только что приняло чрезвычайно важное решение. Оно собирается начать дискуссию с палатами, а государственный переворот отложить до того времени, когда ему станут известны настроения парламентариев»⁷⁸. Все это писалось в те дни, когда переворот был уже предрешен. Иными словами, Поццо был далеко не единственным, кого власти ввели в заблуждение.

Именно власти виноваты в том, что не сбылся прогноз Фабера. Он мог бы сбыться, если Карл X хоть в какой-то мере оправдал ожидания французов. Между тем и он, и его министры неверно оценивали перспективы конституционного режима во Франции и считали, что ради сохранения монархии следует ужесточить установившийся в стране сравнительно либеральный порядок. Главный идеолог европейского консерватизма австрийский канцлер Меттерних в 1827 г. писал австрийскому послу в Париже графу Аппоньи о тогдашней палате депутатов, большинство которой находилось в оппозиции к правому правительству Виллеля: «Я убежден, что сохранение палаты депутатов в ее нынешнем виде приведет к падению монархии. К несчастью, тех, кому дорогу к спасению не подсказывает врожденное чутье, ничему не учит и опыт прошлых лет»⁷⁹ и ссылался на ошибки Людовика XVI, который вел себя чересчур снисходительно и тем погубил себя и королевскую власть. Однако в конце 1820-х годов «опыт прошлых лет» должен был подсказывать правителям нечто иное. Полиньяк же и Карл X, в полном соответствии с рецептами Меттерниха, сделали ставку на насильственные меры. Они привели монархию к падению не тем, что сохранили палату депутатов, а тем, что ее разогнали. Их прогнозы и расчеты оказались ошибочными.

Примечания

- ¹ Слова из «Мемуаров» Талейрана, относящиеся к кануну Июльской революции 1830 г., но написанные уже после революции (*Talleyrand Ch.-M. de. Mémoires. P., 1891. Т. 3. P. 326*). Сходным образом – как эпоху «разительного контраста между внешним и внутренним, между видимостью и истинной сущностью происходящего», эпоху, когда люди «не делают ничего, но готовятся ко всему, видят покой и предвидят бурю», – описывает в своих мемуарах первую половину 1830 г. Гизо (*Guizot F. Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps. P., 1858. Т. 1. P. 345*); разумеется, и эта характеристика дана спустя много лет после того, как «буря» из предчувствуемой превратилась во вполне реальную.
- ² Как замечает современный исследователь, сместив Мартиньяка и призвав Полиньяка, Карл X «парадоксальным образом представил обществу такой кабинет, который в наибольшей степени был способен его встревожить и раздражить и в то же самое время в наименьшей степени был способен разрешить реальные проблемы, стоявшие перед Францией» (*Pinkney D.H. La Révolution de 1830 en France. P., 1988. P. 17*).
- ³ Подобные прогнозы делали даже сами министры из кабинета Мартиньяка: в конце 1828 г., еще находясь у власти, они в особой записке предупредили короля о страшных последствиях (низвержение короля и всей династии), к которым может привести «временное приостановление действия Хартии», если король на него решится, а именно к такому решению в конце концов и склонил короля кабинет Полиньяка (см.: *Pasquier E.-D. Mémoires. P., 1895. Т. 6. P. 144–145*).
- ⁴ См.: *Соловьев С.М. Поццо ди Борго и Франция // Соловьев С.М. Соч.: В 23 т. М., 2000. Т. 23. С. 122–155; Maggiolo A. Corse, France et Russie. Pozzo di Borgo, 1764–1842. P., 1890; Ordioni P. Pozzo di Borgo, diplomate de l'Europe française. P., 1935*.
- ⁵ См.: *Русский биографический словарь. Фабер–Цявловский. СПб., 1901. С. 1–2; Пытин А.Н. Общественное движение в России при Александре I. СПб., 2001. С. 300; Архив внешней политики российской империи [далее АВПРИ]. Фонд ДЛСХД. Оп. 337/2. № 112. Некролог Фабера, напи-*

- санный его «давнишним знакомым и приятелем» Н.И. Гречем, см.: Северная пчела. 1847. № 284. 16 дек.
- 6 Отрывки из этой книги в нашем переводе см.: Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 352–368; отзыв Фабера о России и русском национальном характере см. также в его письме к г-же де Сталь от 1/13 декабря 1812 г., посвященном поведению русского народа во время нашествия французов (Русский архив. 1902. Кн. 1. С. 31–41).
- 7 Так, он находился в Париже в январе 1826 г. (АВПРИ. Ф. Канц. Оп. 468. № 3632. Л. 21об.); в декабре 1827 г. – январе 1828 г. (см.: АВПРИ. Ф. Канц. Оп. 468. № 3635, 3636; см. также: Письма Александра Ивановича Тургенева к Николаю Ивановичу Тургеневу. Лейпциг, 1872. С. 314, 345) и в мае 1828 г., а затем после годичного отсутствия прибыл в Париж 15 мая 1829 г. (см.: *Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode, 1760–1850*. P., 1908. T. VII. P. 123).
- 8 Сам автор, пародируя названия типа «Полгода в России» или «Сто дней в Брюсселе», предлагал назвать этот очерк «Год вне Парижа» (*Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode, 1760–1850*. P., 1908. T. VII. P. 123).
- 9 Ibid. P. 130–131.
- 10 *Фабер Г.-Т.* Примечания о французской армии последних времен, с 1792 по 1807 год. СПб., 1808. С. 75.
- 11 АВПРИ. Ф. Канц. Оп. 468. № 3630. Л. 33 об.; ориг. на фр. яз.
- 12 Там же. Оп. 469. № 78. Л. 6; ориг. на фр. яз.
- 13 Там же. Оп. 469. № 78. Л. 6об.; ориг. на фр. яз.
- 14 Там же. Оп. 469. № 78 (1830). Л. 7–19; ориг. на фр. яз.
- 15 Если Сеп-Жерменское предместье на левом берегу Сены было кварталом старинной знати, то в квартале Шоссе-д'Антен на правом берегу селились новые богачи – финансисты и промышленники. Именно поэтому Фабер связывает с ним 1789 год – год начала революции. О репутации парижских кварталов см.: *Мартен-Фюжье А.* Элегантная жизнь, или Как возник «весь Париж». М., 1998. С. 104–116.
- 16 Имеются в виду геральдические лилии из герба Бурбонов, с началом Реставрации сменившие орлов, украшавших герб Наполеона.
- 17 «Я проехал Францию из конца в конец, и у меня ни разу не спросили паспорт; жандармы приближались ко мне исключительно ради того, чтобы засвидетельствовать свое почтение» (*примеч. Фабера*).

- ¹⁸ В 1825 г., задолго до кризиса, сходным образом описывал умонастроения французов и Поццо ди Борго: «Потребность покоя продолжает становиться привычкой для всех французов. Чувство благосостояния и упражнения в свободе, приложенное ко всем обстоятельствам гражданской жизни, производит в каждом довольство индивидуальным положением, в каком он теперь находится» (цит. по: Соловьев С.М. Соч.: В 23 кн. М., 2000. Кн. 23. С. 128).
- ¹⁹ Если верить Гречу, Фабер лично знал Наполеона в самом начале жизненного пути будущего императора, а именно «обедал ежедневно, в течение нескольких месяцев, за общим столом, по двадцати су, с поручиком Наполеоном Буонапарте. “Итальянское и в прозвище Буонапарте тогда еще не стесняло его”, говорил г. Фабер» (Северная пчела. 1847. № 284. С. 1135).
- ²⁰ Наполеон в самом деле уже к концу 1820-х годов становится героем легенд, зафиксированных в литературе и изобразительном искусстве (см. в записках Ш. де Ремюза признание в том, что ни он, ни его друзья не заметили, как после смерти Наполеон довольно скоро превратился в «баснословного полубога» – *Rémusat Ch. de. Mémoires de ma vie.* Р., 1959. Т. 2. Р. 13). Стараниями мемуариста Э. Лас Каза, поэтов Беранже и Дебро, рисовальщика Шарле и других «живая литография для всенародного употребления, чугунная настольная статуйка, в маленькой шляпе, в сюртуке, с руками, сложенными крестом» стала встречаться повсюду; она присутствовала «в каждом кабинете любопытного и мыслящего современника или на камине щеголя, как вывеска умения его убрать свою комнату по требованиям нынешнего вкуса» (*Вяземский П.А.* Новая поэма Э. Кине // Современник. 1836. Т. 1. С. 284). Хотя процитированная рецензия П.А. Вяземского написана на 7 лет позже, чем докладная записка Фабера, литературные и художественные реалии, в ней описанные, существовали уже в конце 1820-х годов, и дипломат точно зафиксировал это в своем отчете. Ср., например, свидетельство газеты «Котидьен», которая в номере от 26–27 декабря 1825 г. отмечает появление у торговцев эстампами множества портретов Бонапарта, объясняемое в данном случае желанием противопоставить Наполеона премьер-министру Виллелю, чьими финансовыми операциями (конверсией рент) были недо-

вольны в эту пору многие рантье. Если так обстояло дело в эпоху Реставрации, то после свержения старшей ветви Бурбонов интерес к покойному императору, естественно, стал еще сильнее. Об обилии спектаклей, посвященных Наполеону, которые шли на парижской сцене сразу после Июльской революции, дает представление, например, статья из «Газет де Франс» от 15 ноября 1830 г.: «В театре “Водевиль” Беранже изображает нам жизнь великого человека вплоть до начала Консульства; “Варьете” события доходят до провозглашения империи; в театре “Амбигю” Наполеон прощается с Великой армией; в театре “Порт Сен-Мартен” он умирает, его хоронят, а затем переносят к подножию Вандомской колонны. Все эти представления имеют большой успех. Чем он объясняется? Талантом сочинителей? Нет, воспоминаниями, живущими в сердцах французов, более или менее точным воспроизведением наряда, жестов, походки великого человека». О становлении наполеоновской легенды в бытовом и литературном сознании 1820-х годов см.: *Martineau G. Le retour des cendres*. P., 1990. P. 21–40. Менее очевидны были в 1829 г. политические перспективы бонапартизма. Однако при более внимательном рассмотрении можно было заметить, что и симпатии к Наполеону как политическому деятелю (а не только как к герою поэтических сказаний и исторических анекдотов) начинают возрождаться уже в это время (процесс, окончившийся при Июльской монархии перенесением праха Наполеона в Париж). Самые неожиданные политические силы искали в бывшем императоре поддержку и опору; с одной стороны, в эпоху Реставрации к Наполеону (как антагонисту Бурбонов) начинают апеллировать либералы (хотя сам император во внутренней политике был весьма далек от либерализма); с другой стороны, порой на императора сочувственно ссылаются и ультрароялисты. Так, к апрелю 1829 г. (т. е. к тому самому периоду, о котором пишет Фабер) относится полемика в палате депутатов: либеральный депутат упрекнул партию ультрароялистов в том, что они, выступая за сильную авторитарную власть, фактически выражают сочувствие бонапартизму (против которого так яростно боролись в 1815 г.), на что представитель ультрароялистов Сириес де Мериак отвечал, несколько не смутившись: «Да, мы всеми помыслами и делами поддер-

живали то, что совершал Бонапарт ради разрушения системы Террора; избавив нас от Конвента, он оказал Франции услугу неоценимую» (*Waresquier E. de, Yvert B. Histoire de la Restauration, 1814–1830. P., 1996. P. 421*).

- 21 Ср. чуть более ранние (1823–1824) впечатления приятеля Фабера, князя П.Б. Козловского: «За те восемь месяцев, что я провел в этом городе [Париже], я слышал имя Наполеона только от иностранцев, прежде всего от англичан, охотно прославлявших его удивительный гений. Что же до французов, то для них протекшие с 1814 года десять лет оказались поистине равны столетию. <...> Даже если ему [Наполеону] отдают должное, о нем отзываются с неким историческим беспристрастием, оставляющим в душе впечатление тягостное» (*Козловский П.Б. Социальная диорама Парижа. М., 1997. С. 16*) и чуть более поздние (1833) впечатления Шатобриана: «Я въезжаю в герцогство Баденское; в деревне царит веселье; один из пьянчуг протягивает мне руку с криком: “Да здравствует император!” Все, что произошло после свержения Наполеона, в Германии почитают как бы не существующим. Тамошние жители, поднявшиеся ради того, чтобы отстоять свою национальную независимость от честолюбия Бонапарта, ныне только им и бредят; так сильно потряс он воображение народов, начиная от бедуинов в шатрах и кончая тевтонами в хижинах» (*Chateaubriand F.-R. de. Memoires d'outre-tombe. P., 1997. T. 2. P. 2702*).
- 22 На некоторых театрах Германии представляли и представляют до сих пор пьесу, в коей выведен Наполеон, и она неизменно вызывает громогласные рукоплескания; называется она: *Der alte Falscherr* [старый обманщик. – нем.]. (*Примеч. Фабера.*)
- 23 Конституция, которую 4 июня 1814 г. даровал французам Людовик XVIII; о предыстории и особенностях этого документа см.: *Rosanvallon P. La Monarchie impossible: Les Chartes de 1814 et de 1830. P., 1994*.
- 24 В 1793 г. в Вандее началось контрреволюционное восстание; хотя оно было жестоко подавлено, борьба против республиканского правления продолжалась в этом департаменте до 1800 г.
- 25 Во время революции 1789–1794 годов во Франции производилась распродажа «национальных имуществ» (собст-

венности, принадлежавшей духовенству и помещикам-эмигрантам, покинувшим Францию после начала революционных событий); покупателями были в основном зажиточные крестьяне и буржуа; в результате к 1815 г. количество землевладельцев удвоилось. Естественно, что новые собственники, каковы бы ни были их политические и идеологические симпатии, желали владеть своим имуществом согласно новым, послереволюционным законам; их права были зафиксированы в статье 9 Конституционной Хартии 1814 г. («Всякая собственность неприкосновенна, не исключая и ту, которую именуют национальными имуществами»). Власти эпохи Реставрации хорошо понимали эти настроения: неслучайно, ища способ компенсировать эмигрантам утраченное имущество, кабинет Виллеля не решился отбирать землю у новых собственников (ибо это непременно привело бы к гражданской войне) и предпочел решить проблему финансовым способом, с помощью конверсии рент, давшей правительству так называемый миллион для эмигрантов (см.: *Bertier de Sauvigny G. de. La Restauration. P., 1974. P. 372*).

- ²⁶ Луи-Антуан де Бурбон, герцог Ангулемский (1775–1844), старший сын Карла X, наследник престола, имел в 1820-е годы репутацию человека относительно либерального и действительно по политическим взглядам, далеким от ультрароялизма, был ближе к своему дяде Людовику XVIII, даровавшему французам Хартию, чем к собственному отцу; см.: *Guichen, vicomte de. Le duc d'Angoulême. P., 1909. P. 273–280; Cartron M.B. Louis XIX: roi sans couronne. P., 1996. P. 193–202*.
- ²⁷ Оценка нравственного состояния нации по тому возгласу, которым она выражает свое отношение к власти, характерна для Фабера; ср. в ранней книге о французской армии: «Пылкое воображение француза воспламенено еще более пышными ораторскими фразами, и поелику для его энтузиасма нужен всегда предмет нравственный, то научила его [Революция] вместо *vive le Roi* [да здравствует король] кричать *vive la République* [да здравствует республика]» (*Фабер Г.-Т. Примечания о французской армии. С. 76–77*).
- ²⁸ Фабер имеет в виду ультрароялистов, политика которых, по его мнению, заставляла Людовика XVIII отклоняться от духа Хартии; влияние правых на короля сделалось особен-

но сильным после образования в 1822 г. министерства под руководством Виллеля; Фабер, однако, ради сохранения своей стройной концепции (Карл X как верный страж Хартии и конституционного порядка во Франции) умалчивает о том, что во главе тех людей, которые настоятельно советовали Людовику XVIII «переписать» Хартию, стоял не кто иной, как будущий Карл X (в ту пору граф д'Артуа).

²⁹ Фабер имеет в виду последнюю попытку министерства Виллеля, с каждым днем стремительно терявшего популярность, удержаться у власти: 6 ноября 1827 г. палата депутатов была распущена, однако новые выборы, состоявшиеся в конце ноября, не принесли сторонникам Виллеля искомого большинства; в результате 6 декабря 1827 г. король отправил кабинет Виллеля в отставку, а 4 января 1828 г. сформировал новый кабинет под председательством Мартиньяка.

³⁰ Согласно статье 74 Хартии 1814 г. во время коронации король обязан был поклясться в верности Хартии, и в самом деле 29 мая 1825 г. в Реймсе Карл X «пообещал своему народу» «править согласно законам королевства и конституционной Хартии». Фабер считает такой порядок слов ретроградным и антиконституционным, однако накануне коронации вообще мало кто верил, что король упомянет Хартию в своей клятве; либеральные газеты за неделю до церемонии начали предсказывать, что король нарушит это требование; ходили слухи, что духовенство склоняло короля заменить слово «Хартия» на расплывчатые «установления королевства» и что лишь в последний момент его отговорил от этого намерения глава кабинета граф де Виллель (или, по другой версии, дофин герцог Ангулемский); современный исследователь, однако, полагает, что все эти слухи распространялись нарочно, ради того чтобы скомпрометировать короля (см.: *Raillat L. Charles X ou le sacre de la dernière chance*. P., 1991. P. 162–168).

³¹ Под сильнейшим давлением либеральной части общества Карл X в самом деле предпринял несколько «прогрессивных» мер: 4 января 1828 г. назначил новый, сравнительно либеральный кабинет министров, возглавляемый Мартиньяком (формально должность виконта Жана-Батиста де Мартиньяка называлась «министр внутренних дел и представитель кабинета в палате»), при котором была от-

менена цензура (самим же королем годом раньше и введенная), а иезуитам, вызывавшим жгучую ненависть либералов, запрещено было принимать участие в преподавании (см.: *Bertier de Sauvigny G. de. La Restauration.* P. 388–389, 414–416). Однако относительно приверженности короля Хартии Фабер заблуждался. Дело в том, что Карл X, человек, куда менее открытый либеральным веяниям, чем его старший брат Людовик XVIII, еще в пору принятия Хартии был противником этой уступки общественному мнению, этого «эксперимента, по окончании которого, убедившись в его бесполезности, можно будет вернуться к естественному порядку вещей» (*Waresquiel E. de, Yvert B. Histoire de la Restauration.* P. 62), естественным же порядком вещей он считал абсолютную монархию, какой она была при Старом порядке. Своей неприязни к конституционным новшествам Карл X не скрывал. Так, в сентябре 1828 г., совершив поездку по восточной Франции и убедившись, что его везде встречают с восторгом, король сказал своему тогдашнему первому министру: «Слышите, г-н Мартиньяк! Разве эти люди кричат: “Да здравствует Хартия!”? Нет, они кричат: “Да здравствует король!”» (*Daudet E. Le Ministère de M. de Martignac, sa vie politique et les dernières années de la Restauration.* P., 1878. P. 215–216; *Waresquiel E. de, Yvert B. Histoire de la Restauration.* P. 422). Сходные с фаберовскими иллюзии насчет приверженности короля Хартии питал и приятель Фабера князь П.Б. Козловский, который в 1824 г. писал о будущем Карле X, тогда еще граф д’Артуа: «Даже если бы вся Франция попросила его восстановить в стране абсолютную монархию, он, я уверен, не решился бы пойти на это» (*Козловский П.Б. Социальная диорама Парижа.* С. 22).

- ³² По-видимому, в этом весьма туманном и противоречивом фрагменте (если улучшения были «необходимы», то почему «люди справедливые и просвещенные» их осуждали?) Фабер имеет в виду эпизод парламентской борьбы весны 1829 г.: министерство предложило реформировать управление департаментами и «демократизировать» его за счет замены советов, члены которых назначались центральной властью, на выборные собрания коммун и департаментов; палата депутатов, однако, на заседаниях 19 марта и 8 апреля не поддержала министерские проекты: правые увидели

в них «посягательства на монархические принципы и права короны» (*Pasquier E.-D. Mémoires. Т. 6. Р. 161*), а левые сочли их недостаточно смелыми и предложили свои, более радикальные, которые Мартиньяк, вынужденный считаться с пристрастиями короля, одобрить не мог; в результате король отозвал предложенные законы и утвердился в своем намерении изменить состав кабинета министров. Позже доктринеры сожалели, что таким образом сократили срок жизни умеренного правительства Мартиньяка (см.: *Waresquiel E. de, Yvert B. Histoire de la Restauration. Р. 424–426; Ponteil F. Les Institutions de la France de 1814 à 1870. Р., 1966. Р. 33–36*).

- ³³ О прессе эпохи Реставрации см.: *Ledré Ch. La Presse à l'assaut de la monarchie. Р., 1960*; о формах распространения периодики см.: *Parent-Lardeur F. Lire à Paris: Les cabinets de lecture à Paris au temps de Balzac, 1815–1830. Р., 1999. Р. 115–122*. Поскольку в описываемый период продажи газет в розницу во Франции не существовало, те, кто не был подписан на периодические издания, читали их в кафе или кабинетах для чтения.
- ³⁴ Газета, выходившая с 1815 г.; в эпоху Реставрации – главный орган либеральной оппозиции.
- ³⁵ Три четверти тиражей всех выходивших в эпоху Реставрации газет приходились на газеты оппозиции, преимущественно либеральной; так, тираж «Конститусьонель» в 1824 г. составлял 16 250 экземпляров, тираж ультрароялистской «Котидьен» и роялистской «Газет де Франс» – 5800 и 2300 (см.: *Parent-Lardeur F. Lire à Paris. Р. 118–119*).
- ³⁶ В 1830 г. министры из кабинета Полиньяка засвидетельствовали огромную роль прессы в современной им Франции на свой лад: они назвали газеты главным врагом общественного спокойствия, «орудием возмущения и мятежа», жертвой которого пали «все министерства начиная с 1814 г., несмотря на разницу убеждений, ими исповедуемых, и влияний, ими испытываемых»; министр юстиции Шантелоз высказал эту мысль в докладе королю, подписанном всеми министрами и представленном королю 25 июля 1830 г. (цит. по: *Bory J.-L. La Révolution de Juillet. 29 juillet 1830. Р., 1972. Р. 635–636*); как замечает историк, «если судить по этому докладу, можно подумать, будто вся борьба разворачивалась исключительно между королем и

прессой» (*Bertier de Sauvigny G. de. La Révolution de 1830 en France. P., 1970. P. 31*). Не случайно среди подписанных в тот же день, 25 июля, ордонансов первым шел тот, который отменял свободу периодической печати.

37 В книге о французской армии, выпущенной в 1808 г., Фабер оценивал состояние французской армии несколько иначе, делая упор на преемственности республиканского и имперского войск по отношению к войску дореволюционному: «Король, Робеспьер, Директория, четыре Конституции – все исчезло одно за другим; но солдаты остались те же; во все времена они знали только своих генералов и свои знамена, о прочем мало заботились» (*Фабер Г.-Т. Примечания о французской армии. С. 81*).

38 Вся намеченная здесь система противопоставлений («хорошие» солдаты до революции и в эпоху Реставрации и «плохие» – при республике и империи) достаточно искусственна и отличается от гораздо более тонких оценок, данных в книге 1808 г., где Фабер, в частности, называет в числе специфических свойств французской армии (в том числе и дореволюционной) тесную связь солдат и офицеров (в противовес немецкой палочной дисциплине). Там же Фабер указывает, что особо пылкое пристрастие к собственной стране было свойственно французским солдатам и до революции и что «любовь к отечеству» – лозунг, новый лишь по форме, но не по содержанию: «С самых давних времен француз почитал свою родимую сторону за ее выгоды, существенные или мечтательные, за первую страну в свете, а свою нацию за совершеннейшую из всех. Воспитание его, как старинное, так и новое, клонилось к тому, чтоб всемерно укреплять в нем сей предрассудок, приближая все его мысли и виды к тому, что есть французского, и удаляя от него верные познания о других странах, народах и их правительствах. Революция воспользовалась сим предубеждением француза: она представила ему, будто Франция находится в опасности быть захвачена чуждыми тиранами и будто его нация должна исчезнуть среди других народов: она пробудила старинную привязанность французов к своей родимой стороне. Возвысив оную всеми возможными средствами, она назвала ее пышным именем любви к отечеству – именем, которое дотолде было известно только в книгах» (*Фабер Г.-Т. Примечания о французской армии. С. 76*).

- ³⁹ В 1814 г. более 10 тыс. офицеров были уволены из армии с половинным жалованьем; некоторые из них в течение эпохи Реставрации оставались в оппозиции, питая ненависть к новому режиму и с упоением вспоминая эпоху империи; но были и такие, которые в 1820-е годы вновь вступили в армию и верно служили королю (см.: *Bertier de Sauvigny G. de. La Restauration. P. 78, 284; Waresquiel E. de, Yvert B. Histoire de la Restauration. P. 85–89).*
- ⁴⁰ Слова Фабера о подлинно национальной армии противоречат его же утверждению (впрочем, весьма спорному) о том, что солдат эпохи Реставрации сделался подобен солдату дореволюционной армии: до революции армию комплектовали с помощью вербовки, во время революции был принят декрет о народном ополчении, в 1798 г. так называемым «законом Журдана» была введена воинская повинность, которая действовала при империи и которая как раз и должна была способствовать созданию национальной армии, но из-за бесконечных наполеоновских войн стала вызывать в народе решительное неприятие; поэтому Людовик XVIII сразу после восшествия на престол отменил воинскую повинность (статья 12 Хартии) и ввел службу в армии на добровольных началах. Впрочем, добровольцев оказалось недостаточно, и в 1818 г. был принят «закон Гувьона-Сен-Сира» (по имени тогдашнего военного министра) о двойном принципе комплектования армии: часть ее должна была состоять из добровольцев, а часть – из призывников, определенных по жребию, при этом повышение по службе происходило не по воле короля, а – для двух третей воинского состава – в зависимости от выслуги лет. Именно закон Гувьона-Сен-Сира (принятию которого активно сопротивлялись ультрароялисты) способствовал созданию по-настоящему национальной армии, «армии закона», а не «армии короля» (см.: *Yvert B., Waresquiel E. de. Histoire de la Restauration. P. 217–219; Bertier de Sauvigny G. de. La Restauration. P. 147).*
- ⁴¹ Эта информация Фабера приобретала особую важность, если учесть, что Николай I придавал состоянию армии первостепенное значение и делился с французским послом Ла Ферронне своей тревогой относительно состояния духа армии французской: «Признаюсь Вам, я получил сведения, которым в высшей степени доверяю; из них следует, что

расположение общества ныне уже не так хорошо, как прежде. Особенно сильную тревогу внушают мне сообщения о духе армии. Меня уверяют, что среди офицеров, даже в рядах королевской гвардии, царит уныние, что солдаты недовольны и разочарованы службой, по каковой причине, не обвиняясь, выражают недовольство якобы близящейся войной против Англии. – Такие настроения слишком противны воинскому духу всякой нации, в особенности же нации французской, а потому не могут не вызывать удивления и известной тревоги. [...] Сегодня судьба трона, судьба Франции, всеобщее спокойствие зависят в определенном смысле не от кого иного, как от французской армии. Заподозрив, что ее преданность трону вызывает сомнения, а ее воинский дух угас, мы не сможем смотреть окрест иначе, как со страхом, а в будущее – иначе, как с ужасом. [...] Известные мне факты свидетельствуют неопровержимо, что большая часть офицеров питает величайшее отвращение к службе, что отвращение это заражает уже и солдат, которые относятся к командирам без должного уважения» (Archives du Ministère des affaires étrangères. Correspondance politique. Russie. T. 172. Fol. 40 verso–41 verso). Далее АМАЕ.

- ⁴² Весной–летом 1823 г. французский экспедиционный корпус под командованием дофина герцога Ангулемского воевал в Испании, помогая королю Фердинанду VII подавить восстание революционных кортесов; победоносные действия французской армии были призваны укрепить солдат и офицеров в преданности режиму Бурбонов.
- ⁴³ Мишель Ней (1769–1815), один из наполеоновских маршалов, в 1814 г. в начале первой Реставрации перешел на сторону Бурбонов. Ней после бегства Наполеона с Эльбы обещал поймать его и «посадить в железную клетку», но вскоре присоединился к бывшему императору; после Ватерлоо был схвачен и расстрелян по приговору палаты пэров за измену Бурбонам.
- ⁴⁴ Королевский и военный орден Святого Людовика был основан в 1693 г. Людовиком XIV для офицеров-католиков, прославившихся воинскими подвигами; членам ордена вручался золотой крест, усыпанный королевскими лилиями; упраздненный Конвентом в 1793 г., он был восстановлен Людовиком XVIII в 1814 г. Почетный легион был со-

здан Наполеоном в 1802 г. по образцу старинных рыцарских орденов; члены его получали жалованье и знак отличия – звезду на красной ленте.

- 45 Король не разделял подобных опасений, о чем свидетельствует эпизод, относящийся к началу лета 1829 г.: раздосадованный речами представителей либеральной оппозиции в палате депутатов, король спросил военного министра виконта де Ко: «Каково ваше мнение об этом собрании?» – «Отвратительное, ваше величество», – отвечал министр. После чего король тотчас отвел его в сторону и спросил шепотом: «Итак, вы согласны, что так больше продолжаться не может? Могу я рассчитывать на армию?» Министр, поняв, что зашел слишком далеко, уточнил: «Армия в любой момент встанет на защиту трона и Хартии, но если речь пойдет о восстановлении Старого порядка...» После чего король раздраженно вскричал: «Хартия! Хартия! Да кто говорит о ее отмене? Конечно, она несовершенна; брат мой так спешил ради того, чтобы любой ценой занять трон! Впрочем, я на нее не покушусь! Но что общего между армией и Хартией?» (см.: *Daudet E. Le Ministère de M. de Martignac, sa vie politique.* P. 296). Течение Июльской революции доказало, что опасения Фабера были вполне обоснованны: уже во второй день восстания начались переходы отдельных военных на сторону мятежников, а на третий день, 29 июля, эти случаи стали принимать массовый характер (см.: *Yvert B., Waresquiel E. de. Histoire de la Restauration* P. 459–461).
- 46 Имеется в виду деятельность так называемых миссий, целью которых было приобщить к католической религии как можно больше французов: миссионеры устраивали в разных уголках страны торжественные церемонии, богослужения, проповеди в больницах, тюрьмах и пр., стремясь эффектными, театральными жестами (главным из которых было водружение креста) воздействовать на воображение паствы. Деятельность миссионеров, зачастую назойливая и авторитарная, вызывала протесты либералов и породила во второй половине 1820-х годов мощное антиклерикальное движение; особенный гнев либералов вызывало смешение религии и политики, которым часто грешили миссионеры, практически отождествлявшие интересы монархии Бурбонов с интересами католической церкви.

- 47 Кресты, водруженные миссионерами, легко узнать: у них исполинские размеры, стоят они на возвышенностях на видном месте; три конца эти крестов образуют гигантские лилии, как правило позолоченные и сверкающие так, что их видно издалека. Украшены они надписями весьма любопытными. (*Примеч. Фабера.*)
- 48 При Империи отношения государства с католической церковью развивались с переменным успехом: хотя в 1801 г. Наполеон подписал Конкордат – соглашение с римским двором о восстановлении во Франции католической религии, дальнейшие события (прежде всего, арест папы Пия VII, которого император в 1809–1814 гг. держал в заточении во Франции) вновь осложнили ситуацию. В эпоху Реставрации католическая церковь стала важным компонентом общественной жизни; статья 5 Хартии 1814 г. утверждала право каждого француза на свободное отправление любого культа, однако следующая, 6-я статья объявляла государственной религией Франции религию католическую. Если позднее, в 1830-е годы, тяга к католической религии начала возрождаться «снизу», что проявлялось особенно наглядно в огромном интересе публики к проповедям католических священников, в эпоху Реставрации приверженность к католицизму в большей степени насаждалась «сверху»; благочестие короля и некоторые меры по защите церкви, предпринимаемые властью (как, например, предложенный правительством и одобренный палатами в 1825 г. закон о смертной казни за святотатство), породили в умах свободомыслящей части общества стойкое убеждение, что за действиями короля и его министров стоит Конгрегация, тайная организация церковных и светских защитников алтаря. Ответом на ее интриги (подчас выдуманные) стала активная антиклерикальная кампания, развернутая прежде всего на страницах газеты «Конститусьонель» (см.: *Bertier de Sauvigny G. La Restauration. P. 380–386*); все эти обстоятельства придавали положению католической религии во Франции конца 1820-х годов некоторую двусмысленность, которую Фабер (явно не принадлежавший к числу пламенных адептов католицизма) описал весьма точно (об антиклерикальных настроениях во Франции в царствование Карла X см. также: *Raillat L. Charles X ou le sacre de la dernière chance.*

1991. P. 241–247; *Леруа М.* Миф о иезуитах: От Беранже до Мишле. М., 2001. С. 20–71). Представления о всемогуществе Конгрегации, утверждавшиеся в многочисленных статьях и брошюрах, получили такое широкое распространение, что император Николай I в начале 1827 г. специально выяснял у французского посла в Петербурге графа де Ла Ферронне подробности о существовании этой ассоциации; посол же отвечал, что к ней не принадлежит и ничего не знает о ее существовании, а потом запрашивал у своего непосредственного начальника министра иностранных дел графа де Дамаса какие-нибудь сведения на сей счет (см.: АМАЕ. Correspondance politique. Russie. T. 172. Fol. 78–80 v.).

⁴⁹ Меня уверили, что в 1810 г. списки прихожан парижских церквей включали 70 000 причастников, а в 1827 г. число это сократилось до 50 000. (*Примеч. Фабера.*)

⁵⁰ Статья 48 Хартии предписывала для введения любого налога получить согласие обеих палат, а затем короля. Тем не менее разочарования, связанные с налогами, французы испытали уже в самом начале эпохи Реставрации; одним из лозунгов графа д'Артуа (будущего Карла X) и его сына герцога Ангулемского по возвращении из эмиграции была отмена наполеоновских не прямых налогов на продукты питания (*droits réunis*). Однако на практике те же налоги под другим названием (*contributions indirectes*) взимались по-прежнему, равно как и четыре вида прямых налогов: земельный, подоходный, с окон и дверей, торгово-промышленный.

⁵¹ В опущенном фрагменте Фабер объясняет, в чем, по его мнению, заключается «сильное лекарство от сильного недуга»; рецепт прост – следует уменьшить подати.

⁵² Обязательной деталью легендарного портрета французского короля Генриха IV была приписываемая ему фраза: «Я не буду счастлив до тех пор, пока у каждого из моих подданных-землепашцев по воскресеньям не будет на обеденном столе курицы».

⁵³ О честолюбии, которое революция, «уничтожив права родовые, возбудила в сердцах всех граждан без различия», как «величайшей пружине национальной», заставляющей французов действовать, Фабер писал еще в 1808 г. (см.: *Фабер Г.Т.* Примечания о французской армии. С. 87, 165).

Ср. также в цитированном выше письме Фабера к графине Нессельроде более детализированное описание французского честолюбия: во Франции «всякий недоволен тем, что он есть, и тем, чем он владеет; всякий хочет стать чем-то лучшим и владеть чем-то большим. Революция, свергнувшая всех людей в состояние смутное и неопределенное, приучила их стремиться к неведомым целям; каждый возмнил себя способным на все и призванным ко всему. Последний акт революции, разыгранный под властью императора, только усилил это умонастроение, открыв неограниченные возможности для продвижения по социальной лестнице. Каждый счел, что предназначен к роли более значительной, чем та, какую он играет; каждый пожелал выйти из своего состояния и проникнуть в сферу высшую; каждый захотел если не стать, то, по крайней мере казаться чем-то большим, чем он есть, и начал оболыщаться на собственный счет, дабы внушить те же иллюзии окружающим. Отсюда пышные вывески и наименования, число которых множится с каждым днем. Место портье заняли консьержи. На кабаке, где выпивают рабочие, ломовые извозчики и солдаты, красуется сегодня надпись «Розничная продажа вина» или «Винный погреб». Заведение цирюльника превратилось в «Салон для стрижки волос», а в будущем году того и гляди сделается академией. Портной именуется костюмером, а его лавка – магазином гражданского и военного платья. [...] Аптекарь превратился в фармацевта. Торговец сделался коммерсантом, а коммерсант – негодциантом. [...] Кажется, что шарлатанство по отношению к публике не может быть большим, чем сейчас. Вскоре, того и гляди, перестанут действовать и яркие афиши, и громкие слова; придется сделать следующий шаг: каждый, кто захочет подчеркнуть свои заслуги, будет ходить по улицам, предшествуемый зазывалами, плясунами, фокусниками и паяцами» (*Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode, 1760–1850. T. VII. P. 133–134*). Фабер описывает жажду социального продвижения во Франции 1820-х годов в сатирическом тоне и, как явствует из последней главы публикуемой записки, противопоставляет ему самоотречение, которое французам еще только предстоит выработать. Французские политики того времени, также видевшие в амбициях низших социальных слоев серьезную проблему,

пытались решить ее более практическим путем, в частности с помощью административных реформ, расширяющих круг людей, причастных к управлению страной; ср. выступление главы кабинета Мартиньяка перед палатой депутатов 9 февраля 1829 г.: «Что делать с толпой людей образованных, трудолюбивых, деятельных, которых гласность разбудила и воодушевила, которых социальное положение, сознание своих способностей и пример людей, возвысившихся против всяких ожиданий, подталкивают самыми разными способами к публичной деятельности? Как удовлетворить их естественное и законное нетерпение?» (цит. по.: *Daudet E.* Op. cit. P. 260–262); одним из способов такого удовлетворения казались Мартиньяку выборные собрания коммун и департаментов (см. примеч. 32).

⁵⁴ Согласно статье 40 Хартии 1814 г. право избирать депутатов имели люди, платившие не меньше 300 франков в год прямого налога.

⁵⁵ Мы опускаем как не имеющую отношения к нашему сюжету главку «Мнение французов об иностранцах». Содержание ее коротко можно передать следующим образом: к англичанам французы испытывают ревность, к австрийцам – безразличие, переходящее в неуважение, русских обожают, называют их северными французами и желают им победы над Турцией. Относительно последнего уподобления Фабер замечает, что в устах француза это высшая похвала; сходным образом относился к этому определению и он сам; ср. в книге о Петербурге: «Русские обладают неисчерпаемыми запасами веселости; они суть северные французы» (*Faber G.-T. Bagatelles. Promenades d'un désœuvré dans la ville de Saint-Pétersbourg.* SPb., 1811. Т. 1. P. 91); заметим, что в устах наблюдателя, относящегося к французам более сдержанно, то же сравнение могло выглядеть отнюдь не комплиментарным: «Никогда не было большой симпатии между русским и поляком, но здесь теперь и последнее чувство охолодело к этим неблагодарным. Куда как они ветрены! Уж подлинно *les Français du Nord* [северные французы. – *фр.*]» (Русский архив. 1901. Кн. 3. С. 543; письмо А.Я. Булгакова к К.Я. Булгакову от 3 декабря 1830 г.).

⁵⁶ Мысль о недостатке у французов самоотвержения помимо жизненных имеет, возможно, литературный источник – последние три главы книги Ж. де Сталь «О Германии»

(1813), в которых писательница сетует на избыток эгоизма у своих соотечественников и желает им заимствовать бескорыстие и энтузиазм у немцев.

- 57 АВПРИ. Ф. Канц. Оп. 468. № 9166. Л. 25 (донесение от 14/26 мая 1829 г.; здесь и далее все донесения Поццо цитируются в переводе с французского).
- 58 Внешняя политика России XIX и начала XX века. Серия вторая. Т. 8 (16). М., 1994. С. 183; о «слабости и нестабильности» кабинета Мартиньяка и о своих «опасениях в связи с предполагаемым назначением Полиньяка главой правительства» Поццо ди Борго писал и в отправленном тогда же официальном донесении (см.: Там же. С. 582). Ср. ощущение современника-француза, еще в 1828 г. писавшего о судьбе кабинета Мартиньяка: «Несчастливые наши министры, господина Руа, Мартиньяк, Ла Ферронне и прочие, боятся всех на свете, но более всего короля, который скорее всего отправит их в отставку, лишь только палата депутатов проголосует за бюджет. <...> Удивительное положение короля, который предаст своих собственных министров, порождает немалое число происшествий, которые привлекают к себе внимание света и дают пищу для салонных пересудов» (*Stendhal. Paris—Londres: Chroniques. P., 1997. P. 859*; «Очерк парижского общества, политики и литературы» под номером 19, датированный 22 мая 1828 г., опубликован в июне 1828 г. в лондонском «New Monthly Magazine»).
- 59 АВПРИ. Ф. Канц. Оп. 468. № 9166. Л. 193 об. (донесение от 27 июня/9 июля 1829 г.).
- 60 Там же. Л. 221 об. (донесение от 18/30 июля 1829 г.).
- 61 Там же. Л. 225 (донесение от 21 июля/2 августа 1829 г.).
- 62 О процедуре формирования таких списков см. выразительное свидетельство в: *Pasquier E.-D. Mémoires. P., 1895. T. 6. P. 155–157.*
- 63 Официальная газета, где печатались королевские ордонансы (в том числе о составе кабинета министров).
- 64 АВПРИ. Ф. Канц. Оп. 468. № 9166. Л. 231–232 (донесение от 25 июля/6 августа 1829 г.); это донесение частично процитировано в изд.: *Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. СПб., 1909. Т. 15. С. 79.* Ошибся Поццо только в сроке: «ждать» пришлось не четыре месяца, а двенадцать.

65 См.: *Мартенс Ф.Ф.* Собрание трактатов... Т. 15. С. 71, 74 и след. В донесении от 5/17 августа 1829 г. Поццо пишет, что в 1828–1829 гг. всякий раз, когда появлялись шансы на перемену кабинета, Веллингтон «отправлял» Полиньяка из Лондона в Париж (АВПРИ. Ф. Канц. Оп. 468. № 9166. Л. 265 об.). Подобные трактовки были не редки во французской прессе конца 1829 – начала 1830 г.; так, газета «Конститусьонель» писала 1 января 1830 г.: «...Англии грозила опасность; в интересах своего спокойствия она решила нарушить наше и, используя мистические настроения одного дипломата-визионера, который уже давно вообразил себя нашим спасителем, послала к нам г-на де Полиньяка, дабы спасти монархию, которой ничто не угрожало и которая подверглась самой большой опасности именно после его фатального прихода к власти»; ср. также в «Журналь де Пари» 18 января 1830 г. пародийную пьесу «Кабинет герцога Веллингтона», в которой английский премьер-министр назначает Полиньяка первым министром Франции и просит взамен уступить энное количество «ненужных» линейных кораблей и фрегатов, а Полиньяк вне себя от счастья тотчас дает свое согласие. Подобное отношение к Полиньяку как английскому агенту бытовало и в России; ср. реакцию А.Я. Булгакова на создание во Франции нового кабинета в письме к брату от 17/29 августа 1829 г.: «Перемена министерства во Франции очень мне не нравится. Что могло дать повод к тому? Министры составили бюджет, все шло, кажется, хорошо; а Полиньяк, верно, наклонит дела на английскую сторону и не будет нации приятен, а потому увидишь, что недолго продержится» (Русский архив. 1901. Кн. 3. С. 346).

66 АВПРИ. Ф. Канц. Оп. 468. № 9166. Л. 267 (донесение от 5/17 августа 1829 г.).

67 АВПРИ. Ф. Канц. Оп. 468. № 9167. Л. 312 (донесение от 15/27 ноября 1829 г.). Королю очень хотелось сделать Полиньяка министром; он верил, что именно твердость его ультрароялистских убеждений поможет вернуть на путь истинный «расшатавшуюся» страну. Графиня де Буань приводит в своих мемуарах свидетельство близкого ко двору герцога де Муши; узнав о назначении Полиньяка главой кабинета, он сказал: «Впрочем, может, это и к лучшему. Король не успокоится до тех пор, пока не испробует на деле

это невозможное министерство. Он мечтал об этом уже десять лет; он непременно осуществит свою блажь. Чем раньше мы с этим покончим, тем лучше. Когда король сам убедится в невозможности работать с этим кабинетом, он охотнее согласится на иные варианты» (*Boigne, Mme de. Mémoires. Т. 2. Р. 149*). Это оптимистическое предсказание, как и прогнозы Фабера, не сбылось.

⁶⁸ АВПРИ. Ф. Канц. Оп. 468. № 9166. Л. 267 об.–268.

⁶⁹ Там же. Л. 283 (ср.: *Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов...* Т. 15. С. 81). Ср. более детализированный прогноз на эту тему в донесении Поццо от 25 августа/6 сентября 1829 г.: если кабинет Полиньяка не найдет поддержки у палаты депутатов и король назначит новое министерство, которому также потребуется защита от недоброжелательства палаты, «королю не останется ничего другого, кроме как отменить существующие законы посредством ордонансов и назначить депутатов по своему собственному выбору. Мера эта подвергнет династию опасности, и никто в мире не осмелится предвидеть силу того противодействия, которое она вызовет» (АВПРИ. Ф. Канц. Оп. 468. № 9167. Л. 44 об.). Следует сказать, что назначение Полиньяка вызывало скепсис даже у людей, вполне симпатизировавших его политическим убеждениям; ср. дневниковую запись секретаря австрийского посольства в Париже графа Рудольфа Аппоньи за 10 февраля 1830 г.: выслушав рассказ г-жи де Полиньяк о том, как счастлив ее супруг наконец занять пост в правительстве и тем самым прийти на помощь обожаемому монарху Карлу X, окруженному людьми недостойными, австрийский дипломат замечает: «Будь у г-на де Полиньяка столько же ума, сколько доброты и преданности королю, дела во Франции шли бы наилучшим образом» (*Apponyi R. Journal. P., 1913. Т. 1. Р. 225*). Тот же Аппоньи приводит мнение роялистов, которых действия их единомышленника Полиньяка приводят в отчаяние: «Есть роялисты, которые говорят: “Мы больше не в силах защищать министерство Полиньяка. Это слишком опасно: если нынешний кабинет падет, репутация наша в глазах общества будет раз и навсегда скомпрометирована и мы не сможем больше приносить пользу королю”» (*Ibid. P. 229*); наконец, согласно тому же дневнику Аппоньи, 8 июля 1830 г. герцог де Розан, человек вполне роялистских взглядов, описывал полити-

ческую ситуацию следующим образом: «Роялизм обречен [...] у Бурбонов нет собственной политической партии; г-н де Полиньяк не сможет защищать короля от либералов, иначе говоря, от общественного мнения всей Франции, ибо в конце концов следует признать, что вся Франция высказывается в этом духе, и если г-н де Полиньяк желает бороться против нее, оставаясь на своем месте, он достоин похваления» (Ibid. P. 271; запись от 15 июля).

⁷⁰ АВПРИ. Ф. Канц. Оп. 468. № 9167. Л. 315 об.–316 об., 317 (донесение от 15/27 ноября 1829 г.).

⁷¹ См.: Там же. Л. 318 об.–319. Именно донесения Поццо сформировали у Николая I стойкую убежденность в том, что Карлу X не следует нарушать Хартию, – позиция, о которой он специально уведомил французского короля через его посла Мортемара. Последний еще до этого сам извещал Полиньяка, что в России «все люди смысленные, мудрые и настроенные благожелательно по отношению к Франции полагают, что вне законных путей, означенных в конституции, нет ни безопасности для Бурбонов, ни спокойствия для нашей страны» (донесение от 8 апреля 1830 г. – АМАЕ. *Correspondance politique. Russie*. Т. 180. Fol. 62). 16 апреля 1830 г. Мортемар сообщил Полиньяку о конфиденциальной беседе с императором, в ходе которой тот сказал, что поступившее от Поццо известие о намерении короля «прибегнуть при необходимости к незаконным мерам для усмирения оппозиции» заставило его, Николая, «содрогнуться и на целый день лишило его аппетита». Император попросил Мортемара напомнить королю, что договор, заключенный на Венском конгрессе, подразумевает, что, гарантируя королю корону, Россия одновременно гарантирует Франции конституционные учреждения; сам я, добавил Николай, «как вам прекрасно известно, не люблю конституции и правлю монархией, не принадлежащей к числу конституционных; однако присяга прежде всего; без верности присяге правительства долго не живут» (*Archives Nationales. AP/156 (III)/19 d. 1. Carton 5, № 395; ориг. на фр. яз.*). Ссылку на это предупреждение, в ответ на которое Карл X «дал честное слово, что никогда не отважится на меры противозаконные», см. в письме Николая I к цесаревичу Константину Павловичу от 6/18 августа 1830 г. (Сб. Императорского русского исторического обще-

ства. Т. 132. СПб., 1911. С. 35; ориг. на фр. яз.). Еще прежде, 22 марта/3 апреля 1830 г., Николай в письме тому же адресату оценивал настоящую ситуацию во Франции и прогнозировал будущую совершенно в том же духе, что и Поццо: «Вести из Франции весьма безрадостные; больно видеть, к чему может привести непостижимая привязанность короля к Полиньяку; мало того, что по этой причине плоды пятнадцатилетнего мира могут быть уничтожены, но, возможно, впереди нас ждут события еще более неприятные и грозные. Если король распустит палаты, результаты новых выборов вряд ли окажутся более для него благоприятными; если же он отправит в отставку свое жалкое министерство, тогда мы вправе будем спросить, как можно было доставлять подобный триумф оппозиции? Как все они жалки!» (Сб. Императорского русского исторического общества. Т. 132. С. 16; ориг. на фр. яз.).

⁷² АВПРИ. Ф. Канц. Оп. 469. № 78 (1830). Л. 26–36.

⁷³ Там же. № 93, 94 (1831).

⁷⁴ Там же. № 78 (1830). Л. 28.

⁷⁵ Высокую оценку «прозорливого и тонкого ума» Поццо и его донесений второй половины 1820-х годов см. у Мартенса (*Мартенс Ф.Ф.* Собрание трактатов... Т. 15. С. 58). Хорошее знание русским послом в Париже внутривнутриполитической ситуации во Франции, его доброе расположение к режиму Карла X и несклонность к алармистским выводам, на которые был щедр австрийский кабинет, засвидетельствовал несколькими годами раньше французский посол в Петербурге граф де Ла Ферронне, который 21 января 1826 г. сообщал министру иностранных дел графу де Дамасу: «Последние донесения Поццо развеяли опасения, рожденные письмами из Вены. Поццо сообщает, что сессия в самом деле ожидается бурная, но утверждает, что министерство вполне в силах оказать сопротивление любой, даже самой решительной оппозиции и что шум внутри палат не окажет никакого воздействия вне их пределов и ни в каком случае не приведет ни к беспорядкам, ни к волнениям, которых бы следовало опасаться. По сему поводу я обязан отдать должное послу. Донесения его с некоторых пор весьма способствуют созданию верного представления о состоянии дел во Франции и о намерениях министров короля, и я склонен думать, что именно сообщениям генера-

ла Поццо обязан я, по крайней мере отчасти, тем великим доверием и превосходным расположением, каким пользуюсь теперь в Петербурге. [...] Я полагаю, что в донесениях своих он порою жертвует истиной из желания искусно поощрить тайные намерения или даже слабости своего повелителя, однако упорство, с каким г-н Меттерних стремится свалить генерала Поццо, и постоянство, с каким венский и лондонский кабинет на него нападают, кажутся мне наилучшим и наивернейшим доказательством того, что Франции Поццо не враг и что в решительные минуты, особенно если мы немного польстим его самолюбию, он всегда будет склонен скорее помогать нашему правительству, нежели противодействовать ему» (АМАЕ. *Correspondance politique. Russie.* Т. 170. Fol. 80, 81).

⁷⁶ *Bourgoing P. de. Souvenirs d'histoire contemporaine.* P. 469.

⁷⁷ АМАЕ. *Correspondance politique. Russie.* Т. 181. Fol. 11. Характерна, однако, точка зрения осведомленного мемуариста, постфактум наделяющего Поццо способностью четко предвидеть контрреволюционные манипуляции короля: «Незадолго до опубликования июльских ордонансов посол России граф Поццо ди Борго имел аудиенцию у Карла X. На столе перед королем лежала Хартия, открытая на статье 14-й. Король не сводил с нее глаз, он еще и еще раз перечитывал ее текст, честно пытаясь отыскать в ней тот смысл, какой ему требовался. В подобных случаях поиски всегда увенчиваются успехом; речи короля, хотя и полные недоговоренностей и колебаний, не оставили у посла сомнений насчет намерений монарха» (*Guizot F. Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps.* P., 1858. Т. 1. P. 374).

⁷⁸ Цит. по: *Gazette de France* от 24 и 25 июля 1830 г.

⁷⁹ *Metternich K. de. Mémoires, documents et écrits divers.* P., 1881. Т. 4. P. 378 (письмо от 2 июля 1827 г.).

Из истории формирования русской национальной идеологии (первая треть XIX в.)¹

Симптомы формирования национально ориентированной идеологии в России прослеживаются на протяжении всего восемнадцатого столетия² Однако только в царствование Екатерины II национальный элемент начал играть заметную роль во внутренней³ и внешней политике⁴. Екатерина впервые последовательно вводит «русский стиль» в репрезентацию императорской власти: «Несмотря на господствовавший в нравах той эпохи космополитизм, риторика и стиль царствования Екатерины не позволяли сомневаться в доминирующей роли российского дворянства. Имперский патриотизм с великорусским акцентом определял тон исторических и литературных трудов второй половины XVIII в. Екатерина Великая, первый после Рюрика правитель России, не имевший ни капли русской крови, прославляла русскую элиту, которой удалось наконец добиться преимущественного статуса в империи»⁵.

Императрица поддержала ряд культурных инициатив, имевших отчетливо национальную окраску⁶, и приняла на себя роль покровительницы русской литературы, умело используя ее для национального идеологического строительства⁷. В ее царствование началось активное осмысление роли языка и истории в формировании национальной идентичности: лингвистические и исторические изыскания стали сферой утверждения национального достоинства и инструментом трансляции единой национальной памяти (характерно, что и сама Екатерина выступила автором программного сочинения об истории России и русской государственности – «Записок касательно Рос-

сийской истории»)⁸. Словесность служила проводником представлений об историческом величии России и постулировала этический идеал «русскости»⁹. Именно в екатерининскую эпоху (преимущественно с 1780-х годов) начинается формироваться «пантеон национальных героев», интенсивно документируется государственное и родовое предание¹⁰, оформляется исторически легендированная территориальная геральдическая символика¹¹ актуализируется фольклорный пласт национальной культуры¹². К этому же времени относится первый опыт кодификации национального языкового фонда – Словарь Академии Российской¹³.

И тем не менее в социокультурной ситуации того времени литературно-языковые полемики и исторические разыскания были обречены оставаться делом небольшого круга столичных энтузиастов. Малочисленность и незначительная социальная роль третьего сословия, крайне низкая доля образованного населения и, главное, отсутствие единого информационного и культурного пространства, формируемого регулярно выходящими негосударственными газетами и журналами, – все это лишало национальную идеологию широкой воспринимающей среды. Кроме того, сменившие на престоле Екатерину Павел I и Александр I (в первые годы царствования) отказались от апелляции к национальному характеру императорской власти, предпочтя для ее репрезентации «европейские» сценарии¹⁴.

Даже лишенные поощрения «сверху» национальные идеологические модели продолжали развиваться и распространяться в обществе, однако скорость их трансляции была, как мы уже говорили, крайне невысока. Ситуация радикально переменилась во время неудачных кампаний 1805–1807 гг. и в особенности после Тильзитского мира, когда недовольство правительством совместилось с чувством уязвленного национального самолюбия. Национально ориентированные идеологические схемы и патриотический дискурс, которые в это время разрабатывались в политически активных группах (преимущественно оппозиционного толка¹⁵) и символизировались в культурных практиках¹⁶, достигли окончательной кристаллизации под влиянием реальной политической и военной угрозы 1812 г.

В 1812–1814 гг. сложился тот набор концептов, которому предстояло лечь в основу большинства изводов русской национальной идеологии XIX в.

Одним из таких опорных концептов была идея мессианского призвания России. В риторических текстах эпохи (от официальных манифестов и церковных проповедей до оды и журнальной публицистики) реальная военно-политическая ситуация мыслилась как проекция апокалиптического сюжета: провиденциальный вызов и победа над inferнальным Врагом через испытание и самопожертвование¹⁷. Распространению подобных толкований способствовали воззвания Священного синода 1806 и 1812 гг., читавшиеся в церквях и объявлявшие Наполеона врагом церкви¹⁸. При этом православная церковь и Россия, как единственное православное государство, получали статус исключительности и тем самым наделялись признаком богоизбранности (пашествию безбожных «двоюнадесяте языкъ» противостояла изолированная сингулярная общность, носительница «истинной веры»). Содержавшиеся в идеологических текстах ветхозаветные коннотации актуализировали, в свою очередь, образ национально-религиозного государства (Россия – Новый Израиль)¹⁹ и способствовали сакрализации народного тела и государственной территории. Этот сложный конгломерат концептов функционировал в идеологических практиках как синтетический символ, надолго (если не навсегда) закрепивший в патриотическом дискурсе идею сакральности самого понятия *Россия*.

Победа в Отечественной войне привнесла в идею мессианского призвания России новую составляющую. Борьба России с Наполеоном стала расцениваться не только как спасение собственной ценностной сущности, но и как внешняя освободительная миссия, объектом которой стала поработенная Европа.

Чтобы полностью оценить значение этой составляющей, необходимо вспомнить о магистральной для русской культуры XVIII в. модели «ревнования Европе», описывавшей вступление молодой России в школу европейской цивилизации и ее стремление превзойти своих учителей. Очевидно, что такая модель рано или поздно вступает в конфликт с концепцией национального и государственного

величия, а значит, должна быть тем или иным образом изжита²⁰. «Спасение Европы» (этот синтетический символ включал в себя разные, подчас весьма противоречивые, концепты: «спасение царей и царств», дарование свободы и восстановление легитимных границ и правительств, избавление от ужасов революции, религиозное просвещение – «ex oriente lux» и т. д.) стало идеальным разрешением этой модели: русские не просто отдали долг своим учителям, но и доказали свое моральное превосходство над более просвещенными народами. «Малая цивилизованность», в рамках модели «ревнования» воспринимавшаяся как недостаток, в новой ситуации превратилась в синоним христианских добродетелей – благочестия, смирения, миролюбия – и залог торжества русского народа над силами зла. Пример подобной логической конструкции находим в оде Карамзина «Освобождение Европы и слава Александра I» (1814): «Еще в Европе отдаленной / Один народ благословенный / Главы под иго не склонил, / Хранил в душе простые нравы, / В войнах издревле побеждал, / Давал иным странам уставы, / Но сам жил только по своим, / Царя любил, царем любим; // Не славился богатством знаний, / Ни хитростию мудрований, / Умел наказывать врагов, / Являясь в дружестве правдивым, / Стоял за Русь, за прах отцов, / И был без гордости счастливым; / Свободы ложной не искал, / Но все имел, чего желал»²¹. Идея морального превосходства России в связи со спасением Европы входит в число наиболее устойчивых мотивов поэзии 1812 года: ср., например, у Шатрова – «Узря Европы сотрясенье, / Ты длань ей дружбы подала, / Охотно для ее спасенья / Себя всю в жертву отдала; / От уз постыдных искупила; / Но чем Европа заплатила / Союзнице своей Москве? / Москва сама собой восстала, / И снова слава заблистала / На царственной твоей главе»²². Эти же мотивы звучат и в гимне Л.Ф. Воейкова «К Отечеству» (1812), и в «Воспоминаниях в Царском Селе» (1814) молодого Пушкина.

Мессианские представления получили специфическое выражение в языковых и культурных установках адмирала Шишкова и его единомышленников²³. Отказавшись от модели «ревнования Европе» и стоящей за ней рационалистической теории культурного универсализма и провозгласив вслед за Гердером уникальность националь-

ной культуры, А.С. Шишков оказался поставлен перед задачей – обосновать значимость и неповторимость русского духовного наследия. Главным аргументом для него стал язык: уже в «Рассуждении о древнем и новом слоге» (1803) Шишков объявил русский прямым наследником церковнославянского и близким родственником греческого языка. Малоосновательная с лингвистической точки зрения, теория Шишкова обладала мощным идеологическим потенциалом. Русский язык и «русский дух» оказались напрямую связаны с источником цивилизации – Древней Грецией, в то время как европейские державы, и прежде всего столь нелюбезная Шишкову Франция, наследовали преемнику Греции – Риму²⁴. Не менее значимым был тот факт, что церковнославянский и греческий являлись языками богослужения и священных книг Восточной церкви – оплота истинной веры. Наконец, русский язык в представлении Шишкова был результатом естественного развития церковнославянского, в отличие, например, от французского, родившегося из «испорченной» местными наречиями латыни. Таким образом, русский язык наделялся атрибутами древнего, богодухновенного и естественного. Обращение («возвращение») образованного общества к русскому языку привело бы к возрождению национального духа и восстановлению утраченного культурно-языкового единства нации.

Знаменательно, что в идеологических конструкциях эпохи идея национальной избранности тесно соседствовала с концептом «надсословного единства». Обретение единства является одним из центральных концептов в большинстве национальных идеологий, но если в стремительно развивавшихся в начале XIX в. национальных движениях в Германии, Италии, Польше единство понималось прежде всего как обретение территориальной целостности и национальной государственности, то в России для государствообразующей русской нации главной проблемой являлось преодоление культурного и правового разрыва между дворянством и другими сословиями. Одинаково актуальная для либералов и для консерваторов идея надсословного единства находила свое идеальное воплощение в двух противоположных моделях – представительного правления и патримониальной монархии. Для либералов акцент падал на

создание единого для всех сословий правового пространства; консерваторы возлагали надежды на семейную модель социума, в которой единство создается равной заботой царя-отца о своих подданных²⁵.

Наполеоновское нашествие обострило политические последствия культурно-правового разрыва: слухи о том, что Наполеон собирается дать крепостным свободу, крестьянские волнения, необходимость быстрой мобилизации гражданского населения и удержания под контролем населения немобилизованного, – все эти факторы стремительно активизировали идеологическое строительство, одним из центральных концептов которого стала патриархально-семейная модель, перенесенная – по нисходящей – с отношений царя и подданных на отношения помещиков и крепостных. Эта модель активно эксплуатировалась в государственной риторике, вспомним хотя бы известный пассаж из проекта манифеста о победе над Наполеоном, написанного А.С. Шишковым: «Существующая между ними (крестьянами и помещиками – *Н. М.*) на обоюдной пользе основанная, русским нравам и добродетелям свойственная связь, прежде и ныне многими опытами их взаимного друг к другу усердия и общей любви к отечеству ознаменованная, не оставляет в нас нисколько сомнения, что, с одной стороны, помещики *отеческою* о них, яко о *чадах* своих, заботою, а с другой – они, яко усердные *домочадцы*, исполнением *сыновних* обязанностей и долга приведет себя в то счастливое состояние, в коем добронравные и благополучные *семейства* процветают»²⁶. Апелляции к семейной модели во множестве встречаются и в дневниковых записях, и в частной переписке эпохи; так, например, один из русских корреспондентов госпожи де Сталь писал ей в 1812 г.: «Чувство, которым русский поселянин связан со своим положением, не ограничивается его гражданскими отношениями, теми отношениями, которые определяются словом рабство. <...> Да, надо признать весьма человеческим тот род рабства, при котором господин зовет раба братом (“братец”), а раб говорит господину “ты” и называет его отцом (“батюшка”)»²⁷.

Показательно, что в императорских манифестах 1812–1813 гг., вышедших из-под пера А.С. Шишкова, не упоминается Петр I – «кумир русской государственности многих десятилетий, символ проевропейской классицисти-

ческой идеологии, но есть другие имена: «Да встретит он [враг] в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина». Таким образом петровской схеме «ранжирного» государства, закрепляющей разделение сословий в соответствии с их обязанностями и правами, противопоставляется идея некоего «сословного единства», проникнутого национальным духом»²⁸. Эта же идея наглядно отразилась в медальоне А.Н. Оленина на всеобщее ополчение 1812 года²⁹: вокруг алтаря с надписью «За Веру, Царя и Отечество» расположены фигуры дворянина, священника, купца и крестьянина, над ними полукругом фраза – «Мы все в одну сольемся душу»³⁰.

Одним из наиболее эффективных инструментов утверждения и прославления национального единства является апелляция к героическому национальному прошлому. По-видимому, именно к эпохе антинаполеоновских кампаний следует относить начало формирования общенациональной исторической памяти – процесса, который является одним из наиболее ранних и важных признаков становления национального самосознания³¹. Угроза извне спровоцировала потребность в исторической самоидентификации, которая не могла быть удовлетворена государственно-династической историографией с ее хронологически последовательным нарративом. Опорой для идентификации стали кульминационные эпизоды истории, подававшие аналогическому толкованию и воодушевлявшие национальное самолюбие.

До начала XIX в. в России единственным протагонистом и носителем исторической памяти было «благородное сословие». История рода, сопологаемая с историей государства, позволяла потомственному дворянству апроприировать национальный исторический опыт и трактовать его как сословную (и личную) прерогативу. В начале века ситуация начала меняться, и хотя «генеалогическая» история осталась исключительной привилегией дворянства, потребность в формировании общенациональной исторической памяти привела к появлению новых национальных героев³² – Ивана Сусанина, Козьмы Минина и Авраамия Палицына, крестьянина, купца и священнослужителя³³. Д.Н. Свербеев вспоминал об открытии памятника Минину

и Пожарскому на Красной площади в феврале 1818 г.: «Не вдруг стала понятна всем тайно-либеральная мысль тогдашнего времени, и не сейчас по открытии памятника сделалась она предметом толков и суждений; рано ли, поздно ли, однако догадались, что в надписи на памятнике («Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия». – Н. М.) гражданин (собственно говоря, мясник) Минин выставлен был первым, а князь Пожарский, Рюрикович, поставлен вторым, да и самое слово гражданин так приятно первый раз коснулось русского уха»³⁴. Отсылая одновременно к давнему и недавнему прошлому – к событиям Смутного времени и наполеоновского нашествия – памятник напоминал, что народное согласие, основанное на единении сословий и породившее царствующую династию, является источником спасения и залогом процветания России³⁵.

Император Александр успешно апеллировал к национальным чувствам во время Отечественной войны, став на какое-то время центральной фигурой современной национальной мифологии³⁶. Культ его как «отца Отечества» достиг своего апогея в 1812–1815 гг.³⁷ С возвращением императора в Россию после заграничных походов связывались главные надежды на внутренние преобразования и улучшение положения разоренных войной подданных³⁸. Эти ожидания были тем более обоснованны, что благодаря реформаторской политике Александра западные окраины России (Польша, Финляндия, Прибалтийские губернии и даже гораздо более отсталая Бессарабия) переживали экономический и культурный подъем, подкрепленный их особым государственно-правовым статусом в составе Российской империи³⁹. Однако социально-экономические реформы так и не распространились на великорусские губернии. Привилегированное положение окраин вызывало крайнее раздражение значительной части русского общества и усиливало чувство ущемленного национального самолюбия, а политика императора в польском вопросе казалась прямым ущербом интересам России⁴⁰.

Отсутствие решительных мер во внутренней политике мешало быстрому восстановлению разрушенной войной экономики. Европоцентризм государственного курса Алек-

сандра плохо сказывался на экономическом положении России: русско-австрийская и русско-прусская таможенные конвенции подрывали отечественную промышленность, легитимистская позиция императора в греческом вопросе сильно сократила вывоз хлеба южными путями и привела к застою в хлебной торговле⁴¹. Одновременно в обществе формировалось убеждение в неизбежно «антинациональном» характере реформ, которые мог бы предпринять Александр: показательно, что слухи о готовящемся освобождении крестьян вызвали одинаково негативную реакцию и у консерваторов, и у радикалов⁴².

Важным фактором, определившим национальный пафос оппозиции, кроме ориентации внешней и внутренней политики Александра на Европу, было его очевидное нежелание использовать национальные элементы во властном дискурсе (единственным исключением был период пребывания двора в Москве в 1817–1818 гг., о котором мы будем подробно говорить ниже). После возвращения из заграничных походов, как отмечает Р. Вортман, «Александр явно избегал проявлений национального чувства и даже не изъявил публичных соболезнований пострадавшим жителям Москвы. В отличие от Австрии и Бельгии, в России он не посетил ни одного из памятных мест сражений 1812 года. Он проигнорировал 26 августа – годовщину Бородинской битвы, не поехав на поле сражения и не отслужив панихиду по погибшим в Москве. Однако в этот день он нашел время для того, чтобы отправиться на бал»⁴³. Побывав в 1816 г. на Бородинском поле, Н.Н. Муравьев писал: «Никакой памятник не сооружен в честь храбрых русских, погибших в сем сражении за отечество. Окрестные селения в нищете и живут мирскими подаяннями, тогда как государь выдал 2 000 000 р. русских денег в Нидерландах жителям Ватерлоо, потерпевшим от сражения, бывшего на том месте в 1815 году»⁴⁴.

После 1815 г. началась постепенная деструкция национальной александровской мифологии. Емкое описание эволюции публичного облика императора дал в своих записках декабрист И.Д. Якушкин: «Никогда прежде и никогда после не был он так сближен со своим народом, как в это время (1812 г. – *Н. М.*), в это время он его любил и уважал. <...> В 13-м году имп[ератор] Александр перестал быть ца-

рем русским и обратился в импер[атора] Европы. <...> он был прекрасен в Германии, но был еще прекраснее, когда мы пришли в 14-м году в Париж». После возвращения армии из заграничного похода Александр торжественно въезжал во главе 1-й гвардейской дивизии в Петербург «на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую уже он готов был опустить перед императрицей. Мы им любовались, но в самую эту минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Импер[атор] дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя»⁴⁵. Якушкин возмущен тем, как принцип надсословного единства, активно использовавшийся императором во время войны, был наглядно попран после ее окончания.

Действительно, после перехода войны за пределы России Александр отказался от роли «русского царя» ради нового амплуа «спасителя Европы». В эпоху освобождения Европы от Наполеона и создания Священного союза главенствующим принципом для него стало мессианство мистического толка, построенное на провиденциальном осмыслении роли монарха⁴⁶. Новая идеология вызвала неоднозначную реакцию в обществе: недовольные увидели в ней пренебрежение или прямую угрозу «национальным устоям», и прежде всего православию. Одним из главных провоцирующих моментов послужила деятельность Библейского общества⁴⁷. Основанное в декабре 1812 г. и с самого начала возглавленное обер-прокурором Синода и будущим министром духовных дел и народного просвещения (с 1817 г.) кн. А.Н. Голицыным, Общество пользовалось особым покровительством императора, а его деятельность практически отождествлялась с государственной политикой. Основной целью Общества был перевод и распространение Священного Писания на национальных языках, первоначально только среди иноверцев и инославных, а затем и среди православных. Для этой цели в 1816 г. был начат перевод Библии с церковнославянского на русский язык. Парадоксальным образом главными противниками перевода оказались именно сторонники национального направления в литературе: члены «Беседы любителей русского слова» – А.С. Шишков, Е.И. Станевич, кн. С.А. Ширинский-Ших-

матов, митрополит Евгений (Болховитинов) и другие. Сама идея такого перевода вступала в очевидный конфликт с лингвистической теорией Шишкова, согласно которой русский и церковнославянский были разными стилистическими уровнями одного языка. Для Шишкова и его единомышленников русский перевод Священного Писания был не чем иным, как переложением с высокого языка на низкий, с языка церкви на язык страстей.

Однако лингвистический вопрос был лишь частью более общих конфессиональных противоречий: по духу и по уставу своему Библейское общество носило надконфессиональный характер, а сама традиция непосредственного контакта мирянина со Словом Божиим была тесно связана с протестантизмом. Наконец, влияние Библейского общества на политику в области духовных дел подкреплялось мощной «волной немецкого пиетизма и старого масонского мистицизма»⁴⁸. В результате в последнее десятилетие Александровского царствования сторонники строгого православия не без основания считали государственную религиозную политику экуменической и противоречащей национальной религии.

Недовольство в обществе вызывали и связанные с космополитическими интересами Александра его постоянные поездки за границу, и расходы на содержание в мирное время огромной армии. Так, агент тайной полиции сообщал из Смоленска, что «много слышал о ропоте дворян на государя, что даже публично ругают государя разными бранительными словами; выдумали также, что будто бы Московский Сенат прислал депутата в Лайбах требовать от государя отчет, почему он так долго живет за границею и на что издерживал столько денег»⁴⁹. Вообще, отчетливая ксенофобия, характерным примером которой могут служить антинемецкие настроения в армии⁵⁰, выступала существенным элементом общественных настроений рубежа 1820-х годов.

В этот период произошла национальная идеологизация недовольства, носившего по сути своей конкретно-политический характер. «Вся политика Александра I, и внутренняя, и внешняя, встречалась с резкой и раздраженной критикой, с неумолкавшей оппозицией, которая отражала интересы и требования разных общественных групп, но объединялась одною чертою: национально-патриотиче-

ским настроением, враждебным “императору Европы”»⁵¹. Центральным топосом общественной идеологии стало утверждение «нерусского» характера власти: царствующей фамилии, двора, бюрократии и т. д. Типичные уже для сатирической литературы XVIII в. инвективы против иностранных наставников в определенном контексте также имплицитно указывали на антинациональность правящей элиты. Напомним, что приписываемое Рылееву стихотворение «На смерть Чернова» начиналось именно с этого аргумента: «Нет! Не отечества сыны / Питомцы пришлецов презренных. / Мы чужды их семей надменных: / Они от нас отчуждены. / Так говорят не Русским словом, / Святую ненавидят Русь, / Я ненавижу их, клянусь, / Клянуся честью и Черновым»⁵².

Непопулярные правительственные меры оппозиция устойчиво объясняла безразличием власти к национальным интересам или ее страхом перед народом (этот аргумент чаще всего возникал в связи с многочисленностью войска, разорительной для государства). Вновь актуализировалось убеждение в нелюбви Александра к русскому дворянству, о котором императора предупреждал еще Карамзин в «Записке о Древней и Новой России» («Самодержавие есть Палладиум в России: целость его необходима для ея счастья; из этого не следует, чтобы Государь, единственный источник власти, имел причины унижать дворянство, столь же древнее, как и Россия») ⁵³. Своеобразную сводку общественных настроений, недвусмысленно указывающую на национальную окраску массового недовольства, находим в конспекте разговора М.П. Погодина и П.П. Новосильцева летом 1822 г.: «О Государе, о его недовольности, об иностранцах, о Карамзине и его Истории, о многочисленности войска и вреде от него для государства; о людях, окружающих трон, о Петре»⁵⁴. Это не первая и не единственная фиксация подобных настроений в дневнике Погодина – в июле 1820 г. со своим ближайшим другом А.М. Кубаревым он говорил: «Об Обществе сынов отечества; – ему досадно, что у нас на <троне> Немцы. Будучи 14 лет или еще раньше я сам жалел об этом. (С корнем вон. – *зачеркнуто*) – Кто у нас воспитывает Государей? – Иностранцы»⁵⁵; в сентябре 1820 г. Погодин записывал: «толковали о пристрастии русских бояр к иностранцам», тот же Кубарев объявил: «Нам

нужен Петр, божественный Петр, который бы одним ударом искоренил это гибельное для России пристрастие, заставил бы любить отечественное; гроза, гроза великая может только очистить нравственный наш воздух»⁵⁶.

Так сформировалось одно из «общих мест» оппозиционной идеологии конца 1810 – начала 1820-х годов: необходимость решительных изменений в интересах всей России, которые должны носить русский характер и иметь своей целью восстановление устоев русской жизни⁵⁷. Развитие этого тезиса происходило в двух сферах – государственно-консервативной, наиболее заметными фигурами которой были Карамзин и Шишков⁵⁸, и либерально-реформистской, в которой началось формирование тайных обществ. После восстания декабристов одна из ипостасей национальной идеи легла в основу государственной идеологии, другая на долгие годы стала предметом преследований и подозрений власти⁵⁹.

Глубокое влияние, оказанное общественными настроениями 1812 года на зарождение и развитие тайных обществ, неизменно отмечали и сами декабристы, и историки движения. Емкое определение этого влияния дал кн. С.П. Трубецкой, утверждавший на следствии, что «предлог составления тайных политических обществ есть любовь к Отечеству»⁶⁰. Из показаний и мемуаров декабристов явственно следовало, что патриотические идеи служили и наиболее распространенной причиной вступления в тайное общество, и сферой примирения значительной части политических и идеологических противоречий между его участниками. Исходя из этого можно предположить, что в декабристском дискурсе «любовь к Отечеству» являлась «неким исторически конкретным комплексом идеологических и культурных представлений»⁶¹. Попробуем выделить и описать некоторые из составляющих этого комплекса.

Как мы уже говорили, концептуальное и риторическое наследие 1812 года, после войны ставшее ненужным власти, продолжало разрабатываться оппозицией. Ключевая для идеологии Отечественной войны идея мессианского призвания русского народа, наглядно подтвержденная вкладом России в спасение Европы, вступила в очевидный

конфликт с реальным экономическим и политическим состоянием основной части населения Российской империи. В явном или скрытом виде это противоречие постоянно присутствовало в декабристской риторике; вспомним, например, вступление к конституции Никиты Муравьева: «Все народы Европейские достигают Законов и свободы. Более всех их народ Русской заслуживает и то и другое»⁶². Знаменательным образом патриотические мотивации разрешения данного конфликта зачастую отодвигали на задний план филантропические цели движения; другими словами, русский народ должен был стать свободным для осуществления своей исторической миссии, а не только потому, что рабство бесчеловечно. Характерный пример тому находим в показаниях Кюхельбекера: объясняя мотивы вступления в тайное общество, он говорил, что, «взирая на блистательные качества, которыми Бог одарил народ русский, народ первый в свете по славе и могуществу своему, по своему <...> языку, коему в Европе нет подобного, наконец по радушию, мягкосердию, остроумию и непамятозлобью, душою скорбел, что все это подавляется, все это вянет и, быть может, упадет, не принеся никакого плода в нравственном мире»⁶³.

Задуманные декабристами политические преобразования описывались с помощью топоса «спасение Отечества», связь которого с «духом 1812 года» очевидна. Центральный для всякой военно-патриотической риторики, этот топос включает в себя или тесно ассоциируется с рядом других концептов сходного генезиса, и прежде всего с идеей жертвы: готовность индивидуума пожертвовать своей жизнью во имя неких надличностных ценностей лежит в основе военного героизма. Идеология 1812 года предлагала в качестве высшей ценности триаду «Бог, Царь, Отечество»; в декабристской идеологии от нее осталась только последняя часть, но тем больше оказался удельный вес этой части.

Готовность умереть за Отечество, естественная на войне, в ситуации мирной жизни приобрела особую значимость, став едва ли не главным этическим оправданием восстания. При этом актуализировалась архетипическая составляющая идеи жертвы: лучшее приносится в жертву для обретения всеобщего благополучия. Ее отзвуки слышны и

в рылеевских строках «Известно мне: погибель ждет / Того, кто первый восстает / На утеснителей народа, – / Судьба меня уж обрекла, / Но где, скажи, когда была / Без жертв искуплена свобода», и в знаменитой фразе кн. А.И. Одоевского: «Умрем, братцы, ах, как славно мы умрем», произнесенной в самом начале восстания, когда исход дела был еще решительно неизвестен. Значимость идеи жертвы для декабристов сразу отметил и Николай I. «Когда этим злодеям сказали, что они, несомненно, сами пали бы первыми жертвами столь ужасного безумия, они дерзко отвечали, что знают это, но что свобода может быть основана только на трупах и что они гордились бы, запечатлевая своей кровью то здание, которое хотели воздвигнуть», – рассказывал он французскому послу в начале января 1826 г.⁶⁴

Одним из вариантов топоса «спасение Отечества» была идея «национального возрождения». Как и большинство национальных идеологий, декабристская идеология включала в себя идею «золотого века», согласно которой национальное будущее осмысляется как «возрождение» исконно присущего народу идеального устройства, разрушенного насильственным, чаще всего иностранным, вмешательством⁶⁵. Идеологический и дидактический потенциал идеи «золотого века» чрезвычайно богат: именно здесь локализируются проявления неиспорченного народного духа и основные образцы национальной добродетели. В идеологических построениях 1812 года как идеальное прошлое описывался конец Смутного времени, в котором видели момент объединения народа, поднявшегося на защиту Отечества. Для декабристов же «утраченным идеалом» зачастую служила Новгородская республика – воплощение свободолобивого духа русского народа и его способности к гражданскому устройству⁶⁶.

При отсутствии реальной внешнеполитической угрозы топос спасения неизбежно предполагает создание образа внутреннего врага. В роли конституирующего чужого в декабристской риторике почти неизменно выступали иностранцы. Идея борьбы с заповлонившими Россию чужеземцами – одна из самых устойчивых на всех этапах существования тайных обществ, от Священной артели до Северного и Южного обществ⁶⁷. Необходимо помнить, однако, что оппозиция иностранец–русский выстраивалась не по

этническому, а по гражданскому принципу: «иностранцем» мог называться всякий, не дорожающий интересами Отечества (ср. агитационную песню декабристов «Царь наш – немец русский»), напротив, чистокровные немцы Пестель и Кюхельбекер были самыми активными сторонниками «обрусения»⁶⁸. Известно, что в этом декабристы повторяли установки французского революционного правительства, объявившего французом всякого патриота, а иностранцем – всякого врага республики⁶⁹. Вместе с тем можно предположить, что существенное влияние на формирование гражданского национализма в декабристской среде оказало стирание этнической принадлежности в армии: для русского (а в еще большей степени для иностранного) участника и наблюдателя антинаполеоновской кампании и платовские казаки, и калмыцкий полк, вошедший в Париж на верблюдах, были, конечно же, «русскими»⁷⁰.

Влияние модели национального строительства, применявшейся во Франции в годы якобинской диктатуры, на декабристов отмечено неоднократно⁷¹. Установка декабристов на мононациональность будущего государства, на культурную и языковую унификацию населения, как и во Франции, имела своей конечной целью формирование новой нации, на которую опиралось бы новое государственное устройство. Однако нельзя преуменьшать и то влияние, которое оказала на участников тайных обществ идея надсловного единства. В декабристском дискурсе модель идеального единства, основанного на внеполитических предпосылках, спокойно сосуществовала с концепциями гражданского общества и единого правового пространства. Так, в «Зеленой книге» о целях Союза благоденствия говорилось, что он «старается примирить и согласить все сословия, чины и племена в государстве и побуждает их стремиться единодушно к цели правительства: *благу общему*, дабы из общего народного мнения создать истинное судилище, которое благодетельным своим влиянием довершило бы образование добрых нравов и тем положило прочную и непоколебимую основу благоденствия и доблести российского народа»⁷². Не менее характерный пример апелляции к народному единству, предвосхищающий триаду «официальной народности», обнаруживаем в письме кн. А.И. Одоевского: «Русский человек – все русский человек: мужик

ли, дворянин ли, несмотря на разность воспитания, все то же! Пока древние наши нравы, всасываемые с молоком <...> пока вера во Христа и верность государю его одушевляют, – то он храбр как шпага; тверд как кремь; он опирается о плечи 50 миллионов людей; единомыслие 50 миллионов его поддерживает...»⁷³.

Почти весь комплекс национальных воззрений декабристов более или менее эксплицитно отразился в их литературных выступлениях⁷⁴. Именно национальные элементы декабристского мировоззрения как наиболее «легальные» и «популярные» получили самое широкое распространение в культурной сфере. Патриотизм участников тайных обществ прежде всего привлек внимание власти после восстания. Николай I сразу же заметил, что заговорщики исполнены «любви к Отечеству, но в самом преступном направлении»⁷⁵.

Немедленно после воцарения новый император перехватил «национальную» инициативу у оппозиции предшествующему государю. Уже в первых документах николаевского царствования присутствовала апелляция к национальным чувствам и народному характеру⁷⁶. Так, в манифесте о восстании (20 декабря 1825 г.) всенародное единство, исполненное религиозного духа, противопоставлялось малочисленной группе отверженных («Тогда как все государственные сословия, все чины военные и гражданские, народ и войска единодушно приносили нам присягу верности и в храмах Божьих призывали на царствование наше благословение небесное, горсть непокорных дерзнула противостать общей присяге, закону, власти, военному порядку и убеждениям»). Здесь же декабристский заговор характеризовался как явление антинациональное: «сей суд и сие наказание <...> очистят Русь Святую от сей заразы, извне к нам занесенной <...> проведут навсегда резкую и неизгладимую черту разделения между любовью к отечеству и страстию, между желанием лучшего и бешенством превращений <...> покажут, наконец, всему свету, что российский народ, всегда верный своему государю и законам, в коренном его составе также неприступен тайному злу безначалия, как недосыгаем усилиям врагов явных»⁷⁷.

Манифест по случаю окончания следствия над декабристами (13 июля 1826 г.) был по существу краткой идеологической программой нового царствования⁷⁸, во многом предвосхитившей идеологию официальной народности. В самом начале манифеста император призвал «совершить последний долг воспоминания, как жертву очистительную за кровь русскую, за Веру, Царя и Отечество на сем самом месте пролиянную, и вместе с тем принести Всевышнему торжественную мольбу благодарения. Мы зрели благотворную Его десницу, как Она расторгла завесу, указала зло, помогла нам истребить его собственным оружием – туча мятежа взошла как бы для того, чтобы потушить умысел бунта»⁷⁹. В двух предложениях были соединены три идеи, которым предстояло стать ключевыми в национальной идеологии николаевского царствования: идея жертвы жизнью за царя, актуализировавшаяся в сусанинском мифе⁸⁰, образ спасительной Десницы Всевышнего, активно разрабатывавшийся в исторической драме 1830-х годов⁸¹, и, наконец, прямая предшественница уваровской триады «православие, самодержавие, народность» – формула «за Веру, Царя и Отечество».

В манифесте император неоднократно апеллировал к идее всенародного единства, называя ее залогом недоступности России «злу безначалия» и основой государственного благополучия («Так единодушным соединением всех верных сынов Отечества в течение краткого времени укрощено зло, в других нравах долго неукротимос»; «Все состоянии да соединятся в доверии к правительству. В государстве, где любовь к монархам и преданность к Престолу основаны на природных свойствах народа, где есть отечественные законы и твердость в управлении, тщетны и безумны всегда будут все усилия злонамеренных <...> при первом появлении, отверженные общим негодованием, они сокрушатся силою закона»). Из всех сословий особенно выделялось дворянство, как основная сила, связующая монарха и народ («ограда престола и чести народной»). Противопоставление России и Запада, России и революции описывалось через оппозицию «здоровье – болезнь». Отечество провозглашалось очищенным от «следствий заразы, столько лет среди его таившейся»; «зараза» была принесена с Запада иностранными наставниками, здоровая русская

нация осталась ей чуждой («не в свойствах, не в нравах русских был сей умысел»). Лучшим способом ограждения нравов от «порчи» император объявлял «отечественное, природное, не чужеземное воспитание», прославлению которого был посвящен обширный пассаж, предвосхищавший грядущую роль Министерства народного просвещения в распространении национальных начал⁸². Будущее России Николай усматривал не в подражании западным теориям, а в постепенном усовершенствовании «отечественных установлений»⁸³.

Источники идеологической топики манифеста очевидны: в основной своей части она представляла собой более или менее трансформированную идеологию 1812 года (идея надсловного единства, идея героической жертвы, мессианская идея, нравственное целомудрие русского народа). Другие элементы этой топики были антитезой космополитическим установкам поздней политики Александра (особое выделение дворянства, прославление «отечественного воспитания» и «отечественных установлений»). В этой связи интересно отметить, что хотя и в этом манифесте, как и 20 декабря 1825 г., Николай клялся «не иметь других желаний, как видеть Отечество наше на самой высшей степени счастья и славы, Провидением ему предопределенной», но уже не обещал, что его царствование станет продолжением царствования Александра.

Не только первые николаевские манифесты поражают своей подчеркнута национальной окраской – семиотичны в этом смысле и другие публичные жесты императора: вспомним, как вечером 14 декабря Николай показал солдатам Саперного батальона, спасшим в этот страшный день жизнь императорской фамилии, маленького наследника, вживе воспроизведя тем самым модель семейного единства царя и народа. Не менее показательным примером может служить знак взаимного признания суверена и подданных – инициированный Николаем троекратный поклон царя народу с Красного крыльца после коронации, который уже в конце XIX в. стали считать древней и чисто русской традицией⁸⁴.

Даже этих примеров достаточно, чтобы говорить о наличии у нового императора вполне определенных идеологических установок. Каким же образом могла сформиро-

ваться готовая национальная программа у великого князя, вступление которого на престол было, как принято считать, не вполне ожидаемым для него самого?

Основные представления Николая о природе и характере монархической власти в России сложились при дворе вдовствующей императрицы, где воспитывался будущий император. Хорошо известно, что на протяжении всего александровского царствования именно двор Марии Федоровны неизменно выступал оплотом легитимизма и центром династического сценария. Чтобы сохранить и приумножить свой политический вес, императрица-мать настойчиво манифестировала свой статус главы семейства и династии⁸⁵. Однако утверждение этого статуса происходило во многом в противовес властному сценарию Александра. Так, одним из самых эффективных способов подчеркивания своей значимости для Марии Федоровны была апелляция к памяти покойного супруга, неизбежно напоминавшая Александру (а вместе с ним и всему двору) о нелегитимности его восшествия на престол⁸⁶. Императрица-мать не только приняла на себя всю заботу о воспитании младших великих князей, но и всячески стремилась отдалить их от большого двора, решившись ради этого в 1809 г. даже на переезд в Гатчину (проницательный наблюдатель внутренней жизни двора граф Ж. де Местр называл это решение «страшной картой», которую разыгрывала императрица против своего старшего сына⁸⁷). Характерно, что стремление императрицы-матери полностью заключить младших великих князей в сферу своего воздействия проявилось одновременно с укреплением шансов Николая на наследование престола⁸⁸. Семейное неблагополучие Александра и Константина не позволяло надеяться на рождение у них наследников, и императрица-мать одной из первых связала династические ожидания с Николаем, на которого, в отличие от старших сыновей, она имела большое влияние. Следствием этого было ее стремление устроить брак Николая с прусской принцессой Шарлоттой⁸⁹ (первые мысли об этом браке появились у нее в том же 1809 г.) и удержать молодую семью в своей сфере, в особенности после рождения у Николая сына, будущего императора Александра II.

Свой династический сценарий императрица-мать успешно проецировала на патриархально-семейственную модель государственного устройства, которую, как мы помним, так недолюбливал Александр. Мария Федоровна не только развернула обширную филантропическую деятельность (попечение о вдовах, сиротах и убогих, заботы о женском воспитании и т. д.), вообще вполне традиционную для протестантских монархинь, но и возвела ее на уровень государственного начинания, транспонировав роль матери царского семейства на роль Матери Отечества. Характерно, что благотворительность императрицы Елизаветы Алексеевны отнюдь не пользовалась такой известностью – не только потому, что супруга Александра I распоряжалась значительно меньшими денежными средствами, чем императрица-мать, но и из-за полного отсутствия идеологического сопровождения, которым так умело окружала свои начинания последняя.

В обширной панегирической литературе, в значительной части являющейся произведениями выпускников учебных заведений, которым покровительствовала вдовствующая императрица, ее образ включал в себя, наряду с идеей Матери Отечества, христианские коннотации имени Марии⁹⁰. Параллель между императрицей-матерью и матерью Спасителя стала вполне устойчивой после войны 1812 года, когда за Александром закрепилась роль спасителя Отечества. Таким образом, Мария Федоровна получила свою роль в национальном сценарии, построенном в это время вокруг императора. Ее стремление закрепить этот статус ясно выразилось в празднике в честь возвращения Александра в Россию, устроенном ею в Павловске 27 июля 1814 г. Ритуал празднования был построен как национально-семейственная пастораль: на фоне сельских декораций хоры «четырёх возрастов» в русских одеждах встречали царя-отца. Символическая роль Марии Федоровны на празднике едва ли не превосходила своей значимостью роль покорителя Европы: императрица-мать метонимически отождествлялась со всей Россией⁹¹.

По-видимому, с самого начала царствования Александра императрица-мать стремилась реализовать собственный сценарий имперского масштаба и оказывать влияние на реальную политику⁹². Однако отсутствие какой бы

то ни было программы не позволило ей создать своей партии. В результате малый двор превратился в место конденсации тех элементов, которые в тот момент оказывались невостребованными в «большой» политике Александра. В своих попытках корректировать государственную политику и оказывать влияние на идеологическую практику недовольные тем или иным поворотом государственного курса делали своим рупором императрицу-мать. Проевропейские и реформаторские установки Александра привели к тому, что в 1800–1810-х годах вокруг Марии Федоровны консолидировался в основном национально-консервативный круг. В особенности после Тильзитского мира малый двор, наряду с тверским кружком великой княгини Екатерины Павловны, претендовал на роль альтернативного политического центра, разрабатывавшего национально-изоляционистскую модель⁹³. В 1807–1812 г. императрица-мать стремилась привлечь к своему двору крупные политические и культурные фигуры, известные антифранцузскими убеждениями⁹⁴. В 1812 г. Мария Федоровна выступила основной фигурой «партии мира», возражавшей против перехода войны за пределы России. Начиная с 1807 г. национальный элемент играл все более существенную роль в ее риторической практике; ее примеру следовали младшие великие князья, которые, по воспоминаниям современника, восхищались «всеми тем, что есть русское»⁹⁵.

После окончания Отечественной войны малый двор остался центром притяжения для национально-консервативного элемента: среди его постоянных посетителей были А.С. Шишков и издатель главного патриотического журнала «Русский вестник» С.Н. Глинка, а с 1816 г. после долгого периода настойчивых приглашений в круг императрицы оказался вовлечен и Карамзин⁹⁶. Осенью 1817 г. по просьбе Марии Федоровны историк написал «Записку о московских достопамятностях», содержащую целый ряд ключевых концептов национально-консервативного курса⁹⁷. Императрица-мать чрезвычайно упорно стремилась обозначить свое влияние и в культурной сфере. При отсутствии осознанной культурной политики это влияние осуществлялось за счет щедрого покровительства литераторам и художникам, а также через регулярные контакты с наиболее значимыми в этой среде фигурами. В послевоенный период

при малом дворе регулярно бывали главы основных национальных культурных институций: А.Н. Оленин – президент Академии художеств и директор Императорской публичной библиотеки, многократно упоминавшийся А.С. Шишков – президент Российской академии и глава «Беседы», С.С. Уваров – попечитель Петербургского учебного округа и президент (с 1818 г.) Императорской академии наук. «Номенклатурный» подход прослеживался и в ангажировании литераторов – «патриарха» Г.Р. Державина, «первого русского баснописца» И.А. Крылова, «русского Гомера» Н.И. Гнедича, «певца 1812 года» В.А. Жуковского.

При малом дворе в непосредственном контакте с национально-консервативной средой были заложены основы будущей политической системы Николая. Если же говорить о главных образцах, повлиявших на модели репрезентации нового императора, необходимо особенно упомянуть пребывание императорской фамилии в Москве в сентябре 1817 – июне 1818 г., когда Николай принял участие в первом за все александровское царствование идеологическом сценарии, соединившем в себе династический и национальный элементы. Основным режиссером этого сценария выступил сам Александр, императрице-матери и другим членам императорской фамилии принадлежала в нем скорее ассистирующая роль. Именно император принял решение о том, что будущий наследник престола, появления которого ожидали в семье Николая и Александры Федоровны, должен родиться в «стенах Москвы, города царей, древней столицы нашей Святой Руси»⁹⁸ (последним русским монархом, родившимся в Кремле, был Петр I). Тем самым император подчеркивал историческую и национальную укорененность династии и вверял своего возможного преемника городу, ставшему, благодаря событиям 1812 г., символом народного энтузиазма и жертвенности. Значение этого жеста усиливалось целым рядом других идеологически осмысленных акций⁹⁹. Сразу по приезде в Москву 30 сентября 1817 г. Александр с Красного крыльца «на три стороны» кланялся народу, встречавшему своего государя¹⁰⁰; этот вновь изобретенный «древний» ритуал, продублированный Николаем во время коронации 1826 г., мог быть прочитан и как знак благодарности царя жителям города, так страшно пострадавшим в 1812 г., и как символ исторически

легитимированного единства царя и народа. Торжественно открытый 20 февраля 1818 г. памятник Минину и Пожарскому актуализировал идею надсословного единства, ставшего источником спасения России в Смутное время и в Отечественной войне. Провиденциально истолкованные события 1812 года были смысловым центром еще одной парадной акции: 12 октября 1817 г. в пятую годовщину выхода французских войск из горящей столицы был заложен Храм Христа Спасителя на Воробьевых горах. В концепцию нового собора были включены не только религиозные, но и чисто мемориальные функции: храм-памятник должен был стать, с одной стороны, местом молитвенного поминовения, а с другой – своего рода национальным историческим музеем, где сохраняется память о событиях и героях народной войны¹⁰¹.

Московские церемониалы 1817–1818 гг. поддерживали сложившуюся в 1812–1814 гг. модель национальной мифологии, построенную вокруг фигуры царя. Включение в эту модель августейшего младенца, преемника и тезки императора, не нарушало символической монополии Александра, а скорее укрепляло ее, продлевая временную перспективу славы, гармонии и процветания царствующей династии (в эту же перспективу встраивался теперь и отец Александра-младшего – Николай)¹⁰². Однако стройная мифологическая конструкция начала разрушаться в момент своего апофеоза, и парадоксальным образом импульс разрушения исходил от самого императора. Именно к московскому периоду жизни двора относятся некоторые из тех действий и интенций Александра, которые породили жесткую оппозицию различных общественных групп. Речь на открытии первого Сейма Царства Польского 15 марта 1818 г., сулившая распространить конституционные установления на всю Россию; приватно высказанные намерения отдать Польше несколько русских губерний, а также освободить русских крестьян даже ценой гражданской войны – все это страшно возбудило умы. Известны радикальные предложения, вплоть до цареубийства, которые были высказаны в кружке будущих декабристов, собравшихся в Москве осенью 1817 г.¹⁰³ Видимая угнетенность Александра, узнавшего об этих замыслах уже в начале следующего года, была, вероятно, симптомом разочарования в успехе

национального проекта, к которому он вернулся впервые после окончания войны. С этого времени национально-исторический инвентарь окончательно уходит из властного сценария Александра. Однако в общединастический сценарий национальные элементы оказались встроены так прочно, что новый император мог свободно оперировать уже готовыми по существу моделями.

Николай, в отличие от Александра, имел твердые основания апеллировать к династическому сценарию. Все его поведение в период междуцарствия, как он сам неоднократно подчеркивал впоследствии, было продиктовано стремлением соблюсти правила престолонаследия, установленные законом о царствующей фамилии. Ради принципа легитимизма он был готов поступиться не только властью, но и жизнью. Статус Отца Отечества, присвоенный императору в общественном мнении за подавление мятежа, проецировался на роль отца семейства (вспомним аналогичную проекцию во властном сценарии Марии Федоровны). Легитимный монарх, образцовый семьянин и отец наследника мужского пола – соединение всех этих качеств предвещало счастливое будущее династии Романовых, а с ней и всей России. Закономерным образом сценарий коронационных торжеств был построен как апофеоз патриархально-семейной модели, в центре которой стояла августейшая фамилия¹⁰⁴.

Значимость идеи династии для нового государя была сразу же расшифрована и подхвачена обществом: множество примеров тому мы находим в текстах, посвященных коронации¹⁰⁵. Интересно отметить, что события декабря 1825 г. через аналогии со Смутным временем осмыслились как новое начало династии Романовых. Богатый идеологический репертуар на материале Смуты был разработан уже в 1807–1812 гг., но в николаевское царствование акценты сместились и на первый план выступили элементы, допускавшие аналогии с ситуацией междуцарствия: мотив искушения благородного героя царским венцом и мотив чудесного избрания Михаила. Таким образом, в Николае объединялись черты князя Пожарского – спасителя России, не захотевшего стать узурпатором престола, и Михаила Федоровича, принявшего этот престол для блага Отечества¹⁰⁶.

Если поиск исторических параллелей с эпохой Смутного времени в обществе был, по-видимому, спонтанным,

то память о войне 1812 года Николаи стремился включить в свой сценарий вполне сознательно. Уже на коронации он настойчиво говорил о необходимости воздвигнуть в Москве Триумфальные ворота в память событий Отечественной войны (заложены в 1829 г. в годовщину битвы при Кульме и закончены в 1834 г.). В январе 1826 г. началось сооружение Военной галереи Зимнего дворца (торжественное открытие состоялось уже 25 декабря, в день традиционного празднования победы над французами). В 1827 г., в пятнадцатую годовщину Бородинского сражения, заложены новые Триумфальные ворота у Нарвской заставы в Петербурге (открыты в 1834 г. в очередную годовщину битвы при Кульме). В 1829 г. Николай утвердил проект Александровской колонны, посвященной памяти покойного императора и победе в войне 1812–1814 гг. (монумент торжественно открыт 30 августа 1834 г., в день тезоименитства Александра). Наконец, в это же время началась новая стадия сооружения Храма Христа Спасителя в Москве: технические неудачи строительства на Воробьевых горах и выявленные финансовые нарушения дали повод в 1828 г. пересмотреть старый проект; был организован новый конкурс, и весной 1832 г. император утвердил эскизы и чертежи К. Тона. Через эти монументальные жесты Николай манифестировал свою преемственную связь с идеологией 1812 года и подтверждал свои притязания на роль нового спасителя Отечества и главного героя национальной мифологии¹⁰⁷.

Показательно, что Николай решительно поменял стиль Храма: вместо утвержденного покойным императором неоклассицистского проекта А. Витберга он выбрал проект в византийском стиле. Общая интенция нового императора распространить «древний» стиль в культовой архитектуре ясно обозначилась уже в 1827 г.¹⁰⁸ Опора на допетровскую стилистику могла расцениваться как средство консервации национальных основ русской жизни в наиболее уникальном, конфессиональном ее сегменте¹⁰⁹. Вместе с тем в этом можно было усмотреть и экспансионистские амбиции: проягивая нить культурного и религиозного тождества в многовековую древность, Николай получал дополнительное основание для претензий на византийское наследие.

Именно в этом ключе были прочитаны события русско-турецкой войны 1828–1829 гг., когда, как сообщали

агенты III отделения, в обществе надеялись, что «государь вступит в Константинополь с победоносным войском и что современники и потомство присоединят к его имени прозвание: Николай Византийский, для вечной славы России»¹¹⁰. Обстоятельства этой кампании коррелировали с ключевыми моментами национальной мифологии¹¹¹. Война с Турцией за освобождение единоверных греков воспринималась как «война за веру», что пробуждало мессианские настроения: Россия, как и в 1812 г., выступала оплотом «истинного православия». Вновь активизировалась идея «народной войны»: эту кампанию называли «делом народным, делом всей России»¹¹². Сама тема Константинополя–Царьграда–Византии обладала богатым мифогенным потенциалом, напоминая одновременно и о победоносном походе Олега на Царьград, и о южной экспансии России в екатерининское царствование, и о греческом проекте, и, наконец, о византийских корнях российской монархии. Победоносное завершение войны позволяло рассчитывать на то, что отныне Россия станет главной покровительницей Греции и руководителем Порты в вопросах европейской политики. Так формировался новый взгляд на Россию как на проводника цивилизации с Запада на Восток¹¹³. Эпохальная миссия примирения двух половин мира постепенно заслоняла собой петровское утверждение России как европейской державы.

Русско-турецкая война 1828–1829 гг., как и предшествовавшая ей персидская кампания, показала, что в отличие от предыдущего царствования геополитические интересы России переместились из Европы на Восток. Отказ от александровского европоцентризма был обозначен и во внутренней политике, которой, в особенности в первые годы царствования, Николай отдавал неизмеримо больше времени и сил, чем устройству европейских дел. Как компромисс между унаследованным от Александра амплуа «императора Европы» и новой ролью «русского царя» мог быть прочитан образ Петра Великого, стремление подражать которому Николай продемонстрировал немедленно после воцарения¹¹⁴. Свою связь с великим пращуром новый император подчеркивал на символическом уровне: во время коронации он прикладывался к кресту, «осенявшему грудь Петра Великого во время Полтавской битвы»¹¹⁵; впо-

следствии он никогда не расставался с иконой, бывшей с Петром под Полтавой¹¹⁶. На поведенческом уровне Николай следовал Петру, акцентируя свою неутомимость, трудолюбие, стремление лично вникать во все тонкости государственного управления и стремительно разрешать запутанные проблемы¹¹⁷.

В николаевском сценарии Петр I выступал символом стремительных преобразований «сверху»: его образ удовлетворял одновременно и тяготению консервативного круга к сильной центральной власти, и надеждам либеральной части общества на реформы¹¹⁸. Однако роль Петра как национального демиурга в николаевском сценарии была явно важнее европейско-просветительской составляющей его деятельности. Знаменательно, что из петровской мифологии исчезает образ «окна в Европу», заменяясь в общественной топике образом китайской стены, которой следовало оградить молодую Россию от проникновения в нее революционной заразы, или осажденной крепости, противостоящей пропитанной духом мятежа и анархии Европе. Первое известное нам обращение Николая к этому образу датируется декабрем 1825 г., когда новый император сказал Михаилу Павловичу: «Революция на пороге России, но клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока, божиею милостью, я буду императором!»¹¹⁹.

Итак, подводя итоги настоящей работы, мы можем констатировать, что основной набор моделей и топосов, эксплуатировавшихся русской национальной идеологией XIX в., почти полностью сложился к концу 1820-х годов. Начало следующего этапа в развитии национальной идеологии было обозначено бурными событиями начала 1830-х годов – Июльской революцией во Франции, польским восстанием, холерными бунтами и т. д. Отличительной особенностью нового этапа стала активная разработка этой топике в литературе, журналистике, историческом и историческом нарративе, сопровождавшаяся неявной, но от того тем более напряженной борьбой за право транслировать и интерпретировать новую правительственную идеологию и таким образом влиять на властный дискурс, на политику и на общественное мнение.

Примечания

¹ Пользуюсь случаем выразить глубокую признательность А.Л. Осповату, оказавшему существенное влияние на мои представления об идеологических установках Николая I, и Н.Г. Охотину, в обсуждениях с которым сложились основные фрагменты настоящей работы. Излишне говорить, что ответственность за все недостатки исследования лежит исключительно на его авторе. В свое оправдание замечу только, что попытка связать тот или иной идеологический процесс с историческим и культурным контекстом неминуемо влечет за собой опасность компилятивности и одновременно неполноты, поскольку, с одной стороны, приходится использовать общеизвестный материал и учитывать распространенные историографические концепции, с другой – сама специфика предмета определяет фрагментарность описания: в случае национально окрашенных идеологических моделей мы имеем дело не с линейным и однородным явлением, а с целым конгломератом дискурсивных и символических практик, порождаемых различными, часто противоборствующими, социальными группами.

² Из общих работ на эту тему назовем: *Живов В.М.* Язык и культура в России XVIII века. М., 1996; *Милюков П.Н.* Национализм и европеизм // Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. М., 1995; *Rogger H.* National Consciousness in XVIII Century. Cambridge (MA), 1969; *Serman I.* Russian National Consciousness and its Development in the Eighteenth Century // *Russia in the Age of the Enlightenment*. L., 1990. P. 40–56; *Walicki A.* The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century Russian Thought. Oxford, 1969.

Особенно отметим работы известного историка архитектуры Е.И. Кириченко, в которых, в частности, показана роль национальных и православных элементов в архитектуре и топонимике первой половины XVIII в.: *Кириченко Е.И.* Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII – начала XX в. М., 1997. С. 24–80; *Она же.* Священная топонимика российских столиц: взаимосвязь и взаимовлияние // *Россия/Russia*. 1999. № 3 (11). С. 20–35.

Из исследований более ранних проявлений национальной идеи в России назовем: *Bushkovish P. The Formation of a National Consciousness in Early Modern Russia // Harvard Ukrainian Studies. 1986. December. Vol. 10. № 3–4. P. 355–376; Cherniavsky M. Russia // National Consciousness, History, and Political Culture in Early-Modern Europe. Baltimore, 1975; Hosking G. The Russian National Myth Repudiated // Myths and Nationhood. L., 1997. P. 198–210.* Не так давно Л. Гринфельд выдвинула гипотезу о том, что толчком к пробуждению русского национального самосознания стало так называемое *ressentiment* – «психологическое состояние, возникающее из подавляемых чувств зависти и ненависти», которое, как полагает исследовательница, сформировалось в русском обществе к концу XVIII в., когда стало очевидно, что России так и не удалось догнать Европу; удрученные этим обстоятельством, русские стали искать утешения в идее «народности», в свою очередь заимствованной у немцев (*Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge (MA), 1992. P. 15, 189–274.* Не имея возможности вести развернутую полемику с этой гипотезой в рамках настоящей статьи, скажем только, что она представляется нам скорее остроумной, чем убедительной.

³ Ср., например, попытки императрицы создать новую систему просвещения и ускорить формирование третьего сословия. В этой связи сошлемся на два классических очерка, не потерявших своего значения и по сей день: *Архангельский А.С. Императрица Екатерина II в истории русской литературы и образования. Казань, 1897; Рождественский С.В. Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII–XIX веках // Записки историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. Ч. CIV. СПб., 1912. С. 329–676.* Новейшую библиографию вопроса см.: *Eklof B. Russian Peasant Schools. Officialdom, Village Culture and Popular Pedagogy, 1861–1914. Berkeley; Los Angeles; L., 1997. P. 198–210.*

⁴ Ср. так называемый греческий проект императрицы; анализ проблемы и библиографию вопроса см.: *Зорин А.Л. «Кормя двуглавого орла...»: Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX ве-*

- ка. М., 2001. С. 31–64; см. также: *Кириченко Е.И.* «Греческий проект» Екатерины II в архитектурном пространстве Российской империи // XVIII век: Ассамблея искусств. Взаимодействие искусств в русской культуре XVIII века. М., 2000. С. 244–260; *Кучерская М.* Великий князь Константин Павлович – византийский император // К 60-летию профессора А.И. Журавлевой. М., 1998. С. 3–15.
- ⁵ *Wortman R.S.* Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Princeton (NJ), 1995. Vol. 1. From Peter the Great to the death of Nicholas I. P. 136.
- ⁶ Об этом см.: *Виноградов В.В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. С. 151 (краткая библиография работ о стилистических установках Екатерины); *Каменский А.Б.* «Под сенью Екатерины». Вторая половина XVIII века. СПб., 1992; *Козлов В.П.* Кружок А.И. Мусина-Пушкина и «Слово о полку Игореве». М., 1988; и др.
- ⁷ *Пыпин А.Н.* Кто был автором «Антидота»? Из истории литературной деятельности Екатерины II // Вестник Европы. 1901. № 5. С. 181–216; *Madariaga I.* Russia in the Age of Catherine the Great. New Haven; L., 1981. P. 330–335, 535–538. В работах советских исследователей приводится ряд ценных фактических сведений о попытках Екатерины оказывать влияние на литературу, однако содержательный анализ этих попыток зачастую глубоко идеологизирован: ср., например: *Гуковский Г.А.* Русская литература XVIII века. М., 1939. С. 287–290; *Макогоненко Г.П.* Радищев и его время. М., 1956. С. 214–229; см. также: *Гаврилова Л.М.* «Антидот» Екатерины II и «теория официальной народности» // Историографический сборник. Саратов, 1989. С. 144–153. Из новейших работ на эту тему, прежде всего, см.: *Зорин А.Л.* Указ. соч. С. 31–122; об идеологических установках драматургических опытов Екатерины см.: *Гардзюно С.* Либреттистика Екатерины II и ее государственно-национальные предпосылки // Россия/Russia. 1999. № 3 (11). С. 82–90; *Майофис М.* Музыкальный и идеологический контекст драмы Екатерины «Начальное управление Олега» // Русская филология. Вып. 7. Тарту, 1996. С. 66–73; *Шольц Б.* К вопросу о противоречиях концепции истории в русских исторических драмах 2-й половины XVIII века // Литература и история. СПб., 2001. Вып. 3. С. 70–109.

- ⁸ Разные аспекты этой темы исследуются в: *Артемяева Т.В.* Русская историософия XVIII века. СПб., 1996. С. 25–46; *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина русского языка» – неизвестное сочинение Семена Боброва) // Уч. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 358 (Тр. по русской и славянской филологии, XXIV). Тарту, 1975; *Лотман Ю.М.* Идея исторического развития в русской культуре конца 18 – начала 19 столетия // XVIII век. Сб. 13. Проблемы историзма в русской литературе: конец XVIII – начало XIX века. Л., 1981. С. 82–90; *Макогоненко Г.П.* Из истории формирования историзма в русской литературе // Там же. С. 3–65; *Миллюков П.Н.* Главные течения русской исторической мысли. М., 2002. С. 37–138; *Стенник Ю.В.* Идея «древней» и «новой» России в литературной и общественно-политической мысли второй половины XVIII века (Екатерина II, И.Н. Болтин, М.М. Щербатов) // Литература и история. СПб., 1997. Вып. 2. С. 7–48; *Успенский Б.А.* Из истории русского литературного языка XVIII – начала XIX вв. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985. С. 158–199.
- ⁹ Тема борьбы с галломанией и пропаганды русского образа мыслей в литературе последней трети XVIII в. так или иначе затронута во всех общих исследованиях этого периода; см.: *Берков П.Н.* История русской комедии XVIII века. Л., 1977; История русской драматургии XVII – первой половины XIX века. Л., 1982; *Стенник Ю.В.* Русская сатира XVIII века. Л., 1985; *Rogger H.* Op. cit.; и др.
- ¹⁰ В частности, см.: *Миллюков П.Н.* Главные течения... С. 114–119; *Моисеева Г.Н.* Археографическая деятельность Н.И. Новикова // Н.И. Новиков и общественно-литературное движение его времени. XVIII век. Сб. 11. Л., 1976. С. 24–36; *Она же.* «Слово о полку Игореве» и Екатерина II // XVIII век. Сб. 18. СПб., 1993. С. 3–30.
- ¹¹ *Соболева Н.А.* Российская городская и областная геральдика XVIII–XIX вв. М., 1981. С. 54–111.
- ¹² *Азадовский М.К.* История русской фольклористики. М., 1958. Т. 1. С. 42–111; Русская литература и фольклор (XI–XVIII вв.). Л., 1970. С. 180–350; *Трубицын Н.* О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века. СПб., 1912. С. 178–219.

- ¹³ Словарь Академии Российской. СПб., 1789–1794. Ч. 1–6; историю этого издания см.: История русской лексикографии. СПб., 1998. С. 59–126.
- ¹⁴ *Wortman R.* Op. cit. P. 171–215.
- ¹⁵ См.: *Бочкарев Н.* Консерваторы и националисты в России в начале XIX в. // Отечественная война и русское общество. 1812–1912. М., 1911. Т. 2. С. 194–220 (здесь же о дворе великой княгини Екатерины Павловны как о центре оппозиционной консервативно-националистической элиты).
- ¹⁶ Период 1805–1811 гг. может расцениваться как своего рода лаборатория национального идеологического строительства. Проблематика взаимного влияния литературы и идеологии в эту эпоху обобщена в работе: *Киселева Л.Н.* Идея национальной самобытности в русской литературе между Тильзитом и Отечественной войной (1807–1812): Дис. ... канд. филол. наук. Тарту, 1982; см. также продуктивное исследование: *Альтшуллер М.Г.* Предтечи славянофильства в русской литературе (Общество «Беседа любителей русского слова»). *Ann Arbor*, 1984; ряд интересных материалов вошел в сборники: *Война 1812 года и русская литература: Исследования и материалы.* Тверь, 1993; *Отечественная война 1812 года и русская литература XIX века.* М., 1998.
- ¹⁷ Здесь не время и не место обсуждать вопрос об исторически отдаленном генезисе этой идеологической конструкции. Так, Б.М. Гаспаров считает, что представление о Руси как о последнем оплоте «истинного христианства», которому суждено пережить пришествие Антихриста и восторжествовать над ним, было распространено уже в XVI в. и неоднократно оживлялось в последующие столетия в связи с различными кризисами во внутренней и внешней жизни страны, память о которых откладывалась «в культурной памяти в качестве все новых членов мифологической парадигмы» (*Гаспаров Б.М.* Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка // *Wiener Slawistischer Almanach.* Wien, 1992. Sonderband 27. С. 84 (здесь же см. разбор основных мотивов мессианистской риторики 1812 г.). За рамками нашего исследования останется и разбор различных изводов мессианской идеи: страдательный / торжествующий, изоляционистский / экспансионистский мессианизм разрабатывался на разных этапах

и в разных аудиториях; в этой связи см., в частности, сопоставительный анализ риторики А.С. Шишкова и митрополита Филарета: *Зорин А.Л.* Указ. соч. С. 247–266.

¹⁸ В воззвании 1806 г. указывалось, что Наполеон грозит «поражением православной греко-российской церкви, тщится наваждением дьявольским вовлечь православных в искушение и гибель», что он во время революции поклонялся истуканам, человеческим тварям и блудницам, в Египте «проповедовал Алькоран магометов», наконец, «к вящему посрамлению церкви Христовой, задумал восстановить синагог, объявить себя Мессией, собрать евреев и вести их на окончательное искоренение всякой христианской веры» (*Жаринов Д.А.* Первые войны с Наполеоном и русское общество // *Отечественная война и русское общество.* М., 1911. Т. 1. С. 207). Обращение Синода было далеко не единственной идеологической акцией, строившейся на эсхатологическом толковании событий. Показателен в этом смысле эпизод, зафиксированный С.Н. Глинкой, который «в 1806 году, при проезде из Москвы в Петербург, застал в канцелярии товарища министра юстиции Н.Н. Новосильцева некоего В-ко с Апокалипсисом в руках. В ответ на выраженное Глинкой недоумение чиновник объяснил, что для возбуждения в народе патриотизма очень удобно переделать одно место из Апокалипсиса, поставив вместо упомянутого там царя бездны Аввадона и Аполлиона – Наполеона» (Там же).

¹⁹ См.: *Охотин Н.Г.* 1812 год в поэзии и поэзия в 1812 году // *Русская слава. Русские поэты об Отечественной войне 1812 года.* М., 1987. С. 21–24, 45. Действенность принципа национально-религиозной общности подтверждалась и недавним опытом испанской гериллы.

²⁰ Попытка инкорпорировать Россию в Европу и обозначить конец периода ученичества содержится уже в программной главе екатерининского «Наказа» (Гл. I, ст. 6: «Россия есть Европейская держава»; см. также: *Wortman R.* Op. cit. P. 123). Но потребность в переосмыслении «ученической» модели хорошо заметна и в 1830-е годы, ср., например, настойчивое возвращение к этой теме в дневнике Шевырева за 1830–1831 гг.: «Русские выходят последние на сцену Европы с тем, чтобы все докончить» (ОР РНБ. Ф. 850. Д. 14. Л. 119 об.); «Теперь можно бы так историю Европы превра-

тить в легенду. У Европы было пять дочерей: Италия, Германия, Франция, Англия и Россия. Италия взяла искусство, Германия – науку, Франция – политику в высшем смысле, Англия – торговлю, машины, словом, жизнь практическую. Россия, меньшая дочь от отца Азиатского, с гибким характером, с свежими силами, соберет воедино дары сестер, усвоит их себе и их усовершенствует. Россия сокупит в сумму все бытие европейского человечества» (Там же. Д. 14. Л. 127об.); «Русские должны бы помирить собою все эти противоборства: философия их должна соединить идеализм немцев с эмпиризмом французов и англичан. В жизни политической истинно русские должны согласить разумное, терпеливое желание свободы с покорностью власти верховной. В искусстве они должны помирить классическое с романтическим» (Там же. Д. 17. Л. 14).

²¹ Русская слава. С. 81.

²² *Шатров Н.М.* Пожар Москвы в 1812 году // Там же. С. 105.

²³ Языковые и культурные установки Шишкова и старших арханстов неоднократно описывались в научной литературе: *Булич Н.Н.* Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века. СПб., 1901. С. 122–141; *Виноградов В.В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX ввек. 1982. С. 215–219; *Левин Ю.Д.* Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII – начала XX века (Лексика). М., 1964. С. 132–154; *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Указ. соч.; *Сандомирская И.И.* Книга о родине. Опыт анализа дискурсивных практик // *Wiener Slavistischer Almanach*. Wien, 2001. Sonderband 50. С. 157–227; *Тынянов Ю.Н.* Архансты и Пушкин // Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 23–121; *Успенский Б.А.* Из истории русского литературного языка XVIII – начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985. С. 158–200; и др.

²⁴ Представление о России как о духовной преемнице Древней Греции разрабатывалось уже в XVIII в., прежде всего в связи с греческим просветом Екатерины (см. примеч. 4). В начале XIX в. энтузиастами этой теории были участники оленнинского кружка (о нем см.: *Гиллельсон М.И.* Молодой Пушкин и арзамасское братство. М., 1974. С. 4–37; *Зо-*

рин А.Л. Указ. соч. С. 255–258). О связи эллинофильства и антифранцузских настроений см.: *Майофис М.* «Рука времен», «Божественный Платон» и гомеровская рифма в русской литературе первой половины XIX века // Новое литературное обозрение. 2003. № 60. С. 145–170.

²⁵ Это положение, разработанное апологетами монархии XVII в. (Боссюэ, Р. Филмером, отчасти Т. Гоббсом и др.) и постулировавшее пропорциональность отношений «государь–подданные» и «родители–дети», было опровергнуто У. Локком, А. Сиднеем, а позднее Ш.-Л. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо, считавшими патернализм признаком деспотического правления. Однако в русских правовых и публицистических текстах официального извода данное положение воспроизводилось как бесспорный тезис естественного права: «Никакое другое (правление. – *Н. М.*) не может лучше сообразить все эти преимущества, кроме монархического, где государь есть отец, а подданные его суть дети» (*Бестужев А.Ф.* О воспитании // Русские просветители: Собрание произведений: В 2 т. М., 1966. Т. 1. С. 95). Ср. также в «Наказе» Екатерины II (гл. XIV: «О воспитании», ст. 349), в «Разных рассуждениях о правлении» кн. Щербатова (*Щербатов М.М.* Сочинения. СПб., 1896. Т. 1. Стб. 337; см. также: *Артемьева Т.В.* Михаил Щербатов. СПб., 1994. С. 21–22); и т. п. В текстах эпохи антинаполеоновских войн мы найдем множество примеров апелляции к этому принципу: «Он (император Александр. – *Н. М.*) отец, мы дети его, а злодей француз – некрещеный враг» (*Ростопчин Ф.В.* Ох, французы! М., 1992. С. 220); «Когда ж сражен врага рукою, / Похвальный получу конец, / Мой сын не будет сиротою, / Умру – МОНАРХ ему отец» (*Бунина А.Н.* На выступление российско-императорских войск // Бунина А.Н. Неопытная муза. СПб., 1809. С. 23), «Так, дерзка Франция! и вы, / С ней шедшие на нас державы! / Не страшен нам ваш ков коварный, / Коль члены мы одной главы. / От хижины, церкви до престола / И дети все до нежна пола / Суть царски витязи у нас. / Вы сами видели не раз, / Как вел отец детей ко брани...» (*Державин Г.Р.* Гимн лиро-эпический на прогнание французов из Отечества // Русская слава. С. 58); и т. п.

²⁶ Курсив мой. – *Н. М.* Характерно, что Александр I был крайне раздражен именно этим пассажем и сказал: «Я не могу

подписывать того, что противно моеї совести и с чем я нимало не согласен» (*Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX века. М., 1989. С. 63–64). В связи с оппозицией между либеральной правовой моделью и консервативной семейной см. интересные наблюдения об апелляции к последней в манифесте об освобождении крестьян, написанном митрополитом Филаретом (Дроздовым): *Viise M. R. Filaret Drozdov and the Language of Official Proclamations in Nineteenth-Century Russia // Slavic and East European Journal. 2000. Vol. 44. № 4. P. 553–582.*

- 27 Русский архив. 1902. № 1. С. 33, 35 (письмо одного из активных участников антинаполеоновской пропаганды в России Т.-Г.-Ф. Фабера; о нем см.: *Мильчина В.А.* «Праздничный наблюдатель» 1811 года о России и Санкт-Петербурге // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 352–356). Ср. также в записях А.Н. Оленина рассказ о «безмездной» помощи крестьян своему помещику при эвакуации, завершающийся знаменательным пассажем: «Здесь опять вышло новое прение *между крестьянами и помещиком, неизвестное в просвещенных европейских землях!* Сеї последний, рассчитывал, что бы должно заплатить вольнонаемным извозчикам <...> но крестьяне не только что не взяли сих денег, но напротив того объявили помещику, что они было приготовили поклониться ему 20000-ми рублей на обзаведение его дома после московского разорения; но как с них скоро очень потребовали казенные подати и другие повинности, то они принуждены были означенные деньги на сии предметы употребить, примолвля к сему следующее: Отец наш, кормилец, небось: мы другие соберем и ими тебе челом ударим! Русский, просто благочестивый человек, слушая сию истинную повесть, скажет: вот плоды родительского семейного правления! Просвещенный же европеец отнесет сеї подвиг к невежеству, глупости и к рабству нашего народа!» (Рассказы из истории 1812 года. Собственноручная тетрадь А.Н. Оленина // Русский архив. 1868. № 12. Стб. 1999–2000). О проецировании патримониальных семейных отношений на отношения социальные (помещик – крестьяне, командир – солдаты и т. д.) в журналистике 1800-х – начала 1810-х годов см.: *Киселева Л.Н.* Система взглядов С.Н. Глинки (1807–1812 гг.) // Проблемы

- литературной типологии и исторической преемственности: Тр. по русской и славянской филологии. Т. XXXII (Уч. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 513). Тарту, 1981. С. 58–63.
- 28 Олотин Н.Г. Указ. соч. С. 20. Ряд важных наблюдений о развитии официальной идеологии в эту эпоху см.: *Сироткин В.Г.* Официальная военно-политическая публицистика Франции и России в 1804–1815 гг. // Бессмертная эпопея: К 175-летию Отечественной войны 1812 г. и освободительной войны 1813 г. в Германии. М., 1987. С. 222–242.
- 29 Впервые опубликован: А.О. [Оленин А.Н.] Опыт о правилах медальерного искусства с описанием проектов медалей на знаменитейшие происшествия с 1812 по 1814 г. и трех проектов памятников из огнестрельных орудий, отбитых у неприятеля в 1812 г. СПб., 1817). Аналогичным образом интерпретируется и известная медаль Ф.П. Толстого «Народное ополчение 1812» (1816): «Все души сливаются в одну; весь народ становится огромною ратью. Россия не успевает раздавать мечей и копий. *Дворянин, купец и поселянин*, друг перед другом, теснясь к алтарю Отечества и жадно простирая руки, просят и требуют – мечей» (Глинка Ф.Н. Письма к другу. М., 1990. С. 283; опубл. в 1817).
- 30 Как акциональное воплощение этой интенции можно интерпретировать сам факт создания и формы деятельности народного ополчения в 1806 и в 1812 гг.: крестьянская масса (сохранявшая такие сословные атрибуты во внешности, как борода) под предводительством воинских начальников из помещичьей среды была призвана решать единую, общенациональную задачу («составление милиции или земских войск к отвращению бури, угрожавшей России» – С.Н. Глинка). Об ополчении 1812 г. см.: *Бабкин В.* Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. М., 1962.
- 31 Мы не станем говорить здесь об «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина; значение этого труда для формирования русского национального самосознания исследовано достаточно подробно. Однако стоит подчеркнуть, что «История» Карамзина надолго стала основным источником популярных героических сюжетов, бытовавших в российских культурных и идеологических практиках. О роли историографии в формировании национальной идеологии см., среди прочего: *Becker S.* Contributions to a Nationalist Ideology: Histories of Russia in the First Half of

the Nineteenth Century // Russian History, 1986. Vol. XIII. P. 331–353; *Saunders D.B.* Historians and Concepts of Nationality in Early Nineteenth-Century Russia // Slavonic and East European Review. 1982. Vol. 60. № 1. P. 44–62.

³² «Героическая биография – это популярный жанр, который не просто прославляет героя, но популяризирует значимые общественные убеждения. Герои превозносятся в свете доминирующих социальных идей; героический дискурс проходит коллективную цензуру масс и порождает народные верования и мифы. Героическая биография – это жанр-константа, дискурсивный феномен и универсальный культурный знак одновременно. Она создает род эмоциональной стабильности внутри сообщества, поклоняющегося данному герою, и дает этому сообществу необходимую опору» (*Makolkina A.* Name, Hero, Icon. Semiotics of Nationalism through Heroic Biography. B.; N.Y., 1992. P. 17). В первых проектах национального музея, созданных в 1820-е гг., предусматривался специальный зал для национального пантеона; об этом см.: *Thomas T. K.* Collecting the Fatherland: Early-Nineteenth Century Proposals for a Russian National Museum // Imperial Russia. New Histories for the Empire. Bloomington, 1998. P. 91–107. Об эволюции мифа Александра Невского см.: *Шенк Ф. Б.* Политический миф и коллективная идентичность: миф Александра Невского в российской истории (1263–1998) // *Ab Imperio.* Теория и история национализма и империи в постсоветском пространстве. 2001. № 1–2. Имперские мифологии. С. 141–164.

³³ *Зорин А.Л.* Указ. соч. С. 157–186; *Киселева Л.И.* Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // *Лотмановский сборник-2.* М., 1997. С. 279–302. Напомним еще несколько характерных примеров апелляции к «общепародной» мифологии: после занятия Наполеоном Москвы в Петербурге давали балет «Любовь к отечеству» – о крестьянах в народном ополчении (*Мейлах Б.С.* Декабристская идея национально-возрождения и русская культура начала века // *Декабристы и русская культура.* Л., 1975. С. 20); другой показательный пример – сознательное соединение черт офицера, крестьянина и священника в облике поэта-партизана Дениса Давыдова: «Я падел мужичий кафтан, стал отпускать

- бороду, вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая и заговорил с ними языком народным» (*Давыдов Д.В. Дневник партизанских действий // Давыдов Д.В. Сочинения. М., 1962. С. 320*).
- ³⁴ *Свербеев Д.Н.* Записки. М., 1899. Т. 1. С. 204–205.
- ³⁵ Напомним, что в день открытия памятника в зале московского Благородного собрания исполнялась оратория на тот же сюжет. О бытовании и канонизации сюжета «Минин и Пожарский» в 1800–1830-е годы см.: *Зорин А.Л.* Указ. соч. С. 160–186. История этого первого в Москве скульптурного монумента, идея которого озвучивалась еще в 1803 г., а первые проскты появились в 1807–1808 гг., освещена в работах: *Кириченко Е.И.* Запечатленная история России. Монументы XVIII – начала XX века. Кн. 2. Архитектурные ансамбли и скульптурный памятник. М., 2001. С. 269–272; *Тимофеева Н.* Гражданину Минину и князю Пожарскому: хроника создания памятника по архивным документам // *Куранты: Историко-краеведческий альманах. М., 1987. Вып. 2. С. 288–298.* Идеологической трактовке поддавался даже маршрут транспортировки отлитой скульптуры из Петербурга в Москву через Нижний Новгород (хотя, в сущности, маршрут диктовался техническими ограничениями).
- ³⁶ Анализ национальной мифологии, формирующейся в 1812 г. вокруг фигуры Александра I, см.: *Wortman R.* Op. cit. P. 215–246.
- ³⁷ *Гаспаров Б.М.* Указ. соч. С. 100–107. О развитии апологетической легенды см.: *Давыдова Е.Е.* Образ Александра I в русской литературе его времени (1775–1825): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1996.
- ³⁸ См., например: *Корнилов А.А.* Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 104–105; *Шебунин А.Н.* Братья Тургеневы и дворянское общество александровской эпохи // *Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 22–24.*
- ³⁹ *Каппелер А.* Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М., 1997. С. 70, 75–81.
- ⁴⁰ Сводку мнений по этим вопросам см.: *Давыдов М.А.* Оплотизация Его Величества. М., 1994. С. 103–108; *Корнилов А.А.* Указ. соч. С. 98–99; *Шебунин А.Н.* Из истории дворянских настроений 20-х гг. XIX в. // *Борьба классов. 1924. № 1–2;* *Порох В.И.* Декабрист И.Д. Якушкин // *Якушкин И.Д. Ме-*

- муары, статьи, документы. Иркутск, 1993. С. 16–17; *Пресняков А.Е.* 14 декабря 1825 года. М.; Л., 1926. С. 19–22; *Сироткин В.Г.* Борьба в лагере консервативного русского дворянства по вопросам внешней политики после войны 1812 года и отставка И. Каподистрии в 1822 г. // Проблемы международных отношений и освободительных движений. М., 1975. О Польше см. в особенности: *Thackeray F.W.* Antecedents of Revolution: Alexander I and the Polish Kingdom, 1815–1825. Boulder, 1980.
- 41 *Пресняков А.Е.* 14 декабря 1825 года. С. 18–23; *Страхова Н.П.* Внешнеторговая политика России после Венского конгресса. 1815–1822. М., 1983.
- 42 *Мироненко С.В.* Указ. соч. С. 84–93, 98–99.
- 43 *Wortman R.* Op. cit. P. 231.
- 44 Русский архив. 1885. № 11. С. 338.
- 45 *Якушкин И.Д.* Указ. соч. С. 77–79.
- 46 См.: *Зорин А.Л.* Указ. соч. С. 269–335.
- 47 О деятельности Библейского общества и его противниках см. прежде всего: *Пытин А.Н.* Религиозные движения при Александре I. Пг., 1916; *Флоровский Г.В.* Пути русского богословия. Р., 1937. С. 147–176; *Zacek J. C.* The Russian Bible Society and the Russian Orthodox Church // Church History. 1966. Vol. 35. № 4. P. 411–437. Очень полезная библиография содержится в статье В. Шереметевского о князе А.Н. Голицыне в «Русском биографическом словаре» (Том «Гоголь–Гюне». М., 1997. С. 136–137).
- 48 *Флоровский Г.В.* Указ. соч. С. 149.
- 49 *Чернов С.Н.* Из истории борьбы за армию в начале 1820-х годов XIX в. // Чернов С.Н. У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960. С. 187.
- 50 См.: *Рогов К.Ю.* Декабристы и «немцы» // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 105–126.
- 51 *Пресняков А.Е.* Российские самодержцы. М., 1990. С. 269.
- 52 *Рылеев К.Ф.* Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 109.
- 53 *Карамзин П.М.* О Древней и Новой России в ее политическом и гражданском отношениях // Литературная учеба. 1988. № 4. С. 130; об этом же см. в переписке Александра I и графа Ростопчина // Русский архив. 1892. № 8. С. 418; Русская старина. 1902. № 9. С. 634. В этой связи интересно вспомнить историю спора вокруг манифеста 30 августа

1814 г. об окончании войны и заграничных походов между Александром и Шишковым, стоявшего последнему места государственного секретаря. Мы уже говорили о недовольстве Александра шишковской апелляцией к патриархально-семейной модели государственного устройства; еще одним поводом для разногласий стал порядок перечисления сословий в манифесте. У Шишкова «благородное дворянство» стояло вторым после «священнейшего духовенства»; император поставил на второе место «победоносное воинство», а дворянство сделал последним, переместив его ниже купечества, мещанства и крестьян (об этом см.: *Лямина Е.* Новая Европа: мнения «деятельного очевидца» (А.С. Стурдза в политическом процессе 1810-х годов) // *Россия/Russia.* 1999. № 3 (11). С. 139). Такое унижение «благородного сословия» не могло не способствовать усилению толков о нелюбви Александра к русскому дворянству.

⁵⁴ *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1889. Т. 1. С. 176–177.

⁵⁵ Цит. по: *Рогов К.Ю.* Указ. соч. С. 122 (конъектура публикатора).

⁵⁶ *Барсуков Н.П.* Указ. соч. Т. 1. С. 88.

⁵⁷ Об этом см.: *Пресняков А.Е.* Российские самодержцы. С. 269–271.

⁵⁸ Интересен параллелизм карамзинских концепций с идеями национального консерватизма екатерининской эпохи, например с позицией кн. М.М. Щербатова; об этом см.: *Моисеева Г.Н.* М.М. Щербатов и Н.М. Карамзин («Записка о повреждении прав в России») // *Русская литература XVIII – начала XIX века в общественно-культурном контексте.* XVIII век. Сб. 14. Л., 1983. С. 80–92.

⁵⁹ Так, во второй половине 1820-х годов III отделение пугало Николая «русской партией», якобы существовавшей в Москве и враждебной императору, а также настроениями молодых дворян, среди которых революционный и реформаторский дух прикрывался «маской русского патриотизма» (Граф А.Х. Бенкендорф о России в 1827–1830 гг. (ежегодные отчеты III отделения и корпуса жандармов) // *Красный архив.* 1929. Т. 6 (37). С. 150; ср. аналогичную записку за 1830 г.: Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III-е отделение / Подгот. А.И. Рейтблат. М., 1998. С. 393–394).

- ⁶⁰ Восстание декабристов. М., 1925. Т. 1. С. 22.
- ⁶¹ *Рогов К.Ю.* Указ. соч. С. 111.
- ⁶² Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951. Т. 1. С. 295. Ср. в замечаниях Никиты Муравьева на «Историю» Карамзина: «Какой народ может гордиться, что он претерпел столько бедствий, сколько славянский. Никакой народ не был столь испытан судьбою! Никакому, может быть, не готовит она такого воздаяния!» // Литературное наследство. М., 1954. Т. 59. Декабристы-литераторы. Ч. 1. С. 595.
- ⁶³ Цит. по: *Нечкина М.В.* Священная артель. Кружок Александра Муравьева и Ивана Бурцова. 1814–1817 гг. (Материалы к предыстории декабризма и изучению формирования мировоззрения молодого Пушкина) // Декабристы и их время. М.; Л., 1951. С. 177.
- ⁶⁴ Цит. по: Император Николай Первый / Подгот. М.Д. Финлин. М., 2002. С. 128.
- ⁶⁵ О мифе «золотого века» в национальной идеологии см.: *Smith A.* The «Golden Age» and National Revival // *Myths and Nationhood*. P. 36–59. О «золотом веке» в русской идеологии см.: *Вортман Р.* «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX века // *Россия / Russia*. 1999. № 3 (11). С. 232–244.
- ⁶⁶ Значение «новгородской темы» для декабристов чрезвычайно подробно исследовано в работах советских историков; см., например: *Ланда С.С.* Дух революционных преобразований... Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов (1816–1825). М., 1975. С. 58–77; *Нечкина М.В.* Указ. соч. О декабристском конструировании героического прошлого России см.: *Лотман Ю.М.* Арханглы-просветители // *Лотман Ю.М.* Русская литература и культура Просвещения. М., 2000. С. 250–252. Об исторических воззрениях декабристов см. также: *Поляков Л.В.* Проблема национальной культуры в философском мировоззрении декабристов // *Общественная мысль: исследования и публикации*. М., 1990. Вып. II. С. 3–28; *Стеттик Ю.В.* Идея «древней» и «новой» России в литературной и общественно-политической мысли конца XVIII – первой четверти XIX века (Н.М. Карамзин, декабристы) // *Литература и история*. СПб., 2001. Вып. 3. С. 133–154.

- 67 Ср. историю фальшивого указа Алексея Михайловича об изгнании иностранцев из России: *Нечкина М.В.* Указ. соч. С. 155–188. О национальной составляющей в декабристской агитации см.: *Оксман Ю.Г.* Агитационная песня «Царь наш – немец русский» // Литературное наследство. Т. 59. С. 69–84. Роль антинемецких настроений в истории движения подробно проанализирована в указанной статье К. Ю. Рогова.
- 68 *Парсамов В.С.* Пестель как «архангел» // Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли. Саратов, 1984. С. 126–145; *Он же.* Проблема национально-культурного единства в «Русской правде» Пестеля // Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли. Саратов, 1989. С. 61–73.
- 69 *Парсамов В.С.* Декабристы и французский либерализм. М., 2001. С. 168–179, 211–217.
- 70 Исследование роли армии в формировании русской национальной идентичности в более позднюю эпоху см.: *Sanborn J.A.* Drafting the Russian Nation. Military Conscription, Total War and Mass Politics, 1905–1925. DeKalb, 2003. Некоторые общие соображения автора о связи военной мобилизации и национального строительства вполне могут быть транспонированы на описываемый нами исторический период.
- 71 О национальном элементе в политических планах декабристов, кроме указанной выше монографии В.С. Парсамова, см. также: *Чернов С.Н.* Из работ над «Зеленой книгой» // Чернов С.Н. Указ. соч. С. 261–328; *Lemberg H.* Die nationale Gedankenwelt der Dekabristen. Koeln; Graz, 1963; *Best R.* Slavophiles et Décembristes // Le 14 Décembre 1825. Origine et héritage du mouvement des Décembristes. P., 1980. P. 117–134. Ряд любопытных соображений о национализме декабристов был высказан в дискуссии на страницах сборника «Империя и либералы» (СПб., 2001).
- 72 *Чернов С.Н.* Указ. соч. С. 292–293.
- 73 *Одоевский А.И.* Полное собрание стихотворений и писем. М.; Л., 1934. С. 290.
- 74 Об этом неоднократно писали прежде всего в связи с полемиками 1820-х годов о народности литературы, ср.: *Базанов В.Г.* Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949; *Он же.* Очерки декабристской

литературы. Поэзия. М.; Л., 1961; *Бочкарев В.А.* Русская историческая драматургия периода подготовки восстания декабристов (1816–1825). Куибышев, 1968; *Гинзбург Л.Я.* О старом и новом. Л., 1982. С. 157–193; *Гофман В.А.* Литературное дело Рылеева // Рылеев К.Ф. Указ. соч. Л., 1934. С. 1–67; *Королева Н.В.* Декабристы и театр. Л., 1975; *Лотман Ю.М.* Проблема народности и пути развития литературы преддекабрьского периода // О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы. М.; Л., 1960. С. 3–51; *Мордовченко Н.И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 196–236; *Leighton L.G.* Russian Romanticism: Two Essays. The Hague; P., 1975. P. 41–108; и др.

⁷⁵ Цит. по: 14 декабря 1825 г. и его истолкователи (Герцен и Огарев против барона Корфа) / Подгот. Е.Л. Рудницкая, А.Г. Тартаковский. М., 1994. С. 339.

⁷⁶ П.В. Долгоруков передавал слова, якобы сказанные Николаем Карамзину в начале 1826 г.: «...вокруг меня никто не умеет написать двух страниц по-русски, кроме одного Сперанского, а ведь, пожалуй, того и гляди, что Сперанского не нынче так завтра придется отправить в Петропавловскую крепость» (*Долгоруков П.* Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860–1867. М., 1992. С. 156). В этой полуапокрифической истории верно отражено то значение, которое Николай придавал языку своих указов.

⁷⁷ *Шильдер П.К.* Император Николай I, его жизнь и царствование. М., 1996. Т. 1. С. 614–616.

⁷⁸ Программный характер этого документа, подготовленного с участием М.М. Сперанского, был отмечен немедленно; Константин Павлович писал о нем брату: «Ваш заключительный манифест – совершенство в этом роде, и даже больше, по мысли, рассуждению и точности; он намечает путь для будущего» (цит. по: Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.; Л., 1926. С. 199). В 1848 г. М.А. Корф назвал этот манифест «величественной программой царствования» (см. его записку «Восшествие на престол Императора Николая I-го» // 14 декабря 1825 г. и его истолкователи... С. 296). М.А. Юзефович объявил этот документ «первым у нас критическим взглядом на реформу Петра Великого, первым шагом к нашему самопознанию и первой причиной вражды к императору <...> тех, для кого

солнце светит только на Западе и с Запада» (Русский архив. 1870. № 4–6. Стб. 1001). О догматическом значении манифеста для идеологии николаевского царствования см. также: *Цимбаев Н.И.* «Под бременем познания и сомнения...» (Идейные искания 1830-х годов) // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. М., 1989. С. 7–8.

⁷⁹ *Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 1. С. 660.

⁸⁰ О роли сусанинского мифа в николаевскую эпоху см.: *Живов В.* Иван Сусанин и Петр Великий. О константах и переменных в составе исторических персонажей // Новое литературное обозрение. 1999. № 38. С. 51–65; *Киселева Л.И.* Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник-2. М., 1997. С. 279–302.

⁸¹ О теме божественного промысла в исторической драматургии 1830-х годов см.: *Вацуро В.Э.* Историческая трагедия и романтическая драма 1830-х годов // История русской драматургии. XVII – первая половина XIX века. Л., 1982. С. 347–349; *Киселева Л.* Жизнь за царя (Слово – музыка – идеология в русском театре 1830-х годов) // Россия/Russia. 1999. № 3 (11). С. 173–185. Об образе «Десницы Вышнего» в драме А.С. Хомякова «Дмитрий Самозванец» (1831–1832) см.: *Мазур Н.И.* Жизнь и мировоззрение А.С. Хомякова в «дославянофильский» период (1804–1837): Дис. ... канд. филол. наук. М., 2000. С. 156–160.

⁸² Николай еще раз подчеркнул важность национального воспитания во время своего пребывания в Москве после коронации: 27 сентября 1826 г. он приехал в Московский университет неожиданно без всякой свиты в простом экипаже, «как мудрый и благопромысленный хозяин», и в своей речи сказал, что «око его будет над сим заведением, от которого он будет ожидать блага и пользы для отечества, желая, чтобы питомцы его *были прямо русскими*» (Исторический, статистический и географический журнал. 1826. Ч. 3. № 9. С. 256–257).

⁸³ *Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 1. С. 659–662. В упрощенном виде тот же набор тезисов дублировался в приказе по войскам, изданном 14 июля 1826 г. (Там же. С. 462).

⁸⁴ О сцене с Саперным батальоном см.: *Wortman R.* Op. cit. P. 269–270. О троекратном поклоне см.: Там же.

С. 291–292; *Wortman P.* «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX века // *Россия/Russia*. 1999. № 3 (11). С. 234–235.

⁸⁵ Об этом см.: *Wortman R.* *Op. cit.* P. 249–254.

⁸⁶ Описание ежегодного спектакля, разыгрывавшегося при этой верной оказии императрицей-матерью, находим в письме императрицы Елизаветы Алексеевны от 13 марта 1809 г.: «Вчерашний день и позавчерашний мы провели в глубочайшем уединении, ибо годовщины смерти императора Павла и восшествия на престол ныне царствующего государя справляются ежегодно. Впрочем, «глубочайшее уныние» выражение неточное, так как в 11 часов всегда бывает торжественная заупокойная обедня для всего двора, а после полудня панихида в крепости, где каждый раз собирается немало народа. <...> Императрица, согласно обычаю, становится близ гробницы покойного Государя, находящейся на возвышении, а мы и собравшийся народ стоим внизу, так что это в самом деле составляет зрелище» (*Русский архив*. 1909. № 12. С. 429). Заметим, что размещение присутствующих на панихиде в точности повторяет расположение фигур на воздвигнутом Марией Федоровной в Павловске памятнике «Супругу-Благодетелю» (скульптор И.Ф. Мартос, 1810).

⁸⁷ *Местр Ж.* Петербургские письма. СПб., 1995. С. 129.

⁸⁸ Именно в январе 1809 г. была выбита медаль, на которой Николаю Павловичу был присвоен титул цесаревича, т. е. наследника престола (*Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 1. С. 41, 482). В том же 1809 г. гимназический курс образования великих князей превращается в университетский, для чего императрица-мать пригласила лучших профессоров того времени (Там же. С. 34–36. *Высочков Л.В.* Император Николай I: человек и государь. Л., 2001. С. 148–156).

⁸⁹ Принцесса Шарлотта, получившая при крещении имя Александры Федоровны, была дочерью прусского короля Фридриха-Вильгельма III и королевы Луизы, которые сумели превратить свою семейную жизнь в символ любви, объединяющей короля и нацию. Их властный сценарий был образцом патриархально-семейственной модели, носившим отчетливо национальный характер (об этом см.: *Wortman R.* *Op. cit.* P. 248–249).

⁹⁰ Ср.: «Господь сделал [ее] благословенную в женах тем, что из нея возсияло сердце правды» (*Леонтьев Е.* Слово на вы-

сокодержественный день рождения Государыни Императрицы Марии Федоровны // Сын Отечества. 1813. Ч. 4. № 8. С. 50); «О Матерь Нежная! Жена благословенна! / Ты именем святым жены той нареченна, / От коей родился Царь неба и Творец: / Рожден и от Тебя в России Царь сердец» (*Урусова Е.* Стихи императрице Марии Федоровне. М., 1801. С. 3). Тонкая игра с параллелью императрица-мать – Богородица обнаруживается в посвященной Марии Федоровне кантате Державина «Обитель Добрады» (1808; см.: *Альтшуллер М.Г.* Указ. соч. С. 68) и в «Стихах, при поднесении Писем русского офицера» Ф. Глинки (1815), где к императрице применяется определение «Владычица сердец». Кстати сказать, у того же Глинки в «Письмах к другу» (1815) отчетливо прослеживается и весь ряд «материнских» ипостасей Марии Федоровны: «общая *Матерь*», «*Матерь* народа», «мать народа» «наша мать, дочь небес», «*матушка* [для солдат-инвалидов]», «нежная мать семейства», «то наш Царь – то сын Добрады», etc. (*Глинка Ф.Н.* Указ. соч. С. 178–206).

⁹¹ Ключевая роль императрицы-матери акцентировалась в описании праздника в «Русском вестнике» С.Н. Глинки (1814. № 13. С. 37–38). Патримониальные мотивы повторялись в кантатах на слова Г. Державина, Ю. Нелединского-Мелецкого, М. Лобанова, национально-фольклорная стилистика дублировалась в музыкальном оформлении праздника; об этом см.: *Огаркова Н.* Праздники в Павловске при дворе императрицы Марии Федоровны // *Еуропа Orientalis*. 1997. Т. XVI. № 1. Р. 196–204; *Семевский М.И.* Павловск; Очерк истории и описание. 1777–1877. СПб., 1997. С. 155–167.

⁹² В рамках настоящей статьи мы не станем обсуждать позицию Марии Федоровны в момент междуцарствия. Скажем только, что гипотеза М.М. Сафонова о том, что императрица и стоящая за ней «немецкая партия» стремились перехватить престол у Николая, кажется нам пока что недостаточно аргументированной (*Сафонов М.М.* Междуцарствие // *Дом Романовых в истории России*. СПб., 1995. С. 166–181; *Он же.* Константиновский рубль и «немецкая партия» // *Средневековая и новая Россия: К 60-летию профессора И.Я. Фроянова*. СПб., 1996. С. 492–541).

- ⁹³ *Корнилов А.А.* Указ. соч. С. 82–83; *Троицкий Н.А.* Александр и Наполеон. М., 1994. С. 130–132. Очень интересные свидетельства о политических играх Марии Федоровны зафиксированы в донесениях французского посла в России Колленкура (Дипломатические сношения России и Франции по донесениям послов императора Александра и Наполеона. 1808–1812. Издание великого князя Николая Михайловича. СПб., 1908. Т. 6); см. также: *Еленев Н.А.* Великая княгиня Екатерина Павловна в Богемии в 1813 году. Прага, 1936.
- ⁹⁴ Круг постоянных посетителей малого двора см.: *Семевский М.И.* Указ. соч. С. 199. О «русской партии» см., в частности: *Сахаров А.Н.* Александр I. М., 1998. С. 208–209, 219–221.
- ⁹⁵ Цитата из воспоминаний адъютанта императора и будущего историка Отечественной войны А.И. Михайловского-Данилевского, который противопоставлял безразличное отношение императора к Бородинской годовщине в 1815 г. патриотизму Николая и Михаила (*Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 1. С. 54–55). Патриотически настроенные современники настойчиво акцентировали национальные культурные ориентиры Павловского двора (имевшие, впрочем, скорее демонстративный, нежели практический характер) – собрание русских картин и покровительство русским художникам, русскую библиотеку, возвышение русского языка (ср. фразу императрицы: «Превозносимый всеми французский язык не может сравниться в богатстве, силе и красоте с русским»), интерес к русскому фольклору и народным обычаям, устройство «простонародных» праздников и т. п. (см.: *Глинка Ф.Н.* Указ. соч. С. 178–206; описание визита в Павловск в 1815 г.).
- ⁹⁶ *Козлов В.П.* «История государства Российского» Н.М. Карамзина в оценках современников. М., 1989. С. 9–10; *Семевский М.И.* Указ. соч. С. 178–179.
- ⁹⁷ Об этом документе см.: *Афиани В.Ю.* Путеводитель для императрицы // Наше наследие. 1991. № 6. С. 36–47.
- ⁹⁸ Цитата из письма Александра Марии Федоровне осенью 1817 г. (*Lacroix P.* Histoire de la vie et du règne de Nicolas I-er, Empereur de Russie. P., 1864. Т. I. P. 154).
- ⁹⁹ Само длительное пребывание царской семьи, двора и гвардейского корпуса в Москве могло интерпретироваться как

символический акт объединения двух столиц и перемещение центра власти с европейской на национальную почву. Уместно вспомнить в этой связи о рецептах барона Штейна по «русификации» России, высказанных им в беседах с С.С. Уваровым и Н.И. Тургеневым в 1809–1813 гг.: перенос царской резиденции, двора и правительства в Москву, введение национальной одежды для всех сословий (кафтан и борода), ограничение сношений русских с иностранцами и запрет читать французские книги (Русский архив. 1871. № 2. Стб. 0127–0128; *Тургенев Н.И.* Дневники: 1811–1816 гг. СПб., 1913. С. 232; литературу вопроса см.: *Кирилина Л.А.* Штейн и Россия: 1812 год // Россия и Европа: Дипломатия и культура. М., 1995. С. 49–62). Призыв носить русскую одежду неоднократно раздавался в оппозиционных кругах: в этой связи можно вспомнить опыты декабристов и славянофилов; о значении русского платья для последних см.: *Мазур Н.И.* Дело о бороде (Из архива Хомякова: письмо о запрещении носить бороду и русское платье) // Новое литературное обозрение. 1994. № 6. С. 127–138.

¹⁰⁰ См.: *Дараган П.М.* Воспоминания первого камер-пажа великой княгини Александры Федоровны. 1817–1819 // Русская старина. 1875. Т. 13. № 5. С. 2.

¹⁰¹ Показательно, что этот мемориальный проект (взамен воинского монумента в виде колонны или пирамиды) был предложен в конце 1812 г. членом «Беседы» генералом П.А. Кикиным и «продвинут» его другом и единомышленником А.С. Шишковым. Кикин учитывал православную традицию сооружения храмов и часовен в память людей или событий, однако привнес в свою концепцию элементы светского историзма, что привело к созданию совершенно нового для России вида памятников. Интересно, однако, что представленные на конкурс в 1816 г. архитектурные проекты преимущественно варьировали мотивы классицистических архитектурных форм. Из множества предложений Александр I предпочел проект А.Л. Витберга, в котором ясно просматривался наднациональный и надконфессиональный мистический аллегоризм с элементами масонской идеологизации – выбор, симптоматичный для дальнейшей идеологической эволюции императора (о проекте храма см.: *Кириченко Е.И.* Запечатленная история Рос-

сии. М., 2001. Кн. 1. С. 242). Закладка храма вызвала многочисленные лирические эзерсисы московских поэтов, как правило, воспроизводивших риторические образцы военной эпохи; отметим, в частности, стихи А.Ф. Мерзлякова «Песнь на торжественное заложение храма...», где разворачивалась знакомая нам мессианская концепция «Россия – Новый Израиль» через цепь ветхо- и новозаветных аналогий.

- 102 Отдельного разговора заслуживает послание Жуковского «Государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение великого князя Александра Николаевича» (напомним, что при участии Марии Федоровны поэт стал учителем русского языка великой княгини, а после воцарения Николая – воспитателем наследника-цесаревича). Показательно, что в «историософской» части послания Жуковский чуть не буквально повторяет программные тезисы упомянутой нами выше «Записки о московских достопамятностях» Н.М. Карамзина (и Мария Федоровна, и Николай действительно пользовались запиской как путеводителем по Москве): Москва – столица и средоточие России, Кремль – место славнейших и ужаснейших событий русской истории, колыбель самодержавия, существующего для блага народного, и т. д.; даже в перечне исторических героев и эпизодов Жуковский следует за Карамзиным. Тексты Карамзина и Жуковского, непосредственно адресованные кругу Марии Федоровны – Николая, могут дать представление о тех национально-исторических концептах, которые воспринимались и генерировались той средой. В этой связи стоит упомянуть, что к 1818 г. относится публикация полного текста, а возможно и написание большей части строф другого программного стихотворения Жуковского – «Молитвы русского народа», которое в переработанном виде легло в основу текста российского гимна 1833 г., созданного по заказу Николая I. Об участии Жуковского в этом проекте см.: *Киселева Л.Н.* Карамзинисты – творцы официальной идеологии (заметки о российском гимне) // Тыняновский сб. Вып. 10. М., 1998. С. 24–40; датировку 1818 г. последних 5 строф «Молитвы» (первая опубликована в 1815 г.) см.: *Жуковский В.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 2. Стихотворения 1815–1852 гг. М., 2000. С. 511.

- 103 О политическом контексте «московского заговора», вызванного прежде всего «пропольскими» замыслами Александра, см.: *Мироненко С.В.* Указ. соч. С. 84–92. В крестьянском вопросе сильнее была дворянская оппозиция справа, выдвигавшая в защиту status quo старую концепцию неразрывной связи между «отцом-помещиком» и «детьми-крестьянами» (ср. записку сенатора Н.Г. Вяземского, датированную 4 апреля 1818 г. – Там же. С. 89).
- 104 *Wortman R.* Op. cit. P. 282–295.
- 105 Ср. коронационную оду А.Ф. Мерзлякова: «Ах! кто не будет в нас добрее, / Кто не растает, изувер, / Узрев нежнейшего супруга, / Отца семейства, брата, друга / В ТЕБЕ единственный пример» (Вестник Европы. 1826. Ноябрь. № 21–22. С. 14); ср. также описание коронации в «Отечественных записках» П.П. Свиньина, подробно разобранные Р. Вортманом (Op. cit. P. 282–283, 286–287).
- 106 Так, издатель «Отечественных записок», описывая встречу Николая с духовенством перед Успенским собором 26 июля 1826 г., сравнивал ее со «сретением юного Михаила на сей же самой паперти, умоляемого народом не оставить сиротствующий престол русский» (Московские современные летописи. Переписка издателя // Отечественные записки. 1826. № 76. С. 288). В дальнейшем популярность сюжетов из Смутного времени дополнительно усилилась польским восстанием 1830 г.; об этом, среди прочего, см.: *Ребеккини Д.* Русские исторические романы 30-х годов XIX века // Новое литературное обозрение. 1998. № 34. С. 416–433.
- 107 Об особой роли мифологии 1812 года в идеологическом строительстве 1830-х годов см. в образцовых исследованиях А.Г. Тартаковского (1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковедческого изучения. М., 1980; Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997).
- 108 Ср. проекты возобновления Десятинной церкви в Киеве (1827), реконструкции Спасо-Преображенского собора в Нижнем Новгороде (1828), сооружения церкви св. Екатерины в Петербурге (1827–1830) и др. Одновременно Николай демонстрирует заботу о сохранении и реставрации древних, прежде всего храмовых, строений. Эти тенденции начинают закрепляться в нормативных актах уже с 1826 г.,

а к 1841 г. принимают силу закона: указ императора предписывал, чтобы «при постройке православных церквей преимущественно и по возможности сохраняем был вкус древнего Византийского Зодчества»; при этом в качестве образцов рекомендовались типовые проекты, изданные К. Тоном в 1838 г. (см.: *Кириченко Е.И.* Николай I и Александр II. Государственная политика в области архитектурно-градостроительной деятельности // *Архитектура в истории русской культуры*. Вып. 4. Власть и творчество. М., 1999. С. 130–132; *Она же.* Русский стиль... С. 81–94; *Лисовский В.Г.* «Национальный стиль» в архитектуре России. СПб., 2000. С. 56–87; Сохранение памятников церковной старины в России XVIII – начала XX в.: Сб. док. М., 1997. С. 63–79).

- ¹⁰⁹ К национально-консервативным тенденциям николаевского царствования можно, видимо, отнести и нормализацию деревенского строительства, начало которой было связано с реформированием удельного ведомства. При этом важна стилистическая инициатива императора: именно по его настоянию в «Планы по устройению селений» 1831 г. были включены образцы фасадов «в чистом Русском вкусе» (эта фольклоризирующая линия окончательно утвердилась к 1842 г., когда был высочайше одобрен разработанный К. Тоном «Атлас чертежей крестьянских строений»). Придавая «народному» стилю статус государственной нормы, Николай, с одной стороны, демонстрировал народность собственной власти, а с другой – символически уравнивал крестьянство с иными сословиями (одновременно икопически закрепляя традиционные границы между ними). Пристрастие царя к «русскому» стилю, возможно, восходило к эпохе его юности, когда императрица-мать построила близ Павловска декоративную фольклорную деревню Глазово для ветеранов Отечественной войны (1815, архитектор К. Росси). Известны и другие придворные стилизации в этом роде, например «русский ресторан» в Екатерингофе (1824, архитектор О. Монферран); Никольский сельский домик в Петергофе (1835, архитектор А. Штакеншнейдер) и т. п. О становлении «русского» стиля в сельской и придворной архитектуре см.: *Кириченко Е.И.* Николай I... С. 132–135; *Лисовский В.Г.* Указ. соч. С. 46–48, 88–92.

- 110 Видок Фиглярин. С. 322. Сообщения тайных агентов о национальных настроениях в обществе см. там же: с. 275–276, 278, 280, 285, 308–309; и др.
- 111 Об осмыслении этой войны в литературе см.: *Освоат А.Л.* К литературным отношениям Пушкина и С.П. Шевырева // Проблемы пушкиноведения. Рига, 1983. С. 57–65; *Ои же.* «Олегов щит» у Пушкина и Тютчева (1829 г.) // Тыняновский сб. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 61–69; *Парсамов В.С.* К идейной эволюции Пушкина в 1829 году // Очерки по истории культуры. Саратов, 1994. С. 11–127.
- 112 *Михайловский-Данилевский А.И.* Записки // Русская старина. 1893. Т. 79. № 7. С. 176.
- 113 Ср. изложение этой концепции со слов барона Дибича в записках фон Герлаха начала 1828 г. (Русская старина. 1892. № 4. С. 54); см. также запись в дневнике Шевырева летом 1830 г.: «Мы, кажется, для того и объевропеились, чтобы служить проводником от Азии к Европе» (ОР РНБ. Ф. 850. Д. 14. Л. 105об.).
- 114 По словам А.О. Смирновой-Россет, «государь знал все 20 томов Голикова наизусть и питал чувство некоторого обожания к Петру» (*Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 199). Имеются в виду знаменитые издания И.И. Голикова «Деяния Петра Великого» (М., 1788–1789. Т. 1–12) и «Дополнения к деяниям Петра Великого» (М., 1790–1797. Т. 1–18). Подробное изучение биографии Петра Великого входило в учебную программу Николая; см. его тетради за 1808 г. в: ГАРФ. Ф. 728 (Библиотека Зимнего дворца). Д. 773.
- 115 *Никифоров Д.* Москва в царствование императора Александра II. М., 1904. С. 7.
- 116 *Смирнова-Россет А.О.* Указ. соч. С. 199.
- 117 Николай охотно прибегал к петровской традиции появления «запросто» там, где его присутствия никто не ожидал; ср. анекдоты о его неожиданных инспекционных поездках: *Булгаков К.Я.* Письмо к Л.А. Закревскому // Сборник Императорского российского исторического общества. Т. 78. СПб., 1891. С. 396; *Дивов П.Г.* Петербург в 1827 г. // Русская старина. 1898. № 1. С. 107. Описание неутомимости государя см.: Видок Фиглярин. С. 163; *Никитенко А.В.* Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 34. Очень характерно вве-

денное Николаем правило публиковать в сенатских ведомостях собственноручные решения императора (Император Николай Павлович и решения им разных дел в 1827–1833 гг. // Русская старина. 1888. № 8. С. 413–420). Сравнения Николая с Петром в 1826–1827 гг. см.: Видок Фиглярин. С. 124; *Вяземский П.А.* Записные книжки. М., 1992. С. 73; Письма Н.М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829). СПб., 1913. С. 260; и др.

¹¹⁸ Ср.: *Аронсон М.И.* «Конрад Валленрод» и «Полтава»: К вопросу о Пушкине и московских любомудрах 1820–1830-х годов // *Временник Пушкинской комиссии.* М.; Л., 1936. Т. 2. С. 43–56; *Riazanovskiy N.* The Image of Peter the Great in Russian History and Thought. N.Y.; Oxford, 1985. Различные проекции петровской мифологии на николаевскую современность рассмотрены в кратких, но крайне продуктивных заметках А.Л. Осповата и А.Б. Рогинского: Историческая проза и государственный миф // *Старые годы: Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX века.* М., 1989. С. 361–364. Общий обзор проблемы см.: *Соловьев П.К.* Николай I и «петровская легенда»: общество, власть, литература // *Освободительное движение в России.* Саратов, 2000. Вып. 18. С. 52–60.

¹¹⁹ *Шильдер Н.К.* Указ. соч. Т. 1. С. 310. О метафоре осажденной крепости у Николая см.: *Мазур Н.Н.* О власти стереотипа: Как в России 1848 года не заметили нового Пьемонта // *Антропология культуры.* М., 2002. Вып. 1. С. 245–263. Характерное переосмысление мотива «окна в Европу» находим в дневнике Шевырева за 1830 г.: «Теперь в России к Западу сто врат настужеь отворено и просвещение европейское разных столетий, разных племен так и хлыщет в нее морем Атлантическим. Как ни запирай их, в щели пробьется и прососет волна упрямая. Петр Первый прорубил первые врата широкие, огромные, Екатерина Вторая прорубила вторые, но в несчастную минуту, когда волны просвещения европейского полны были кровью революции и чнойным отседом застоявшегося человечества, в то время, когда бы надо бы запереть их. Странно, как Петр Великий, предвидя будущую революцию французскую и предсказавши ее, не подумал о шлюзах, когда прорывал каналы из Европы в Россию» (ОР РНБ. Ф. 850. Д. 14. Л. 1).

Об «антиисторизме» Лермонтова

Исторические и историософские воззрения Лермонтова неоднократно становились предметом исследовательского внимания¹. При этом лермонтовская трактовка истории (прежде всего соотношения прошлого и настоящего) могла встраиваться в различные идеологические и культурные контексты: впрямую связываться с общественной ситуацией начала николаевского царствования (Лермонтов – наследник потерпевших поражение декабристов), восприниматься на фоне общеевропейского романтического опыта (трагическая судьба поэта, его конфликт с властью, мифологизированный современниками и влиятельной критикой XIX в., и статус национального классика заставляли советских исследователей избегать напрашивающегося штампа – «реакционный романтизм»), выводиться из руссоистских традиций и осмысливаться как предвестие «толстовского направления» (принципиально важная работа Ю.М. Лотмана²). Неизменным, однако, оставался взгляд на самую суть лермонтовского историзма, с афористическим блеском выраженный Белинским при сопоставлении стихотворения «Бородино» и «Песни про царя Ивана Васильевича...»: «Жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел»³. Тезис этот, будучи во многом верным и даже незаменимым в качестве отправного пункта исследования, нуждается, однако, в некоторых уточнениях. Действительно, прошлое и настоящее у Лермонтова противопоставлены со всей возможной решимостью. При этом «прошлым» могут оказываться сравнительно недавние события, например присоединение Грузии или

Отечественная война с Наполеоном. Борьба с Наполеоном («Поле Бородина», «Два великана», «Бородино») последовательно фольклоризируется. В «Мцыри» искомая дата (1801) погружена в хронологическую неопределенность, а весь антураж полуразрушенного монастыря наводит на мысль о далеком прошлом: *Но не курится уж над ним / Кадильниц благовонный дым, / Не слышно пенья в поздний час / Молящих иноков за нас. / Теперь один старик седой, / Развалили страж полуживой, / Людьми и смертью забыт, / Сметает пыль с могильных плит, / Которых надпись говорит / О славе прошлой – и о том, / Как, удручен своим венцом, / Такой-то царь, в такой-то год, / Вручал России свой народ*⁴.

Соответственно и событийный ряд поэмы (при том, что важен в ней как раз конфликт прошлого и настоящего, отождествляемый Лермонтовым с конфликтом кавказского и европейского начал, свободы-дикости и рабства-цивилизации) невольно воспринимается как весьма давний – при жизни Мцыри монастырь еще не был руинами (ср. также фольклорно-эпическое «Однажды...», открывающее собственно историю горского мальчика).

Существенно и то, что в «Мцыри» Лермонтов «переворачивает» конструкцию пушкинских поэм: историко-политический эпилог становится прологом. Впервые (и наиболее решительно) Пушкин завершает романтический сюжет политической кодой (связанной с основной историей лишь обстоятельствами места) в «Кавказском пленнике», затем менее агрессивно повторяет этот прием в «Цыганах» (*В стране, где долго, долго брани / Ужасный гул не умолкал, / Где повелительные грани / Стамбулу русский указал, / Где старый наш орел двуглавый / Еще шумит минувшей славой*⁵). Ход этот подхвачен в «Эде» Баратынским (*Ты покорился, край граничный, / России мочь изведал ты / И не столкнешь ее пяты, / Хоть дышешь к ней враждою скрытой! / Срок плена вечного настал, / Но слава падшему народу!*⁶). В новой функции прием использован в «Полтаве» (*Прошло сто лет – и что ж осталось / От сильных, гордых сих мужей, / Столь полных волею страстей?*⁷). Если у Пушкина и Баратынского ассоциации между судьбами героинь и покоренных окраин звучат приглушенно, а мотив гибели свободного мира под напором истории (цивилизации) оказывается одним из возможных смысловых итогов их поэм (ср. отказ

Баратынского от восстановления эпилога при переизданиях «Эды»), то Лермонтов строит «Мцыри» под знаком уже свершившейся катастрофы. Жизнь горского мальчика в монастыре – аналог бытия прежде свободной и сильной страны, которая выбрала рабство: *И божья благодать сошла / На Грузию! Она цвела / С тех пор в тени своих садов*⁸, */ Не опасая врагов, / За гранью дружеских штыков* (2, 469). Сказав о судьбе Грузии, Лермонтов предрекает конечное поражение Мцыри⁹. (Так, помещенное в «Предисловии» к «Журналу Печорина» сообщение: «Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер»¹⁰ усиливает тему обреченности героя в «Тамани», «Княжне Мери» и «Фаталисте». Застрахованный от локальных опасностей – покушений «уидины», Грушницкого и пьяного казака, Печорин все равно находится под знаком близкой смерти.)

Не менее интересен эпилог «Демона», где вполне метафизическая (вневременная) проблематика поэмы получает условно историческую «прописку» – мы узнаем о давности произошедших событий («условно кавказский» антураж поэмы не подразумевал каких-либо датировок), возникает характерный мотив руины и забвения: *Все дико; нет нигде следов / Минувших лет: рука веков / Прилежно, долго их сметала – / И не напомнит ничего / О славе имени Гудала, / О милой дочери его!* (2, 466). Хотя Демон мыслится фигурой, с одной стороны, вневременной, а с другой – воплощающей современность (отрицание Бога, отчаяние, скептическое презрение к миру, губительная любовь и т. п.), когда необходимо подчеркнуть его величие и притягательность, Лермонтову требуется некоторая историзация (она же фольклоризация, поэтизация) сюжета. Перемещение Демона в современность происходит в «Сказке для детей» (1840) с ее демонстративно антиэпическим зачином (*Умчался век эпических поэм, / И повести в стихах пришли з упадок*), ориентацией на «прозаизированную болтовню», противопоставлением прежнего «могучего образа», от которого поэт «отделался стихами», новому (*Но этот черт совсем иного сорта – / Аристократ и не похож на черта* – 2, 489, 491, 490) – при точном сохранении центральной мизансцены прежней поэмы (демон над спящей возлюбленной). Исторический и/или экзотический колорит гарантирует масштабность персонажа¹¹ и конфликта.

Точно так же любая «прививка современности» разрушает цельное (простое, народное, доцивилизационное) сознание и соответствующий ему мир. Тема простого человека в творчестве Лермонтова была предметом пристального внимания Д.Е. Максимова и Ю.М. Лотмана¹². Оба исследователя, расходясь в деталях, героизируют лермонтовского персонажа, противопоставляют его демоническим индивидуалистам¹³, а причину бедствий Мцыри видят в искаженном миропорядке. Вне поля их внимания остается 21-я главка поэмы, открывающаяся покаянием героя (*Да, заслужил я жребий мой*). В речи Мцыри обнаруживаются словесные формулы, сходные с теми, которыми Лермонтов обычно характеризует свое злосчастное поколение: *Нап-расно грудь / Полна желаньем и тоской: / То жар бессиль-ный и пустой, / Игра мечты, болезнь ума*. Герой «виновен» (разумеется, не в силу личных свойств), ибо: *На мне печать свою тюрьма / Оставила...* Далее развивается метафора «цветка темничного» (2, 484–485), перекликающаяся с «Думой» (*тощій плод, до времени созрелый*, – 2, 29).

Дополнительным подтверждением невольной включенности Мцыри в сферу «современности» («познания и сомнения») служит фрагмент, не вошедший в основной текст поэмы, – видение, в котором обессилевшему герою предстает череда горских воинов-всадников: *Их бранный чуден был наряд <...> И кажды<й>, наклонясь с коня, / Ки-дал презренья полный взгляд / На мой монашеский наряд / И с громким смехом исчезал... / Томим стыдом, я чуть дышал, / На сердце был тоски свинец... / Последним ехал мой отец, / И вот кипучего коня / Он осадил против меня / И, тихо приподняв башлык, / Открыл знакомый бледный лик <...> И стал он звать меня с собой, / Маня могучею рукой, / Но я как будто бы прирос / К сырой земле: без дум, без слез, / Без чувств, без воли я стоял / И ничего не отвечал* (2, 595–596). Бессильному сыну является могучий, закованный в латы, отец и манит его за собой; атмосфера видения и бледный лик отца естественно заставляют предположить в нем умершего (ср. в 7-й главке: *А мой отец? Он как живой / В своей одежде боевой / Являлся мне, и помнил я / Кольчуги звон и блеск ружья* – 2, 474). Источник нагляден – это 4-я сцена I акта «Гамлета»¹⁴. Шекспировской реминисценцией Лермонтов косвенно уподобляет Мцыри датскому

принцу, воспринимаемому как образцовый пример трагической рефлексии (при этом Мцыри в отличие от Гамлета так и не исполняет своего долга). «Простой человек» в современном контексте не только оказывается жертвой времени, но и несет на себе его отпечаток, он не может быть вовсе свободным от рефлексии, безволия, причастности злу¹⁵. Отсюда невозможность истинного героя в «наше время». Отсюда же невозможность «недостойного» героя в непременно поэтизируемом прошлом.

Одни и те же сюжеты или феномены получают принципиально различную эмоциональную окраску и оценку, попадая в «старый» или «новый» контекст. Так, в стихотворении «Я к вам пишу случайно – право», справедливо интерпретируемом как решительно антивоенный текст, описание прежних битв дано с эпическим спокойствием: *Вот разговор о старине / В палатке ближней слышен мне, / Как при Ермолове ходили / В Чечню, в Аварию, к горам; / Как там дрались, как мы их били, / Как доставалось и нам* (2, 58), что резко контрастирует с дальнейшим описанием страшной и бессмысленной, с точки зрения поэта, резни. Контраст этот, скорее всего, возникает помимо воли автора, вовсе не желавшего в данном случае поэтизировать давние битвы (название Валерик, т. е. «речка смерти», «дано старинными людьми»), однако проявление его симптоматично.

Еще более разительный пример – написанные буквально друг за другом «Песня про царя Ивана Васильевича...» (1837) и «Тамбовская казначейша» (конец 1837 г. или начало 1838 г.). В поэмах разрабатывается фактически один и тот же сюжет. Молодой военный (опричник Кирибеевич, штаб-ротмистр Гарин) пленяется замужней женщиной (Алена Дмитриевна, Авдотья Николаевна – обе героини именуются по отчеству, представленному неполной формой), муж которой (купец Степан Парамонович Калашников, господин Бобковский) богат, но формально или неформально статусно уступает герою-«претенденту» (с точки зрения потенциальной аудитории Лермонтова, штатский Бобковский, вне зависимости от его чина, разумеется, социально ниже уланского штаб-ротмистра).

Проникшись чувством (рассказ Кирибеевича на пиру о встречах с Аленой Дмитривной; гаринская игра в «глядел-

ки»), претендент приступает к решительным действиям (Кирибеевич останавливает Алену Дмитриевну на пути из церкви; Гарин после удачных ухаживаний на балу является к казначейше и падает перед ней на колени). О случившемся узнает муж (рассказ Алены Дмитриевны Калашникову; появление Бобковского в самый ответственный момент)¹⁶. Следующая встреча персонажей – поединок, начинающийся как игра, а заканчивающийся весьма серьезно (Калашников намеренно превращает царскую потеху в Суд Божий, о чем не подозревал Кирибеевич; стремления господина Бобковского не вполне ясны, хотя ряд намеков указывает на то, что он собирался отомстить Гарину, обыграв его вчистую; важно, что Гарин, прежде ждавший дуэли, воспринимает приглашение на вистик к имениннику как издевательство, вновь возникает мотив неопределенности происходящего). Развязки полярны: в «Песне...» торжествует Калашников, в «Тамбовской казначейше», схватив в охапку выигранную Авдотью Николавну, «улан отправился домой». Знаменательно не только то, что в прошлом победа досталась «правому», а в настоящем – «виноватому». В «Песне...» вполне очевидна авторская симпатия к Калашникову и осуждение Кирибеевича, но вместе с тем «темному» герою отдается должное. (Кирибеевич в определенной мере повторяет Арсения из «Боярина Орши», где также наблюдается равенство протагониста и антагониста). Отметив интонации народных причитаний в сцене гибели опричника, В.Э. Вацуро справедливо замечает: «Подобное описание было бы совершенно невозможно в былинке <...> в первую очередь потому, что оплакивание побежденного противника противоречит идейным основам русского героического эпоса. Такое оплакивание предполагает множественность оценочных точек зрения в авторском сознании»¹⁷. Эта «множественность оценочных точек зрения» и позволяет Лермонтову «героизировать» (разумеется, в разной степени) всех персонажей «Песни...». Персонажи «Тамбовской казначейши» оказываются их комическими двойниками, а игра в карты – сниженным аналогом боя-суда¹⁸. Защита нравственных семейных устоев оборачивается не то равнодушием к ним, не то поводом для безуспешного жульничества; роковая страсть – дешевым волокитством, супружеская верность – пустым кокетством, а весь мир «Тамбов-

ской казначейши» – карикатурой цельного мира «Песни...». Отсюда ряд не менее значимых отличий. События «Песни...» разворачиваются в центре мироздания: Москва – аналог былинного Киева; по-былинному открывает поэму эпизод пира; отрицательный параллелизм зачина (*Не сияет на небе солнце красное, / Не любят ся им тучки синие – / То за трапезой сидит во златом венце, / сидит грозный царь Иван Васильевич* – 2, 398) придает повествованию космический масштаб. Действие современной поэмы происходит неизвестно где: *Тамбов на карте генеральной / Кружком означен не всегда*; «славный городок» неотличим (хочется сказать: по-гоголевски) от всех остальных. В этом мире вообще нет «центра» (*Но скука, скука, боже правый, / Гостит и там, как над Невой* – 2, 411). Поэтому здесь нет персонажа, аналогичного царю «Песни...», т. е. произносящего последний приговор. Его место занимает аморфное общество (тамбовское – внутри текста, подразумеваемое читательское – вне его). Если в названии «Песни...» перечислены все ее герои, то название современной поэмы – объект, вокруг которого развернулись «как бы события». После победы над Кирибеевичем Калашникова ждет торжественно обставленная казнь (его правота не отменяет правоты царя¹⁹), после «победы» Гарина над Бобковским не происходит ровным счетом ничего: *Поутру вестью забавной / Смущен был город благонравный. / Неделю целую спустя, / Кто очень важно, кто шутя, / Об этом все распространялись; / Старик защитников нашел; / Улана проклял милый пол – / За что, мы, право, не дознались. / Не зависть ли?.. Но нет, нет, нет; / Ух! Я не выношу клевет.* Спрашивая *Вы ждали действия? страстей?*, смеясь над всеобщей (даже дамской) «жаждой крови», подчеркивая безрезультатность случившегося (*Соперников не помирил / И не поссорил их порядком*), называя то, что могли принять за «печальную быль», «сказкой» (2, 432), Лермонтов констатирует абсолютную пустоту современности. Не так уж важно, было нечто или не было. Важно, что это занимает публику «неделю целую». Такой же сюжет, разыгранный в мире героического прошлого, навсегда сохраняется в памяти тогдашних людей. Могила Калашникова – «безымянная», но о нем (как и о царе Иване Васильевиче, молодом опричнике и Алене Дмитриевне) помнят. Последняя (перед

финальной метатекстовой виньеткой) строка поэмы: *А пройдут гусяры – спюют песенку* (2, 410).

Строка о песенке (естественно отождествляемой с тем текстом, что предложен поэтом читателю) объясняет и необходимость жанрового определения в названии, и метатекстовую организацию поэмы (скоморошья припевки в начале и концовках трех частей). Прошлое существует не само по себе, но лишь в поэтической (фольклорной, народной) интерпретации: о чем поют и рассказывают, то и было великим. Поэтому и в «Демоне» необходима косвенная апелляция к легенде, а величественные образы 1812 г. и ермоловских походов создаются фольклоризированными стариками-рассказчиками.

На фоне резкой и устойчивой антитезы «поэтическое прошлое—антипоэтическая современность» неожиданностью кажутся строки стихотворенья «Родина»: *Ни темной старины заветные преданья / Не шевелят во мне отрадного мечтанья*. Отрицается опять-таки не «старина» сама по себе, но «старина» опоэтизированная, перешедшая в заветные преданья, те самые, которые столько раз использовались Лермонтовым и мыслились им как фундаментальная ценность. Разумеется, можно предположить (и такие предположения строились), что в 1841 г. в сознании Лермонтова произошли существенные изменения. Однако после «Родины» Лермонтов пишет «Тамару» и «Морскую царевну», баллады на фольклорной (или квазифольклорной) основе с отчетливой поэтизацией легендарного прошлого. В «Последнем новоселье» (как и за год до него в «Воздушном корабле») он энергично разрабатывает наполеоновскую легенду, для которой наряду с оппозицией «избранник—толпа» существенно и противопоставление прошлого—настоящему. В «Споре», рисуя впечатляющую картину будущего и противопоставляя «юную» культуру России культуре дряхлого Востока²⁰, Лермонтов придает будущему знакомые черты поэтизированного прошлого, синтезируя традиции солдатской песни и одической поэзии. В строках *От Урала до Дуная, / До большой реки, / Кольхаясь и сверкая, / Двигутся полки* поэт не только использует сложившийся еще в XVIII в. образ пространственного величия державы, но и прямо отсылает читателя к стихотворению Пушкина «Клеветникам России» (*От потрясенного Кремля / До*

стен недвижимого Китая, стальной щетиною сверкая, / Не встанет русская земля²¹), т. е. тому тексту, в котором базовыми ценностями представляли «слава, купленная кровью», «полный гордого доверия покой» и «темной старины заветные преданья». Наконец, «генерал седой», что ведет будущую юную Россию на Восток, традиционно (и, видимо, справедливо) ассоциируется с героем ушедшей эпохи легендарным Ермоловым. Аналогично в записи «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем» (тот же 1841 г.), оспаривая официозные имперские формулы, Лермонтов не мог обойтись без фольклорного образа: «Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21 году проснулся от тяжкого сна – и встал и пошел... и встретил он тридцать семь королей и 70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать... Такова Россия» (384–385). Итак, мы видим, что «заветные преданья» по-прежнему шевелят «отрадное мечтанье». Эта особенность современной культуры (и собственного творчества как ее части) и тревожит Лермонтова, порождая негативную декларацию «Родины». Поэтому перезахоронение Наполеона в «Последнем новоселье» предстает не восторжествовавшей справедливостью, а новым поруганием героя. *Желанье позднее увенчано успехом! / И, краткий свой восторг сменив уже другим, / Гуляя, топчет их* (останки императора. – А. Н.) *с самодовольным смехом / Толпа, дрожавшая пред ним* (2, 71; у Лермонтова последнее слово дано курсивом). Наполеоновская легенда (апофеозом которой стали события декабря 1840 г.) служит самооправданием и развлечением для «жалкого и пустого народа», поэтизация прошлого оказывается не только бессмысленной, но и губительной. Задолго до «Родины» и «Последнего новоселья» (вновь подчеркнем парадоксальность этого текста, в котором поэт считает возможным славить почившего императора) мотив этот прозвучал во второй (собственно лермонтовской) части «Умиряющего гладиатора» (1836). Одряхлевший, утративший веру и надежду, обреченный на смерть, «европейский мир» обращает взор на собственную «юность светлую, исполненную сил». Но эта оглядка не может спасти от рокового недуга: *Стараясь заглушить последние страданья, / Ты жадно слушаешь и песни старины, / И рыцарских времен волшебные преданья – / Насмешливых*

льстецов несбыточные сны (1, 279). Великое прошлое здесь одновременно и реально («юность светлая, исполненная сил»), и фиктивно («насмешливых льстецов несбыточные сны»). История существует лишь в ее поэтической интерпретации, а поэтическая интерпретация неотделима от современности. Вымышляемое ныне великое прошлое – самообман большого общества. Нетрудно спроецировать этот тезис на собственное творчество Лермонтова, оказывающееся в таком случае тоже деянием «насмешливого льстеца» (ср. автопародирование в «Тамбовской казначейше»).

Трагизм нынешнего положения европейского мира (и его поэта) становится еще более очевидным, если задаться вопросом: а что же было его «юностью светлой»? Ответ в первой части стихотворения – «рыцарские времена» (Средневековье, когда и формировался нынешний европейский мир) начались с гибели Рима. В первой части «Умирающего гладиатора», следуя за Байроном (IV песнь «Странствий Чайльд-Гарольда»), Лермонтов и говорит о Риме эпохи его заката (ср.: *Прости, развратный Рим* и во второй части: *Которую давно для язвы просвещения, / Для гордой роскоши беспечно ты забыл*), и о молодом варваре, помимо своей воли втянутом в римское пространство. Видения гладиатора (*Пред ним шумит Дунай, / И родина цветет... свободный жизни край. / Он видит круг семьи, оставленный для брани, Отца, простершего немеющие длани, / Зовущего к себе опору дряхлых дней... / Детей играющих – возлюбленных детей. / Все ждут его назад с добычею и славою...* – 1, 278) предрекают (разумеется, с некоторыми вариациями) видения Мцыри – тоже представителя юного народа (гладиатор, по Д.Е. Максимову «естественный человек», является прообразом нынешнего «простого человека»²²), ставшего жертвой цивилизации. Возникает здесь и мотив невольной вины героя. Мы можем лишь гадать, почему гладиатор оставил для брани «свободной жизни край» (мечтая о славе или вынужденно защищая отечество), но в любом случае он, как и плененный Мцыри, оказывается причастным чужому миру (отсюда его двойное прощание: *Прости, развратный Рим, – прости, о край родной...* перекликающееся со смертью Мцыри в монастырском саду, откуда «виден и Кавказ», – 2, 489). Нынешний европейский мир, отыскивая свою юность, упирается в соб-

ственное безвинное грехопадение – всякое приобщение к цивилизации (истории) губительно. Новые варвары, идущие на смену одряхлевшему Западу или Востоку, обречены на повторение пройденного и утешение «несбыточными снами» или «заветными преданьями». (Антитезой старому миру может выступать как Россия, так и вольные горские народы; в таком случае Россия, как в «Мцыри», предстает частью Запада.)

Вместе с тем человек нового времени не может до конца раствориться в легендарном прошлом (отождествляемом то с вневременным состоянием, то с чаемым будущим, то с конкретной «экзотической» культурой – одновременно юной и древней). В «Фаталисте» Печорин (на протяжении всего романа тщетно стремящийся совершенно уподобиться горцам) не только восхищается «людьми премудрыми», думавшими, «что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или какие-нибудь вымышленные права», но и иронизирует над ними; нашим «сомнениям» противопоставлены их «заблуждения»²³. Заблуждение (в данном случае вера в судьбу) может послужить стимулом для разового решительного действия, дабы затем уступить место сомнению, приводящему к полному фатализму: «Ведь хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь!»²⁴. Напомним, что общается это читателям, уже знающим о смерти Печорина.

«Заветные преданья» – те же заблуждения, способные на время стимулировать активность обреченного социума. В «Поэте» Лермонтов фиксирует нерушимую связь: целостный древний мир предполагал великого поэта, «век изнеженный» – поэта ничтожного. Если поначалу кажется, что вина лежит на поэте (*В наш век изнеженный не так ли ты, поэт, / Свое утратил назначенье...*), то затем картина усложняется: *Но скучен нам простой и гордый твой язык, / Нас тешат блески и обманы; / Как ветхая краса, наш ветхий мир привык / Морщины прятать под румяны* (2, 28). Это общество требует «блесков и обманов» или «несбыточных снов». «Осмеянному пророку» (как видим, сохранившему «простой и гордый язык») здесь еще дается шанс, хотя признается и его вина (*На злато променяв ту власть, которой свет / Внимал в немом благоговенье*). Но в стихотворении «Не верь себе» поэт показывает, что бес-

смысленным оказывается любой, самый искренний и чистый порыв поэта: *Поверь, для них смешон твой плач и твой укор, / С своим напевом заученным, / Как раздурмяненный трагический актер, / Махающий мечом картонным...* (2, 33). Актером для Рима был реально умирающий гладиатор, актером для современников (заметим перенос метафоры «румян» с толпы на поэта) оборачивается поэт, стремящийся выговорить истинную страсть. (Ср. в «Тамбовской казначейше» с ее последовательной дискредитацией поэзии и страсти: *Повсюду нынче ищут драмы, / Все просят крови – даже дамы – 2, 432²⁵.)*

В таком случае поэтизировать прошлое (настаивать на его реальности и величии) – значит потакать вкусам толпы, в очередной раз оказываться «актером, махающим мечом картонным». Отказ Лермонтова от «заветных преданий» (разумеется, неокончательный, и, как мы убедились, наметившийся задолго до 1841 г.) теснейшим образом связан с его убежденностью в неразрывности собственно событий и памяти о них, истории и ее поэтической интерпретации. Если бессмысленной становится поэзия (а она оказывается либо невостребованной, либо сведенной на уровень забавы – ср. парадоксальное признание в «Сказке для детей»: *Стихов я не читаю – но люблю / Марать шутя бумаги лист летучий – 2, 489), то исчезает и история. Снимая оппозицию «прошлое–современность», Лермонтов в очередной раз выражал презрение именно к современности, без этой оппозиции себя не мыслящей.*

Место отринутых «заветных преданий» в «Родине» занимает мир природы и простой человеческой жизни, увиденный как бы без всякой идеологической призмы. Но Лермонтов вполне ясно представлял всю сложность положения простого человека в контексте современности и помнил о связи патриархальной утопии с поэтизацией прошлого. Отсюда попытки создания идеального примиряющего пейзажа без какого-либо присутствия человека («Когда волнуется желтеющая нива», где лишь соединение несоединимого творит высшую гармонию; «божий сад» в «Мцыри», оборачивающийся враждебным герою лесом), стремление к посмертному внеисторическому и внечеловеческому покою (заключительная строфа «Памяти А.И. О<доевского>», «Выхожу один я на дорогу», финал

«Мцыри»), парадокс «Пророка», обретшего покой в пустыне и отказавшегося от своей миссии (через «шумный град» пророк пробирается торопливо, старцы корят его за прежние проповеди). При этом всякий образ гармонического мира у Лермонтова оказывается неокончательным, рискующим рассыпаться, подобно «несбыточным снам» и «заветным преданьям». Поэт постоянно помнит о том, что он сам силой собственной фантазии строит эти идеальные миры. «Обманывающий» творческий дар оказывается единственным орудием, с помощью которого можно одолеть современную пошлость. Но только временно: действие «старинной мечты», возвращающей в детство, рано или поздно заканчивается: *Когда ж, опомнившись, обман я узнаю / И шум толпы людской спугнет мечту мою, / На праздник незваную гостью, / О как мне хочется смутить веселость их / И дерзко бросить им в глаза железный стих, / Облитый горечью и злостью* («Как часто пестрою толпою окружен», 2, 41). Сотворение иллюзорного мира лишь обостряет конфликт с миром существующим. Действо, как и прошлое, предстает поэтическим обманом (самообманом). Логическим итогом такого понимания творчества должен стать полный отказ от поэзии. «Антиинсторизм» Лермонтова — частное проявление этой тенденции.

Примечания

- ¹ См. опыт подведения предварительных итогов: *Пульхри-тудова Е.М.* Историзм // *Лермонтовская энциклопедия.* М., 1981. С. 202–204. Там же приведена основная литература вопроса.
- ² *Лотман Ю.М.* Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов // *Лотман Ю.М.* Русская литература и культура Просвещения. М., 1998. С. 285–296 (впервые опубликована в 1962 г.); см. также: *Он же.* Поэтическая декларация Лермонтова («Журналист, читатель и писатель») // *Он же.* О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста: Статьи и исследования. Заметки. Рецензии. Выступления. СПб., 1996. С. 530–542.
- ³ *Белинский В.Г.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1978. Т. 3. С. 238 («Стихотворения М. Лермонтова», 1841).
- ⁴ *Лермонтов М.Ю.* Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л., 1989. Т. 2. С. 469. Далее все стихотворные тексты Лермонтова

цитируются по этому изданию; в скобках первая цифра обозначает том, вторая – страницу.

- ⁵ *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977. Т. IV. С. 169.
- ⁶ *Баратынский Е.А.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1989. С. 367; в силу требований московской цензуры, а затем гибели альманаха «Звездочка» эпилог «Эды» был опубликован только в 1860 г., т. е. Лермонтову не был известен.
- ⁷ *Пушкин А.С.* Указ. соч. С. 220.
- ⁸ Ср. особую значимость темы «сада» в поэме. В частности, сад оказывается местом последнего упокоения Мцыри, своего рода медиатором между недостижимым Кавказом и оберегающим монастырем.
- ⁹ Формально Лермонтов мог учитывать опыт «Медного всадника», в котором историко-политический фрагмент также помещен в начало повествования («Вступление»), однако семантика соотношения «вступление-основной текст» в поэмах полярна: в «Медном всаднике» актуализируется трагическая обусловленность настоящего прошлым (единство истории), в «Мцыри» – их противопоставление, роковой разрыв.
- ¹⁰ *Лермонтов М.Ю.* Соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. VI. С. 248; далее ссылка на прозу Лермонтова цитируется по этому изданию, страницы указываются в скобках.
- ¹¹ Отсюда значимость перемещения Печорина из Петербурга (незавершенный роман «Княгиня Лиговская») на Кавказ.
- ¹² *Максимов Д.Е.* Поэзия Лермонтова. М.; Л., 1964; *Лотман Ю.М.* Истоки «толстовского направления»...
- ¹³ Эта традиция восходит к Аполлону Григорьеву, подчеркивавшему, впрочем, в Мцыри (и сходных с ним, с точки зрения критика, Арбенине и Арсенин) в противовес Печорину «силу отчасти зверскую <...> которая сама в лице Мцыри радуется братству с барсами и волками»; цит. по: Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья первая. Пушкин – Грибоедов – Гоголь – Лермонтов, 1859 // Григорьев Аполлон. Искусство и нравственность. М., 1986. С. 108.
- ¹⁴ Отмечено в моем комментарии к изд.: *Лермонтов М.Ю.* Мцыри. М., 1989. С. 189. Об особом интересе Лермонтова к «Гамлету» см.: Шекспир и русская культура. М.; Л., 1965. С. 241–245; Лермонтовская энциклопедия. С. 622–623 (статья Ю.Д. Левина); *Лотман Ю.М.* Лермонтов. Две реминисценции из «Гамлета» // *Лотман Ю.М.* О поэтах и поэзии... С. 543–545.

- 15 В этой связи см.: *Немзер А.С.* О балладном подтексте «Завещания» М.Ю. Лермонтова // Новые безделки: Сб. ст. к 60-летию В.Э. Вацуро. М., 1995–1996. С. 211–222.
- 16 Несомненно иронический (издательски полемический) отсыл к VIII главе «Евгения Онегина», что и не удивительно при демонстративном «Пищу Онегина размером» (2, 411).
- 17 *Вацуро В.Э.* Лермонтов // Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.). Л., 1976. С. 232.
- 18 В иных случаях Лермонтов интерпретирует карточную игру как поединок с судьбой («Фаталист», «Штосс»); в «Тамбовской казначейше» такая трактовка событий (ср. иногда сопоставляемую с поэмой новеллу Э.Т.А. Гофмана «Счастье игрока») если и присутствует, то как объект пародии.
- 19 См.: *Вацуро В.Э.* Указ. соч. С. 233–234.
- 20 См.: *Лотман Ю.М.* «Фаталист» и проблема Востока и Запада в творчестве Лермонтова // Лотман Ю.М. О русской литературе: Ст. и исслед.: история русской прозы, теория литературы. СПб., 1997. С. 609–610.
- 21 *Пушкин А.С.* Указ. соч. Т. III. С. 210.
- 22 *Максимов Д.Е.* Указ. соч. С. 142.
- 23 *Лермонтов М.Ю.* Соч.: В 6 т. Т. VI. С. 343.
- 24 Там же. С. 347.
- 25 Лермонтовская связь мотивов «гладиатор–актер–поэт» (заметим подразумевающую римские обертоны тему «ветхого мира» в «Поэте») отозвалась в переводе А.К. Толстым последней строфы стихотворения Гейне «Nun ist es Zeit, das ich mit Verstand»: *И что я поддельною болью считал, / То боль оказалась живая, – / О боже! Я, раненный насмерть, играл / Гладиатора смерть представляя – Толстой А.К.* Полн собр. стихотворений: В 2 т. Л., 1984. Т. 1. С. 427. У Гейне никакого гладиатора нет: *Ich hab mit dem Tod in der eignen Brust / Den sterbenden Fechter gespielt. – Heine H.* Gedichte. Berlin: Weimar, 1978. S. 119. Герой Гейне актерствует в высокоромантическом стиле, и весь антураж стихотворения (выдержанный, исключая последнюю строфу, и Толстым) отсылает не к Риму, а к стилизованному Средневековью. Получивший огромную популярность перевод Толстого (он входит в роман Гончарова «Обрыв»), в свою очередь, отзывается в стихотворении Пастернака «О знал бы я, что так бывает».

Полезная недостоверность: о критике мемуарных сочинений творцов крестьянской эмансипации

В богатейшей мемуарной литературе, вызванной к жизни эпохой крестьянского освобождения, особое место занимают произведения творцов крестьянского законодательства 1861 г. Такие работы, как правило, отличаются обилием ценных сведений, увлекательным изложением. Читатель ощущает личную причастность к великому свершению, в связи с чем интерес многих поколений исследователей к воспоминаниям эмансипаторов вполне оправдан.

Однако эти сочинения несут на себе и глубокую печать мифологизации Великой реформы. Это проявляется в гиперболизации политических разногласий вокруг реформы, в драматизации обстоятельств этого соперничества вплоть до придания ему черт некоего эпического противостояния, в уничижительной трактовке оппонентов и преувеличении собственных принципиальности, последовательности и благородства. Поскольку в исторической ретроспективе авторы крестьянского законодательства предстают победителями, проводниками прогресса, постольку их позднейшие мемуарные свидетельства исподволь «располагают к себе», пользуются у исследователя привилегией некритического прочтения. Даже оспаривая или корректируя обобщения и выводы мемуариста, историк склонен принимать на веру сообщаемую им фактическую информацию, поддаваться его эмоциональному настрою. Ситуация осложняется тем, что концепция мемуаротворчества как формы исторического самосознания, целостного социокультурного феномена соответствующей эпохи, разработанная А.Г. Тартаковским на материалах XVIII – первой половины XIX в., еще ждет своего примене-

ния к изучению пореформенной мемуаристики. В настоящей статье систематизированы некоторые наблюдения над мемуарными сочинениями эмансипаторов, наиболее широко вовлеченными в научный оборот.

Начать хотелось бы с обзора произведения, которое по строгим классификационным критериям нельзя отнести к разряду мемуаристики, – бесцензурно и анонимно изданного в Берлине в 1860–1862 гг. трехтомника «Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в царствование императора Александра II». Этот опыт злободневной политической публицистики был осуществлен благодаря беспрепятственному оперативному доступу к конфиденциальным правительственным документам¹. С мемуарами «Материалы...» сближает не только их повествовательная форма, но и ярко выраженная субъективная позиция автора-составителя, его партийная пристрастность. Он идентифицирует себя (правда, безусловно) с кружком реформаторов – лидеров Редакционных комиссий (далее РК). Особенно четко это просматривается во втором томе (1859 – первая половина 1860 г.: законотворческая деятельность РК, полемика реформаторов с дворянскими депутатами), который составлялся по горячим следам событий и наглядно отражает их динамику. Работа над книгой была завершена в июле 1860 г., а до читающей публики в России ее экземпляры дошли не позднее середины марта 1861 г.²

И отечественные, и в еще большей мере зарубежные исследователи отмечают тенденциозность «Материалов...» в подборе и интерпретации фактов, зачастую излагаемых в стиле исторического анекдота³. Но, даже не признавая за сведениями «Материалов...» необходимой степени достоверности, можно незаметно для себя оказаться под их опосредованным влиянием. Для того времени они были захватывающим и интригующим чтением, поэтому впоследствии послужили основой для ряда мемуарных сюжетов, которые скорее всего казались их авторам почерпнутыми из собственных воспоминаний. Утрачивая в мемуарном пересказе первоначальную анонимность и памфлетное звучание, эти сообщения могут восприниматься историком с большим доверием, чем они того заслуживают. Так, автор «Материалов...» одним из первых изобразил в драматиче-

ских красках обстоятельства предания гласности знаменитого рескрипта Александра II В.И. Назимову (ноябрь 1857 г.): ретрограды Секретного комитета были настолько отрицательно настроены против реформы, что попытались остановить рассылку губернаторам циркуляра-оповещения министра внутренних дел, уже одобренного царем (!), но лидеры Министерства внутренних дел предугадали этот демарш и днем раньше запустили необратимый процесс гласного обсуждения дела⁴. Эта эффектная версия не выдерживает критики уже потому, что, как указал Д. Филд, она заставляет предполагать в сановниках-консерваторах недостижимую для них политическую смелость⁵. Но в дальнейшем анекдот был добросовестно повторен бывшими чиновниками МВД А.И. Левшиным и Я.А. Соловьевым; в контексте их мемуарного повествования он приобретает внешнее сходство со свидетельством авторитетного очевидца⁶.

В «Материалах...» можно отыскать и истоки некоторых историографических заблуждений. Одно из таких искажений, причем явно умышленных, – трактовка дискуссии лидеров РК с петербургским губернским предводителем дворянства графом П.П. Шуваловым в мае–июне 1859 г. Предметом дискуссии было правовое оформление крестьянского пользования надельной землей после освобождения крестьян. Председатель РК Я.И. Ростовцев полагал, что приобретение всей полноты личных прав должно быть сопряжено с выкупом земли в собственность, а потому режим пользования следует установить лишь на короткий переходный срок, по истечении которого всех крестьян надлежало перевести в категорию собственников. Шувалов же находил, что такой перевод на выкуп мог ущемить личную свободу крестьянина, и предложил построить законодательство на концепции *бессрочного (вечного) пользования* крестьян землей, допуская только строго добровольный выкуп. Ближайшие сотрудники Ростовцева Н.А. Милютин и князь В.А. Черкасский усвоили эту идею и позднее сумели «встроить» ее в механизм гарантированной правительством выкупной операции⁷. Автор же «Материалов...», возможно, выполняя пожелание реформаторов, стремится скрыть суть дискуссии и приоритет их оппонента в обосновании бессрочного пользования. Для этого Шувалову бес-

пardonно приписывается прямо противоположная позиция: он будто бы «восстал» против бессрочного пользования и допускал предоставление земли в пользование крестьян лишь на девятилетний срок, с тем чтобы потом помещик получил право свободного сгона их с наделов⁸. Тем самым весьма непростые взгляды Шувалова вопреки фактам были сведены к примитивной программе обезземливания. Сработал эффект «разоблачения», и ярлык «крепостника» превратился в самую распространенную характеристику этого деятеля в мемуарной и исследовательской литературе.

В связи с общей оценкой достоверности «Материалов...» как источника находится вопрос об авторстве данного труда, которое в 1860 г. не было очевидным даже для такого осведомленного современника тех событий, как А.И. Герцен⁹. Согласно версии, возникшей почти одновременно с их изданием и основанной на ряде косвенных свидетельств, составителем «Материалов...» был сенатор Д.П. Хрущов, бывший крупный чиновник Министерства государственных имуществ, близкий знакомый лидеров РК Милютина, Соловьева, Черкасского, Ю.Ф. Самарина. Из современных авторов специальных исследований по истории реформы такую атрибуцию принимает, хотя и небезоговорочно, Д. Филд¹⁰. В отечественной историографии последних десятилетий точной атрибуции «Материалов...» не придается принципиального значения, так как сложилось мнение о них как о некоем коллективном творении, вышедшем из реформаторской среды. П.А. Зайончковский, а вслед за ним Л.Г. Захарова полагают, что в их подготовке помимо Хрущова активно участвовали Милютин и Черкасский¹¹.

С моей точки зрения, относительно первых двух томов проблема атрибуции должна быть решена более четко. В этой своей части книга несомненно отмечена печатью *индивидуального* творчества, что проявляется не только в авторском публицистическом тексте, но и в компоновке документов, в манере их комментирования. Что же касается документальной базы, она, конечно, могла быть создана совместными усилиями нескольких лиц (это подтверждается и запиской Хрущова Черкасскому от 1860 г., в которой он просит предоставить на несколько дней для ознакомле-

ния отзывы дворянских депутатов¹²). Гипотеза о том, будто работа над первым и вторым томами сосредоточивалась в самом кружке лидеров РК, опровергается доводом, высказанным еще Я.А. Соловьевым, на которого молва также указывала как на одного из составителей: интенсивнейшее законотворчество не оставляло реформаторам времени на такое занятие¹³.

Следует признать, что без детальной текстологической экспертизы авторство Хрущева не может считаться окончательно установленным. Я приведу еще один косвенный аргумент в пользу именно такой атрибуции первого и второго томов, который одновременно служит аргументом для большей источниковедческой осторожности в их отношении. В биографии Хрущева имеется очень печальное обстоятельство: весной 1861 г. он впал в состояние глубокого умопомешательства (из чего ясно, что третий том «Материалов...», составлявшийся в течение 1861 г., не может быть ему атрибутирован)¹⁴. В окружении Хрущева тревога за его душевное здоровье выражалась – иногда, впрочем, в шутливой форме – начиная, по крайней мере, с декабря 1858 г.¹⁵

Историку не под силу подвергнуть подобный текст специальной медицинской экспертизе, но все же в «Материалах...», особенно во втором томе, трудно не обратить внимания на фрагменты, написанные в состоянии крайнего эмоционального возбуждения, если не одержимости навязчивой идеей. Яркий пример – разбор автором всеподданнейшей записки известного деятеля «дворянской олигархии» М.А. Безобразова (октябрь 1859 г.), в которой тот ходатайствовал о роспуске РК и созвании всероссийского дворянского собрания. Враждебность к реформаторам, которой преисполнена записка Безобразова, тускнеет рядом с идеологическим экстремизмом ответного выпада в либеральных «Материалах...». Манипулируя статьями «Уложения о наказаниях», восходящими к Соборному уложению 1649 г., автор доказывает в действиях петиционера состав тяжчайшего государственного преступления – «изъявления» умысла ограничить самодержавную власть – и от лица некоего праведного судилища приговаривает Безобразова к лишению всех прав состояния и смертной казни. Показательно заключение этой «обвинительной речи»:

«Судебное место, самостоятельное и безукоризненное, не могло бы иначе решить этого дела. К сожалению (! – М. Д.), в России закон еще не дорос до степени власти»¹⁶. Можно, конечно, допустить, что мы имеем дело с обдуманым приемом политического противоборства: выход второго тома из печати приурочивался ко времени обсуждения проектов РК в Главном комитете и Государственном совете, где, по убеждению автора, сочувствовавшие планам Безобразова находились в большинстве. Но даже если так оно и было, выбор метода устрашения противника слишком неординарен.

Подытоживая, подчеркну еще раз, что низкая достоверность многих сведений из «Материалов...» не является основанием для отказа от их исследования: это сочинение заложило традицию мифотворчества вокруг реформы, укорененную в научном сознании и неустранимую без скрупулезной саморефлексии.

Спустя 12 лет после издания крестьянского законодательства, летом 1873 г., к работе над мемуарами приступил Я.А. Соловьев. Издав в годы службы несколько научно-статистических исследований, он желал придать и мемуарам значение ученого труда. Отсюда строгая тематическая заданность рассказа, всецело сосредоточенного на «крестьянском деле», и почти полное исключение из него событий частной жизни. Мемуары задумывались в двух частях. Первая часть, охватывающая период с 1856 г. до начала 1859 г. (указ императора об учреждении РК), была завершена Соловьевым в июле 1876 г. Работу над второй частью, главное содержание которой должна была составить деятельность РК, оборвала смерть мемуариста в декабре того же года: он успел дать лишь общую характеристику состава, структуры и круга занятий РК. Рассказ о начале реального законотворчества пресекается буквально на полуслове. Публикация же этого фрагмента в «Русской старине» состоялась раньше, чем первой части записок¹⁷.

Записки Соловьева – один из самых подробных, документально оснащенных и, пожалуй, субъективно правдивых мемуарных источников по истории освобождения. Соловьев принадлежал к числу немногих чиновников, соответствовавших описанному М. Вебером «идеальному типу» бюрократа. Он был настоящим профессионалом в

крестьянском вопросе (в отличие от Н.А. Милютина); его карьера вплоть до 1857 г. была целиком и полностью связана с деятельностью в Министерстве государственных имуществ (МГИ), прежде всего по кадастровой части. В конце 1857 г. Соловьев перешел на службу в Министерство внутренних дел (МВД), во вновь созданный Земский отдел, и вскоре был утвержден неперменным членом отдела. В этом качестве, а затем (с марта 1859 г.) и в должности неперменного члена РК он внес заметный вклад в разработку хозяйственных условий освобождения крестьян.

Опыт и привычки добросовестного бюрократа нашли прямое отражение в мемуаротворчестве Соловьева. Его повествование выстроено по канонам служебного аналитического доклада, в котором каждый тезис выводится из тщательного сопоставления *pro et contra* и обязательно содержит в себе недвусмысленное заключение. Весьма часто повествование плавно перетекает в цитируемый текст документов – сохранившихся у автора черновиков докладов (собственных или составленных для министров внутренних дел и государственных имуществ), копий их беловиков, подлинников писем. Замечу в этой связи, что документальные фрагменты воспоминаний являются публикацией, по всей видимости, лишь малой части материалов личного архива Соловьева. Об архиве нет никаких сведений в справочниках и путеводителях. Между тем его существование, по крайней мере еще в конце 1880-х годов, подтверждается указанием редакции «Русской старины», сделанным при публикации письма Н.А. Милютина Соловьеву от 23 марта/4 апреля 1864 г.: «Нельзя... не порадоваться, что в богатом собрании бумаг и писем сенатора Соловьева, находящемся в распоряжении семьи Я.А., оказалось и подлинное письмо Милютина... и супруга покойного Я.А., Ольга Алексеевна (во втором браке Ларионова), охотно согласилась напечатать это письмо...»¹⁸. Утрачен ли указанный архив безвозвратно или же еще остается надежда его отыскать – вопрос, на мой взгляд, далеко не праздный для специалистов в области как аграрной, так и политической истории России XIX в.

Без ознакомления с соловьевским архивом, к сожалению, нельзя вынести окончательных суждений об археографическом качестве публикации мемуаров. Н.Г. Сими́на

заметила, что цензурные соображения заставляли редактора «Русской старины» М.И. Семейского вычеркивать «большие отрывки» из мемуаров Соловьева¹⁹. Это наблюдение относится не ко всей публикации, а к корректуре второй главы записок, причем преувеличивать ущерб, причиненный тексту такими купюрами, нет оснований: Семейский изъял ряд критических замечаний по адресу тех или иных лиц, но нисколько не приглушил общей резкой тональности отзывов автора об этих деятелях²⁰.

Большого внимания заслуживают те погрешности в публикации, которые нельзя объяснить ссылкой на цензурные стеснения. В распоряжении редакции находилась копия рукописи Соловьева с правкой, осуществленной самим автором. (Главным образом это вычеркивания, которые редакция при публикации оговаривала, помещая в подстрочных примечаниях опущенные фрагменты.) Непрочитанными остались 25 строк в начале рассуждений Соловьева о причинах «обращения» Я.И. Ростовцева, будущего председателя РК, из «ретрограда» в ревностного эмансипатора: автор тщательно их вымарал²¹. Полагаю, что речь в них шла не о каких-то политических секретах, как считают некоторые исследователи²², а о расхожих полуанекдотических версиях, пересказывать которые добросовестный мемуарист просто устыдился. Вслед за купюрой автор высказывал оригинальное предположение о консультациях Ростовцева летом 1858 г. с бывшим начальником Соловьева по кадрам службы Н.А. Жеребцовым, что находит подтверждение и в архивных данных²³.

Есть основания утверждать, что не все внесенные Соловьевым коррективы были учтены редакцией. Судя по восстановленным ею купюрам, те или иные пассажи Соловьев удалял главным образом в порядке стилистической правки: снимал смысловые и речевые повторы, устранял неточные формулировки. Однако в архиве журнала сохранилась сводная рукописная копия вычеркнутых автором фрагментов, один из которых изымался явно для исправления ошибки памяти и не был восстановлен в редакционных примечаниях, вследствие чего в напечатанном тексте возникло разночтение по довольно важному вопросу. Фрагмент относится к третьей главе (о подготовке в марте–апреле 1858 г. «Программы для занятий дворянских губерни-

ских комитетов», призванной унифицировать их будущие проекты); в нем разъяснялась роль в этом деле Ростовцева: «В великий пост 1858 г. он отправился говеть на станцию петербургско-московского шоссе Померанию (так в копии; верное написание “Померанье”. – М. Д.), где он имел удобное помещение в так называемом путевом дворце... Он взял с собою одного или двух чиновников и забрал из главного комитета бумаги по крестьянскому делу. По возвращении оттуда он выражался на своем фигуральном языке, что “усадьба для крестьянина – это конфетка, а ему нужен и хлеб”»²⁴.

В первой главе мемуаров имеется близкий к процитированному тексту отрывок, в котором поездка Ростовцева в Померанье для изучения бумаг по крестьянскому делу датируется «великим постом 1857 года», т. е. временем, когда он готовил пространную записку для Секретного (еще не Главного) комитета²⁵. Видимо, у Соловьева произошло «удвоение» воспоминания, и в конце концов он остановился на варианте 1857 г. Но в опубликованном тексте третьей главы осталось «невычищенным» еще одно, беглое, указание на будто бы имевшую место отлучку Ростовцева из Петербурга весной 1858 г.: «...Для приготовления себя к этой работе [над программой] он отправился в Померанию, о чем было упомянуто выше»²⁶. Читателя запутывает не только отсылка «выше», ибо в публикации выше можно найти сообщение о поездке весной 1857 г., но и курьезная топонимическая опечатка (Померанье – Померания). В результате может создаться впечатление, будто влияние могущественной «крепостнической партии» (один из жупелов в мемуарах Соловьева) было столь велико и всепроникающе, что Ростовцеву для мало-мальски самостоятельных занятий пришлось на несколько дней покинуть пределы не только столицы, но и империи.

Косвенным свидетельством археографической небрежности служит характер использования редакцией заметок Александра II на полях корректуры первой главы мемуаров Соловьева (начало 1881 г.). Неизвестно, предназначались ли с самого начала эти маргиналии для печати – опубликованы они были в том же году в четвертом, траурном, номере журнала, в память о деятельности государя в последние месяцы жизни²⁷. Публикация была преднаме-

ренно неполной: редакция отобрала для предания гласности лишь те замечания царя, в которых он соглашался с автором и подтверждал верность его сведений. (Вероятно, в большей степени, чем опасение цензурных неприятностей, здесь сказалась идеологическая ангажированность редакции, желавшей закрепить в сознании читателя образ единогодушного согласия и доверия между «Царем-Освободителем» и реформаторами.) Критические же отзывы и комментарии Александра оставили неявные следы в тексте первой главы, опубликованной еще в февральском номере. Естественно, что в феврале 1881 г. публикаторы не могли прямо сослаться на высказанное в частном порядке мнение еще здравствовавшего государя, но едва ли это оправдывает редакционные вторжения в авторский текст, предпринятые с целью привести его в соответствие с царскими замечаниями.

Так, на сообщение Соловьева о том, что своей решимостью начать освободительную реформу царь во многом был обязан внушениям и рекомендациям великой княгини Елены Павловны и барона А. Гакстгаузена, Александр отозвался пометкой: «Совершенный вздор!». Поэтому в публикации Соловьеву приписывается заявление о том, что «государь без всякого (постороннего) влияния решил на освобождение крестьян...»²⁸. Несколько ценных замечаний императора относятся к личности, которая в записках Соловьева занимает место классического отрицательного персонажа, – министру государственных имуществ М.Н. Муравьеву. Император отверг утверждение Соловьева, будто назначение Муравьева на министерский пост было организовано «партией князя Орлова, князя Долгорукова и некоторых других» (т. е. «крепостниками»): «Ни у Орлова, ни у Долгор[укова] никакой партии не было». Редакция устранила из высочайше прокомментированного пассажа слово «партия», хотя и до и после этого места оно встречается в публикации очень часто, и именно в том политическом значении, какое ему придавал Соловьев²⁹. Комментируя в другом случае предположение Соловьева о связи кадровых перемен в МГИ с «ретроградным движением к дальнейшему развитию крепостного права», царь подчеркнул обусловленность назначения Муравьева задачами в области государственного хозяйства: «Оно не имело ничего общего с

крестьян[ским] делом». В опубликованном тексте мемуаров эта поправка помещена как анонимное примечание³⁰.

Содержание записок Соловьева отличается высокой степенью мемуарного эгоцентризма. Своей фигуре автор отводит в повествовании весьма заметное и почетное место, неустанно подчеркивая связь между своей служебной деятельностью и поступательным развитием крестьянского дела. Насколько ревниво относился Соловьев к признанию внесенного им в подготовку реформы вклада, показывает его полемика с М.А. Милютиной, женой покойного к тому времени Н.А. Милютин. Данный факт интересен для источниковеда и тем, что мемуары Милютиной были опубликованы в конце 1890-х годов и знакомство с ними Соловьева свидетельствует об их рукописном хождении, по крайней мере в кругу бывших участников разработки крестьянского законодательства. Соловьев принципиально оспаривал сообщение мемуаристики о том, будто Милютин еще до учреждения РК в марте 1859 г. своевременными советами и направляющими указаниями устранял колебания и заминки в деятельности Земского отдела: «Такой отзыв совершенно несогласен ни с свойством моих отношений к Ник[олаю] Алек[сеевичу], ни с характером моей деятельности по крестьянскому делу»³¹. Из предложенной самим Соловьевым версии его взаимоотношений с Милютиным ясно, что эгоцентризм мемуариста был не столько личностного, сколько, если можно так выразиться, бюрократического происхождения: более всего он беспокоился о правильном и компетентном освещении крестьянской политики МВД, ее общей концепции и организационных основ. С этой точки зрения преувеличение роли Милютина в разработке аграрно-крестьянской проблематики (он возглавлял в МВД Хозяйственный департамент, но не имел прямого отношения к функционированию Земского отдела) искажало схему распределения полномочий в верхах МВД³².

Интересное замечание по этому поводу высказал в комментариях к запискам Соловьева великий князь Константин Николаевич. Он критиковал автора мемуаров за то, что тот «слишком поднимает роль Министерства внутренних дел, умаляя дело, совершенное Главным комитетом...»³³. Отсюда можно заключить, что пристрастность Соловьева-мемуариста была прямым отражением пристраст-

ности Соловьева–чиновника МВД, который стремился расширить участие министерства в законодательном процессе. Иными словами, мемуарист оставался «патриотом» своего бывшего ведомства.

Именно проблема интерпретации взаимодействия МВД с другими правительственными институтами и лицами в конце 1857 – начале 1859 г. является ключевой в источниковедческом анализе содержания соловьевских мемуаров. С фактологической стороны в них наиболее ценна и нетривиальна информация о деятельности «комиссии четырех сановников» – членов Главного комитета (Я.И. Ростовцева, М.Н. Муравьева, министра внутренних дел С.С. Ланского, министра юстиции В.Н. Панина), созданной де-факто в мае 1858 г. для обсуждения реформы местного управления в связи с освобождением, а затем взявшей на себя и предварительное рассмотрение проектов освобождения, представленных дворянскими комитетами. Заседания комиссии нередко проходили на квартире у кого-либо из сановников и не всегда документировались в делопроизводстве Главного комитета. Соловьев же имел возможность непосредственно наблюдать многие из этих совещаний. Так, лишь в его мемуарах находим объяснение, почему журнал Главного комитета об учреждении Редакционных комиссий от 4 февраля 1859 г. не отложился в официальном делопроизводстве: он не проходил через общее собрание комитета, а был сразу послан от имени комиссии четырех сановников на утверждение императору, который в те дни находился на охоте в Новгородской губернии³⁴. Отклонение от обычной процедуры предвосхитило неформальный характер деятельности будущего законотворческого органа.

Но даже в этих главах записок ровное и плавное, на первый взгляд, течение мысли мемуариста таит под собой подводные камни для исследователя. Подбор и расположение фактического материала, как и смысловая структура мемуарного повествования, деформированы вследствие смешения двух разнородных авторских установок – нарративной и идейно-политической. С одной стороны, мемуарист подробно, шаг за шагом, излагает перипетии и хитросплетения борьбы вокруг проектов крестьянской и административной реформ, которая подчинялась специфической

логике бюрократического соперничества, по не нормам публичной политики. Например, серьезные разногласия по крестьянской реформе не исключали сближения между теми же лицами во взглядах на преобразование местного управления, если это было необходимо для сохранения негласного межведомственного равновесия³⁵.

С другой стороны, законы мемуарного жанра (увлекательность, дидактизм), европеизированные стандарты политического мышления диктовали автору воспоминаний довольно жесткие требования. Его сверхзадачей было не просто рассказать о крестьянском деле, но доказать, что оно являлось ареной борьбы между двумя не до конца оформившимися, но явственно выделившимися «партиями», со своими лидерами, программами и мобилизованными сторонниками в обществе – «эмансипаторской» и «ретроградной» («крепостнической»). Уже в откликах современников на записки эта схема подвергалась критике³⁶. Придерживаться ее было не так легко и самому мемуаристу.

Отсюда ряд умолчаний и недомолвок. Наиболее существенные из них были обусловлены спецификой должностных полномочий Соловьева в описываемый в мемуарах период. Фактически руководя работой Земского отдела и подчиняясь на посту неперменного члена министру Ланскому, он одновременно был помощником управляющего делами «комиссии четырех сановников» и в этом качестве вполне официально сотрудничал с теми лицами, которые в его мемуарах числятся среди лидеров «крепостнической» партии. Такое совмещение статусов, вполне естественное и обычное в поле бюрократической игры, зачастую не вписывалось в модель драматического противоборства между принципиальными политическими врагами.

Особые трудности возникали у автора с «презентацией» Ростовцева. В мемуарах очень подробно прослеживается ход скрытого соперничества, которое развернулось в конце 1858 – начале 1859 г. между МВД и ближайшим к царю сановником за руководство законотворческим органом, призванным разработать общероссийский проект реформы. Соловьев объясняет и главную причину недоверия лидеров МВД к Ростовцеву: генерал-адъютант даже после изменения своих взглядов на условия крестьянского освобождения упорно и почти в одиночку отстаивал (до февраля

1859 г.) «ретроградную» идею об учреждении должности уездных начальников с широкими административными полномочиями³⁷. Замысел такой реформы был настолько неприемлем для министерства и так отчетливо обнаруживал политические амбиции Ростовцева, что Соловьев и 18 лет спустя, полностью признавая заслуги Ростовцева на посту председателя РК, давал понять, что деятели МВД продолжали видеть в нем конкурента вплоть до его неожиданной смерти в начале 1860 г.: «Он, не возбуждая подозрения, мог призвать к участию в разрешении крестьянского вопроса людей либеральных, может быть единственно только для того, чтобы воспользоваться их знаниями и способностями и потом вовсе устранить их от участия в деле»³⁸. (Замечание, проливающее свет на противоречия внутри реформаторской команды РК, которые в других мемуарах, особенно М.А. Милютиной и П.П. Семенова-Тян-Шанского, фактически отрицаются.)

Поэтому на страницах записок Соловьев чаще предстает дискутирующим с Ростовцевым, деликатно, но твердо наставляющим его на путь истинный³⁹, чем содействующим ему в реализации идей, продвижение которых давало будущему председателю РК перевес над министерством. Между тем это сотрудничество имело место даже в столь важном деле, как составление по инициативе Ростовцева новой правительственной программы эмансипации в ноябре – начале декабря 1858 г., окончательно зафиксированной в журнале Главного комитета от 4 декабря. Пожелание постепенного превращения крестьян в собственников наделенной земли, высказанное Ростовцевым во всеподданнейших письмах в августе–сентябре 1858 г., было выражено в журнале 4 декабря в форме концептуальной установки: «Способствовать всеми возможными мерами к ограждению большого сельского хозяйства... оказывая всемерно покровительство устройству и малых хозяйств, дабы сохранить нашу земледельческую промышленность...»⁴⁰. Есть веские основания полагать, что Соловьев внес непосредственный вклад в выработку этой формулы социально-экономического компромисса. Во-первых, пункты журнала Главного комитета, как сообщает в своих мемуарах П.П. Семенов-Тян-Шанский, формулировались и правились Ростовцевым «при участии статс-секретаря Жуков-

ского». С.М. Жуковский, управляющий делами «комиссии четырех сановников», не был специалистом в аграрно-хозяйственных вопросах, но таковым был его помощник Соловьев. Во-вторых, и это главное, стоит сравнить процитированный выше пункт журнала с программным выводом, которым Соловьев тремя месяцами ранее заключил свою обширную статью «О поземельном владении в России» в «Отечественных записках»: «В таком государстве, как Россия, исключительно дробной собственности существовать не может, а исключительное распределение всей массы поземельной собственности между казной и крупными землевладельцами может привести к пагубным последствиям. Следовательно, дробное личное владение должно существовать рядом с крупной собственностью... Дробное владение, с постепенным развитием личной крестьянской собственности... необходимо для прочного устройства быта многочисленного крестьянского сословия»⁴¹. Что же касается мемуаров, то в них содержится лишь скромный намек на содействие Ростовцеву: утверждая, что «можно заметить значительное различие между благими, но неясными намерениями» в собственных писаниях генерал-адъютанта и «положительными правилами, вышедшими из главного комитета», автор не называет никого, кто мог бы, с его точки зрения, так помочь Ростовцеву в разработке программы⁴².

Подобную же уклончивость Соловьев проявил и при освещении предыстории РК. Идея создания особого законодательного органа впервые была официально заявлена в записке министра внутренних дел Ланского от 10 октября 1858 г., составленной именно Соловьевым⁴³. Главный комитет не дал ответа на записку, но спустя три месяца, в конце января 1859 г., предложение создать почти идентичные по составу, структуре и задачам комиссии было внесено в «комиссию четырех сановников» Ростовцевым. Это представление, как известно, имело полный успех, хотя деятели МВД (и Соловьев этого не скрывает) пытались предотвратить назначение Ростовцева председателем РК. В мемуарах имеется примечательная оговорка: автор будто бы не располагает точными сведениями о том, когда генерал-адъютант ознакомился с запиской МВД от 10 октября – до или после составления собственной записки, но допускает, что Ростовцев выработал свое предложение само-

стоятельно⁴⁴. Между тем не где-нибудь, а в архиве Земского отдела в одном деле с запиской министра от 10 октября, отложилось отношение Ростовцева Ланскому, датированное 17 октября 1858 г., в котором генерал-адъютант одобрительно отзывался о записке⁴⁵. Трудно представить, чтобы это послание могло пройти мимо неперменного члена Земского отдела и доверенного сотрудника министра. Возможно, при написании мемуаров Соловьев действительно уже не помнил об этом, но в данном случае забывчивость в той же степени, что и сознательное умолчание, свидетельствует о нежелании признать, что МВД, плохо рассчитав последствия, подсказало Ростовцеву организационную форму законотворчества.

К разряду явных передержек в мемуарах Соловьева надо отнести трактовку деятельности министра государственных имуществ М.Н. Муравьева. Эпизодическое введение Муравьева в повествование служит для автора своего рода литературным приемом, средством риторического воздействия на читателя, дабы тому не вздумалось приуменьшить масштаб преодолевавшихся реформаторами МВД препон и грозивших им опасностей. Это не что иное, как персонаж-функция. За исключением сведений о личных взаимоотношениях с Муравьевым (до своего добровольного ухода в МВД Соловьев более полугода прослужил под его началом и, кстати сказать, числился на хорошем счету)⁴⁶, мемуарная информация о руководителе МГИ неоригинальна и легко «узнаваема»: она восходит к голословным слухам, напечатанным в хрущовских «Материалах...». В сущности, из раза в раз Соловьев воспроизводит одну и ту же картинку: озлобленный Муравьев «разъезжает» по губерниям (на самом деле это были не праздные во-яжи, а ответственные и трудоемкие ревизии), встречается с дворянством, нещадно ругает эмансипаторов и всячески поощряет собеседников саботировать реформу⁴⁷.

По моему убеждению, реальная роль Муравьева в подготовке реформы 1861 г. еще должна стать предметом объективного исследования. Противоречия между ним и лидерами МВД были столкновением не «крепостничества» и «эмансипаторства», а двух альтернативных бюрократических концепций аграрного реформирования⁴⁸. Косвенные подтверждения тому можно найти и у Соловьева, однако

лишь при сопоставлении мемуаров с архивным материалом. Один из таких сюжетов – участие автора в обсуждении проекта реформы, предложенного влиятельным аристократом графом А.П. Бобринским. Проект, представленный императору и переданный тем на рассмотрение Главного комитета летом 1858 г., рекомендовал, чтобы казна провела выкуп урезанных крестьянских наделов (в среднем по 2,5 дес. на душу) посредством равноценного обмена отошедшей от помещика земли на «соответственное количество казенной земли и лесов в разных губерниях, где они только есть...»⁴⁹. Соловьев в предварительном докладе по проекту (цитируемом в мемуарах) отметил прожектерский характер предложенных Бобринским мер, но подчеркивал, что вопрос о превращении крестьян в собственников поднят им своевременно. Мемуарист сообщает, что не помнит, «этот ли самый доклад был обращен во всеподданнейший доклад министра государю или на основании его составлен был другой»⁵⁰. То, что отзыв готовился исключительно для министра внутренних дел, подразумевается само собой. Однако здесь Соловьев кое-что недоговаривает: проект Бобринского в той же степени затрагивал сферу компетенции министра государственных имуществ, и доклад о нем был представлен в Главный комитет именно Муравьевым (18 октября 1858 г.). Этот последний действительно включил в доклад контраргументы Соловьева, а главное, существенно развил тезис о положительном значении проекта Бобринского для официальной постановки выкупного вопроса. Муравьев более четко, чем тогда же Ростовцев во «всеподданнейших письмах», сформулировал необходимость государственной поддержки выкупа крестьянских наделов, предложив использовать государственные имущества в качестве финансовой гарантии операции⁵¹. Такие действия, конечно же, не соответствовали мемуарному образу «крепостника». Справедливости ради добавлю, что выявить подобные умолчания Соловьева помогает его же обстоятельная, «делопроизводственная» манера изложения, внутренняя логика текста.

Вершиной традиции мемуаротворчества участников подготовки реформы стали четырехтомные воспоминания П.П. Семенова-Тян-Шанского. В литературном отношении это – замечательный памятник, давно ожидающийся дос-

тойного переиздания. Последние два тома составляют по сути дела отдельное повествование под заглавием «Эпоха освобождения крестьян в России (1857–1861 гг.) в воспоминаниях бывшего члена-эксперта и заведывавшего делами Редакционных комиссий». Мемуарист широкими и смелыми мазками рисует панорамную картину развития крестьянского дела, выдвигает глубокие концептуальные обобщения при изложении законотворчества РК, дает ценные биографические характеристики. Однако беспристрастный тон умудренного жизнью патриарха (по точному замечанию Д. Филда, автор «затруднялся говорить плохо о ком бы то ни было, кроме поляков»⁵²) скрывает в мемуарах четкую субъективную заданность всего труда. Еще в 1861 г. признанный лидер реформаторов Н.А. Милютин обратился к Семенову с просьбой оказать содействие компилятору известного систематизированного свода материалов РК А.И. Скребицкому: «Вы играли такую роль в Комиссии, что все, до нее касающееся, не чуждо Вам. ...Помогите почтенному труженику, ради общей пользы, ради нашей репутации, ради великого дела»⁵³. Милютин словно предвидел будущее: Семенов, пережив к началу нового столетия всех своих товарищей по РК, принял на себя миссию хранителя памяти об эмансипации, превратился в своего рода полномочного посланника творцов реформы перед лицом нового поколения государственных деятелей. Поэтому мемуары, создававшиеся спустя более чем полвека после описываемых в них событий, в атмосфере горячих дискуссий о возвращенных реформой плодах, должны были выполнять дидактическую, наставническую функцию.

Реформаторская команда предстает в мемуарах Семенова-Тян-Шанского образцом коллективной государственной мудрости, политической дисциплины и бюрократического профессионализма. Так, при освещении законотворчества по важнейшим аграрным вопросам мемуарист склонен акцентировать изначальную сплоченность ведущих членов РК вокруг компромиссной программы, вскользь упоминая о спорах между ними как неизбежном элементе беседы умных людей⁵⁴. Однако из его же более раннего (и частного) свидетельства видно, что конкуренция, и подчас напряженная, альтернативных воззрений была неотъемлемой частью законотворческого процесса даже

в узком кругу реформаторов. В кратком очерке деятельности Ю.Ф. Самарина в РК, составленном Семеновым в 1879 г. (за 30 лет до мемуаров) по просьбе Д.Ф. Самарина – издателя сочинений своего старшего брата, оригинально объясняется распределение занятий в ключевом для законотворчества Хозяйственном отделении РК. Лидер реформаторов Милютин желал направить споры между коллегами на совместное практическое решение конкретных вопросов и для того образовал два законотворческих, как говорят сейчас, тандема из оппонировавших друг другу членов. Разработка комплекса вопросов о наделе была поручена Черкасскому и Соловьеву, а о повинностях – П.П. Семенову и Самарину. «Обе рабочие комбинации, – писал Семенов, – оказались весьма удобными и соответствовали вполне целям Н.А. Милютина: он очень хорошо знал самостоятельность каждого из нас, с радостью соглашался с нами, когда мы были согласны между собою, и видел удобную для себя гарантию в том, что при разномыслии нашем вопрос будет при диспуте разъяснен со всех сторон и за Н[иколаем] А[лексеевичем] останется при его разрешении последнее слово»⁵⁵. Данное наблюдение, не вошедшее затем в мемуары, ценно для анализа внутренних противоречий реформаторской программы.

Горячая вера в актуальность опыта эмансипации побуждала Семенова-Тян-Шанского модернизировать в мемуарном изложении аграрно-экономическую концепцию РК, искусственно «подтягивать» ее к дебатам начала XX в. о пути аграрного развития. Относясь без большого энтузиазма к столыпинской реформе и считая ошибкой усиленное насаждение хуторского и отрубного хозяйства, он тем не менее стремился объяснить закономерность поворота аграрной политики не просто из объективных последствий реализации крестьянского законодательства 1861 г., но опять-таки из некоего завета его творцов, к числу коих принадлежал сам.

С источниковедческой точки зрения эту особенность смысловой структуры мемуаров хорошо иллюстрирует черновая рукопись фрагмента об обсуждении в РК проблемы выдела из общины. Бурная дискуссия по этому предмету состоялась в августе 1860 г. и привела к одобрению положения проекта, которое вошло в окончательный текст за-

кона в качестве статьи 36 «Общего положения» и статьи 165 «Положения о выкупе». В ходе обсуждения за право каждого члена сельского общества требовать себе выдела личного земельного участка (как было уточнено затем, при условии полного погашения им выкупного долга) высказались 16 членов РК, против – 5, причем произошел раскол между ведущими членами: Милютин и Соловьев проголосовали «за», Самарин и Черкасский – «против». Среди противников выдела оказался и будущий мемуарист.

Спустя полвека при воссоздании этого эпизода Семенов-Тянь-Шанский опирался на известную «Хронику деятельности Комиссий по крестьянскому делу» – неформальный протокол заседаний, изданный его братом Н.П. Семеновым, тоже бывшим членом комиссий. В «Хронике» почти все выступления участников названной дискуссии, и особенно сторонников выдела, не воспроизводятся в форме прямой речи, а конспективно пересказываются. Сам хроникер вместе с братом резко осуждал выдел, и как раз его выступление представлено гораздо полнее остальных⁵⁶. Возможно, Н.П. Семенов, готовя свои записки к изданию в конце 1880-х – начале 1890-х годов, ретроспективно привнес в протокол заседания собственную пристрастную оценку дискуссии⁵⁷. Во всяком случае, аргументация противников выдела (в частности, предсказания массовой скупки крестьянской земли по мере уменьшения выкупного долга) звучит в «Хронике» удивительно современно для 1892–1893 гг., когда МВД проводило через Государственный совет проект закона о запрещении отчуждения общинной земли⁵⁸.

В мемуарах Семенова-Тянь-Шанского расстановка акцентов иная, и главным оратором здесь предстает не Н.П. Семенов, а В.А. Черкасский. Отраженное в «Хронике» в виде самых кратких тезисов (из которых не вполне ясно, почему же этот противник общинного землепользования отвергал пункт о выделе)⁵⁹, выступление Черкасского возведено до уровня программной реформаторской декларации, содержащей прогноз развития аграрного строя «во все продолжение XIX в.». Черновая рукопись позволяет проследить сам процесс этой «метаморфозы». Первоначально мемуарист, сохраняя зафиксированную в «Хронике» последовательность выступлений, расширил тезисы речи Чер-

касского: после слов о вредном влиянии общинного хозяйства на прогресс «агрономического дела в России» (имеющих аналог в «Хронике») «мемуарный» Черкасский переходит к заявлению о том, что как бы там ни было, но «только такое устройство может бороться с усилиями помещиков удержать все крестьянское население в патриархальной административной или по крайней [мере] экономической зависимости...»⁶⁰. Затем этот вариант был заменен еще более пространным, близким к опубликованному. В нем уже говорится о значении общинной поземельной собственности для предотвращения зависимости крестьян от «других сословий» вообще: поправка, создающая эффект предвидения в 1860 г. более сложной социальной структуры конца XIX в.⁶¹ Вносится также композиционная корректива: суждение Черкасского, высказанное им, согласно вычеркнутой версии, где-то в середине дискуссии от себя лично, превращено в итоговый ответ на возражения оппонентов, причем ответу сообщается теперь характер коллективной отповеди, которую оратор произносит едва ли не по поручению всех остальных четырех противников выдела. Так, в уста Черкасского вкладывается прозорливое утверждение, что лишь «по окончании» выкупной операции, «через полвека, можно уже будет думать о предоставлении крестьянских надельных земель в личную их собственность»⁶². Сделать подобный прогноз «из 1860 года» Черкасскому было бы весьма затруднительно⁶³. Смысл этой достаточно произвольной реконструкции в мемуарах очевиден: если даже авторитетные противники общинного землевладения в Редакционных комиссиях соглашались «потерпеть» 50 лет, то, следовательно, нет никаких оснований считать столыпинскую реформу запоздавшей и спешить с насильственным разрушением общины.

Разумеется, приведенные замечания не умаляют ценности мемуаров как источника по истории эмансипации. Проблема, к которой хотелось бы привлечь внимание, заключается не в использовании их историком в принципе, а в методике этого использования. В работах по данной тематике следует опасаться «передозировки» мемуаров в источниковой базе. Получая приоритет перед свидетельствами других источников, мемуаристы направляют исследователя по давно проторенным сюжетным тропам и консервиру-

ют изучение политической истории реформы 1861 г. в прочно сложившихся хрестоматийных рамках, тогда как она настоятельно требует свежего взгляда, постановки оригинальных вопросов. Способны ли мемуары помочь такому обновлению? Убежден, что способны. Исторические воспоминания могут быть более или менее достоверными в плане отражения верифицируемых фактов, более или менее подходящими для решения конкретно поставленной исследовательской задачи. Но не бывает мемуаров вообще «хороших» или вообще «плохих» для исследователя. Грубые искажения, передержки, умолчания, ошибки памяти в мемуарах, если они анализируются в своей причинно-мотивационной подоплеке, есть сами по себе ценнейшая информация, стимул к переосмыслению тривиальных выводов, опознавательный знак, «сигнальный флажок» над какой-либо, возможно, еще не сформулированной проблемой или не раскрытым пока сюжетом.

Примечания

- ¹ Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в царствование императора Александра II. Берлин, 1860. Т. I. С. IV.
- ² Основание для датировки дает помещенный на последних страницах тома краткий обзор хода дел в РК: «К концу июня половина положения (т. е. законопроекта) уже написана. К августу работа будет несомненно совершенно готова...» (Материалы... Берлин, 1861. Т. II. С. 456). Одно из свидетельств быстрого поступления книги в Россию – запись в дневнике П.А. Валуева от 20 марта 1861 г.: Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. М., 1961. Т. I. С. 90.
- ³ См., например: *Захарова Л.Г.* Самодержавие и отмена крепостного права в России: 1856–1861. М., 1984. С. 21; *Emmons T.L.* The Russian Landed Gentry and the Peasant Emancipation of 1861. Cambridge, Eng., 1968. P. 264.
- ⁴ Материалы... Т. I. С. 156.
- ⁵ *Field D.* The End of Serfdom. Cambridge, Mass., 1976. P. 394–395, п. 119. Версия опровергается не только собственной внутренней противоречивостью, но и архивными материалами, см.: *Ibid.* P. 85–86.
- ⁶ Русский архив. 1885. № 8. С. 534–535; Русская старина. 1881. № 3. С. 726 (Далее: РС).

- ⁷ Трактровку полемики Шувалова и Ростовцева см.: [Долбилов М.Д.] Земельная собственность и освобождение крестьян // *Собственность на землю в России: История и современность*. М., 2002. С. 101–105.
- ⁸ Материалы... Т. II. С. 21–22, 84–85.
- ⁹ См. об этом в переписке А.И. Герцена и И.С. Тургенева: *Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма*. М., 1987. Т. 4: 1859–1861. С. 255, 592.
- ¹⁰ Field D. Op. cit. P. 394, 452 etc.
- ¹¹ Дневник П.А. Валуева... Т. I. С. 369 (коммент. П.А. Зайончковского); *Захарова Л.Г. Указ. соч.* С. 21.
- ¹² Отдел рукописей Рос. гос. библиот. Ф. 327/II. К. 15. Ед. хр. 20. Л. 1 (Далее: ОР РГБ).
- ¹³ РС. 1881. № 2. С. 233–234, примеч.
- ¹⁴ «...В публике утверждают, что Хрущов с ума сошел», – эта запись в дневнике В.Ф. Одоевского относится к декабрю 1860 г., т. е. ко времени, когда второй том «Материалов...» готовился к печати. В частном письме жены Н.А. Милютина М.А. Милютиной к Е.А. Черкасской от 5 апреля 1861 г. о сумасшествии Хрущова сообщается как о свершившемся факте (Литературное наследство. М., 1935. Т. 22–24. С. 123; ОР РГБ. Ф. 327/II. К. 10. Ед. хр. 56. Л. 36 об.–37 об.; см. также: Дневник П.А. Валуева... Т. I. С. 93–94; *Половцов А.А. Записки* // РС. 1913. № 11. С. 312).
- ¹⁵ В своем дневнике М.А. Милютина, описывая раздувание Хрущовым известного скандала вокруг петербургской общественной думы в конце 1858 г. (см. о нем: *Нардова В.А. Правительство и проблема городского самоуправления в России середины XIX в.* // *Английская набережная, 4: Ежегодник С.-Петербургского научного общества историков и архивистов*. СПб., 1997. С. 201–204), утверждала, что он действовал «по свойственной ему самонадеянности и немного по слабости рассудка...». Спустя два месяца, в феврале 1859 г., Милютина так передала взгляд своего мужа на Хрущова: «...Николай любит его за его честные побуждения и стойкость в мнениях (которые, впрочем, он берет у других), хотя и признается иногда, смеясь, что умственные способности несколько швах». Любопытно, как преломилось это определение в позднейших записках Милютиной, где Хрущов в той же связи назван «слишком рьяным покровителем возникавшей тогда “благодетельной гласно-

- сти" (многим в то время вскружившей головы)». (Российский государственный исторический архив. Ф. 869. Оп. 1. Д. 1136. Л. 56 об., 76 об.–77 (Далее: РГИА); РС. 1899. № 1. С. 47–48).
- 16 Материалы... Т. II. С. 251–254.
- 17 РС. 1881. № 2. С. 213; 1880. № 2. С. 361.
- 18 Там же. 1887. № 4. С. 181–182.
- 19 *Симина Н.Г.* Исторические документы на страницах «Русской старины» в 70–80-х годах XIX в. // Исследования по отечественному источниковедению (Тр. Ленингр. отд-ния Ин-та истории: Вып. 7). Л., 1964. С. 202.
- 20 См.: Рукописный отдел Института русской литературы РАН. Ф. 265. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 110 об., 112 (Далее: РО ИРЛИ).
- 21 РС. 1883. № 2. С. 265.
- 22 *Кахк Ю.Ю.* Эстония в общероссийской революционной ситуации конца 1850-х – начала 1860-х годов // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1965.
- 23 Версию о влиянии Жеребцова см.: РС. 1883. № 2: С. 266–267, ср.: Рос. гос. архив литературы и искусства. Ф. 1881. Оп. 1. Д. 6 (письма Ростовцева Жеребцову 1858–1859 гг.); РГИА. Ф. 1180. Оп. т. XV. Д. 112. Л. 67 и сл. (письма Жеребцова Ростовцеву).
- 24 РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 2622. Л. 11–11 об.
- 25 РС. 1881. № 2. С. 237 (в этом месте явная опечатка – в «пустом» дворце вместо «путевом»).
- 26 Там же. 1882. № 1. С. 249.
- 27 Там же. 1881. № 4. С. 903–905.
- 28 РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 2621. Л. 15 об. (сводная копия замечаний царя); РС. 1881. № 2. С. 241.
- 29 РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 2621. Л. 16; РС. 1881. № 2. С. 241.
- 30 РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 2621. Л. 7 об.; РС. 1881. № 2. С. 226.
- 31 РС. 1882. № 4. С. 132. В опубликованной версии записок Милютиной (РС. 1899. № 1–4) не содержится ответной полемики с Соловьевым, как нет и вообще следов какой-либо правки текста после середины 1870-х годов. Однако в личном архивном фонде Милютиных сохранилась рукопись полемической реплики Милютиной по этому вопросу. См.: РГИА. Ф. 869. Оп. 1. Д. 559. Кроме того, в составленной в

- 1886 г. заметке по случаю кончины К.Д. Кавелина Милютина утверждала, что покойный был единственным, кто мог бы написать воспоминания о ходе крестьянского дела «без тени зависти и соперничества в отношении оценки деятельности в нем Милютина», и что «на них можно было бы положиться конечно более, чем на сведения, оставленные сенатором Соловьевым, Н.П. Семеновым и Ал. Вас. Головинным» (РО ИРЛИ. Ф. 119. Оп. 1. Ед. хр. 147. Л. 2 об. – 3 – копия заметки).
- ³² РС. 1880. № 2. С. 335, 342–343; 1883. № 3. С. 583; 1882. № 11. С. 247. При этом Соловьев безоговорочно отдавал Милютину пальму первенства в разработке кредитно-финансовых вопросов выкупной операции (не входивших в компетенцию МВД) и идейно-политическом сплочении членов Редакционных комиссий.
- ³³ РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 198 об. – 199 (запись беседы с Константином Николаевичем от 12 февраля 1880 г.). Не ясно, какой именно текст Соловьева комментировал вел. князь. В феврале 1880 г. вышел в свет номер «Русской старины» с отрывком из мемуаров, однако в нем присутствуют не все сюжеты, которые вызвали замечания Константина. Возможно, он ознакомился с полной рукописной копией воспоминаний.
- ³⁴ РС. 1883. № 3. С. 610.
- ³⁵ Там же. 1884. № 3. С. 606–608.
- ³⁶ См.: *Колмаков Н.М.* Заметки к запискам Я.А. Соловьева // РС. 1885. № 9. С. 468–470; РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 195 об. (замечание вел. кн. Константина Николаевича). Замечание на этот счет Александра II приведено выше.
- ³⁷ РС. 1882. № 3. С. 595; 1884. № 3. С. 591, 596–597.
- ³⁸ Там же. 1883. № 2. С. 276–277.
- ³⁹ Там же. 1883. № 2. С. 281; 1884. № 3. С. 600.
- ⁴⁰ Журналы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу. Пг., 1915. Т. 1. С. 298–299.
- ⁴¹ *Семенов-Тянь-Шанский П.П.* Мемуары: В 4 т. Пг., 1915. Т. 3. С. 207; Отечественные записки. 1858. № 9. Разд. I. С. 219–220.
- ⁴² РС. 1883. № 2. С. 287–290.
- ⁴³ Там же. 1883. № 2. С. 260–265; РГИА. Ф. 1291. Оп. 1. Д. 11. Л. 16–22.
- ⁴⁴ РС. 1883. № 3. С. 606–607.

- 45 РГИА. Ф. 1291. Оп. 1. Д. 11. Л. 23–24.
- 46 РС. 1881. № 2. С. 241–242; № 4. С. 737–738; 1882. № 3. С. 574.
- 47 Там же. 1882. № 1. С. 231–232; № 4. С. 109; № 5. С. 411; № 10. С. 139.
- 48 Даже в частных письмах Муравьева за те годы не усматривается настоящих «крепостнических» настроений.: Отдел письменных источников Гос. ист. музея. Ф. 254. Ед. хр. 392. Л. 398 об.; Ед. хр. 393. Л. 51–51 об. (письма Н.Н. Муравьеву-Карскому 1857–1858 гг.).
- 49 РГИА. Ф. 1180. Оп. Т. XV. Д. 31. Л. 76–94, 97–97 об.
- 50 РС. 1882. № 11. С. 240–243, цит. с. 240. Мнение Земского отдела было включено во всеподданнейший доклад министра внутренних дел от 27 августа 1858 г. См.: *Потанин В.В.* Финансовое положение России после Крымской войны и подготовка выкупной операции (1857–1859 гг.) // Уч. зап. Горьковского гос. ун-та. Сер. ист.-филол. ф-та. 1964. Вып. 72. Т. 2. С. 853.
- 51 РГИА. Ф. 1180. Оп. т. XV. Д. 31. Л. 98 об. – 100, 101, 103.
- 52 *Field D.* Op. cit. P. 364.
- 53 РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 2. Ед. хр. 199. Л. 1 об. (письмо Милютинина от 19/31 августа 1861 г.).
- 54 См.: *Семенов-Тянь-Шанский П.П.* Мемуары. Т. 3. С. 220–224.
- 55 ОР РГБ. Ф. 265. К. 67. Ед. хр. 1. Л. 199 (письмо Семенова Д.Ф. Самарину от 27 июня 1879 г.).
- 56 Освобождение крестьян в царствование императора Александра II. Хроника деятельности Комиссий по крестьянскому делу Н.П. Семенова. СПб., 1892. Т. III. Ч. 2. С. 288–291.
- 57 Разрешению подобных сомнений, нередко возникающих при чтении «Хроники», могло бы способствовать изучение подлинных записей Семенова. Хроникер сообщал в последнем томе своего труда о намерении передать этот черновой материал вместе с коллекцией уникальных бумаг РК в Императорскую публичную библиотеку (Там же. Т. III. Ч. 2. С. 830–834). Ни в Рукописном отделе Российской национальной библиотеки, ни в личных фондах Семеновых в РГАЛИ и П.П. Семенова-Тянь-Шанского в С.-Петербургском филиале архива РАН мне не удалось обнаружить этих документов.
- В неизданных воспоминаниях одного из сыновей П.П. Семенова-Тянь-Шанского, Валерия, сообщаются любопыт-

ные, в особенности для источникововеда, сведения о процедуре создания «Хроники». Согласно им первоначальная запись не велась синхронно дебатам, и некоторая тенденциозность хроникера проявилась уже на этой стадии: «Во время заседаний дядя мой почти ничего не записывал, обладая же хорошей памятью, он, по возвращении домой, тотчас же излагал с мельчайшей и даже мелочной точностью все, что говорил на заседании каждый член. Однако, при врожденной склонности дяди к юмору и некоторой насмешливости, тот фотографический объектив, через который он смотрел на окружающее, иногда давал изображение кривого зеркала – в сторону некоторой карикатуры». Спустя четверть века, готовя свои материалы к публикации, Н.П. Семенов «часто приходил» к брату Петру «для переговоров и совещаний по поводу издаваемой хроники», чему юный Валерий уже сам был свидетелем. (Bakhmeteff Archive at Columbia University, Valerii Semenov-Tian-Shanskii Collection, box 3 – «Страницы семейной хроники», машинопись гл. 5, с. 14; машинопись гл. 6, ч. 2, с. 3.) Можно предположить, что на этих «совещаниях» обсуждались не только организационные проблемы издания, но и содержание «Хроники», восполнение пропусков и пр. Словом, работа над «Хроникой», в которой так соблазнительно было бы увидеть почти стенографический отчет, была отчасти не чем иным, как мемуаротворчеством.

58 Что касается П.П. Семенова, то он четко высказал сходный взгляд на крестьянскую надельную собственность в начале 1905 г. в Особом совещании о нуждах сельскохозяйственной промышленности, которое возглавлял С.Ю. Витте. См.: Протоколы по крестьянскому делу: Высочайше учрежденное Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Заседания с 8 декабря 1904 г. по 30 марта 1905 г. СПб., 1905. Протокол № 14. С. 9; Протокол № 18. С. 4–5.

59 Освобождение крестьян... Т. III. Ч. 2. С. 290.

60 С.-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 906. Оп. 1. Д. 6. Л. 32 об. – 33.

61 Там же. Л. 34.

62 Семенов-Тян-Шанский П.П. Мемуары. Т. 4. С. 165.

63 С одной стороны, исходя из точного смысла законопроекта, а затем и «Положения о выкупе», нельзя было ожидать

завершения выкупной операции повсеместно уже через полвека, так как время ее общего для всех имений начала не было установлено. Между тем «мемуарный» Черкасский, говоря о «полувеке», конечно же, должен иметь в виду 49-летний цикл погашения выкупного долга, а не революцию, прекратившую операцию досрочно для всей России. Эти 49 лет должны были бы истекать для разных общин в разные сроки, начиная с 1910 г. С другой стороны, как свидетельствуют синхронные источники, творцы выкупной операции, и среди них Черкасский, рассчитывали (но не отразили этого в проекте), что в обозримом будущем закон о выкупе удастся скорректировать в сторону ускорения операции и тем самым открыть – задолго до прошествия полувека! – путь развитию индивидуального землевладения. См. об этом: *Долбилов М.Д.* Проекты выкупной операции 1857–1861 гг.: К оценке творчества реформаторской команды // Отечественная история. 2000. № 2. С. 20–33. Интересный, но, по моему мнению, не вполне критический анализ мемуарного сообщения Семенова-Тян-Шанского о дискуссии в РК в августе 1860 г. см.: *Крутиков В.И.* К истории российского либерализма (Князь В.А. Черкасский – деятель либерального движения эпохи падения крепостного права) // *Общественная жизнь в Центральной России в XVI – начале XX вв.*: Сб. науч. тр. Воронеж, 1995. С. 59.

Впрочем, по меньшей мере однажды Черкасский действительно рассуждал о будущем общины в полувековой перспективе. В конце 1861 г. в письме к И.С. Аксакову он предупреждал, что дилетантская журнальная полемика об историческом происхождении и значении общины может привести к весьма тягостным для дворянства последствиям: «...Все эти шумные и разносторонние стремления легко могут увенчаться совершенным успехом, хотя и не того рода, который преследуется стороною заинтересованною, т. е. пожалуй в одно прекрасное утро и сохранится еще на полвека община, отвердев в официальные формы, и отменится обязанное Положение, а повинность ко всеобщему удовольствию переименуется в налог или подать; но увы – она и сократится до гомеопатических размеров последней! Если так действительно сделается, то я лично, конечно, плакать не стану; и, с полной верою в историческую несостоя-

тельность и неминуемое распадение общины в будущем, я готов буду помириться даже с ее временным сохранением, искусственным дешевым для народа разрешением экономического вопроса, а Вы будете торжествовать безусловно» (РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 672. Л. 26 об. – 27).

Полагаю, что Черкасский здесь имеет в виду вероятность скорого реструктурирования выкупной операции, в конечном счете не состоявшегося: придание выкупным платежам статуса прямого и постоянного налога и замену срочных выкупных облигаций, подлежавших погашению, гораздо менее выгодной для помещиков бессрочной рентой. В таком случае, «еще на полвека» – это не прогноз завершения кредитно-банковской операции, а приблизительное обозначение того максимального исторического срока, в течение которого, по мнению Черкасского, могла существовать искусственно «огосударствленная» община. Логика цитированного высказывания подразумевает, что при той схеме выкупной операции, которую РК спроектировали в 1860 г., Черкасский ожидал ее досрочного завершения существенно ранее, чем через полвека.

Крестьянские читатели и интеллигентные «просветители» в России конца XIX века

Проблема народного чтения – так условно назовем вопрос о том, что и как читали в России крестьяне и городские простолюдины (мелкие торговцы, ремесленники, подмастерья, позже рабочие, солдаты, приказчики, рассыльные, прислуга, извозчики и т. п.), занимала мысли передовых людей из образованного класса примерно с 30-х годов XIX столетия: к этому времени относятся первые попытки создать специальные журналы для народа.

Но во весь рост эта проблема встала перед обществом только в середине 60-х годов, после освобождения крестьян. Находившийся под опекой господина крестьянин стал самостоятельным и превратился в «юридическое лицо». Это превращение оставалось формальным, пока мужик был неграмотным. Обязательного образования в России не существовало; обучение простого человека, если оно вообще происходило, ограничивалось одним-двумя, редко тремя годами. Особенно наглядно это происходило в деревне, где дети рано становились работниками, учиться дольше им не приходилось. Полученная в процессе обучения грамотность, не находившая применения в обыденной жизни, слабела, а иногда и вовсе исчезала. Единственную возможность сохранить ее, а также и продолжить образование могло составить чтение.

Первыми в руки грамотных крестьян попадали, конечно, книги религиозные, «божественные» – молитвенники, псалтыри, творения св. Отцов церкви, книги духовно-нравственного содержания (например, «Како подобает стоять в церкви Божией» или «Смерть закоренелого грешника и праведного»). Наиболее популярными были жития свя-

тых с занимательной либо с трогательной фабулой. Необычайно популярными были и многочисленные лубочные книжки светского содержания.

В 1865 г. А.Н. Пыпин опубликовал в журнале «Современник» большую статью «Русская литература. Народные книги»¹, которая была одним из первых публичных выступлений представителей русской интеллигенции по проблеме народного чтения в России. Пыпин обратил внимание на то, что у народа давно есть любимые книги, «имеющие свою громадную известность, иногда очень давнишние, очень нередко странные или даже нелепые, но тем не менее любезные своему читающему миру. “Бова Королевич”, “Милорд Георг”, “Ванька Каин” и др. – это “народная литература”, возникавшая сама по себе, собственными усилиями народных грамотников, без всякого участия образованных сословий и литературы высшего класса».

Обращая внимание на опыт изучения «народной литературы» во Франции, Пыпин сообщал, что лет за 10 до этого А. Низар, изучавший по поручению французского правительства литературу, популярную в народе, «раскрыл целую особенную и обширную литературу» и описал ее в книге «Histoire de la littérature du colportage». И что же? Оказывается, что в XVII столетии, в век Корнеля и Расина, расцвета классицизма простой люд во Франции довольствовался уцелевшими от Средних веков «рыцарскими романами, астрологическими фокусами и церковными легендами». Миновал XVIII век – век Просвещения, прогремела революция, но и в 50-х годах XIX в. во Франции народный вкус оставался неизменным. В сущности, и в России, продолжал Пыпин, лубочные книжки необходимы простому читателю, так как обладают для него несомненной ценностью.

В периодической печати развернулась длившаяся затем более двух десятилетий дискуссия о народном чтении, главное содержание которой составляла именно «лубочная чепуха». Просветители из интеллигенции народнического направления считали необходимым заменить ее книгами, написанными и изданными специально для народа. Такие издания уже начали появляться на книжном рынке, и по поводу первых сочинений подобного рода, выпущенных издательством «Общественная польза», Пыпин и написал

свою статью. Эти новые книги, говорил он, написанные для народа авторами из высших классов, считающими нужным позаботиться о «развитии массы», уже появились в коробках у разносчиков. Они дешевле лубочных книжек, но в популярности своей не идут ни в какое сравнение с последними. Составителям новейших книг для народа следует относиться к лубочной литературе со всем необходимым вниманием, присматриваясь «к тем взглядам и потребностям, какие обнаруживаются в народной массе».

Одновременно с динамичным развитием «высокой» литературы в XVIII в. формировалась собственная история массовой литературы, очень медленно, иногда она казалась даже неподвижной и лишь косвенно отражавшей историю «золотого» и «серебряного» века русской литературы. Ее развитие определялось массовым вкусом, неизменным на протяжении едва ли не столетий. Л.Н. Толстой полагал, что в нем отражена устойчивость вневременного сознания крестьян.

Устойчивость массового вкуса определяется тем, что в каждом человеке в тех или иных масштабах и формах неизменно живет некий исходный, первоначальный вкус, соответствующий массовому. В основе его – устойчивые структуры, живые с архаических времен, древние константы привязанностей и предпочтений, архетипы фольклорного восприятия. Неизменное сохранение этих структур в любом читательском сознании и объясняет, по-видимому, успех массовой литературы вообще и долголетие лубочных книжек в частности².

Лубочная литература – массовая литература эпохи полуграмотной России, первая постфольклорная стадия массового искусства. Она не умерла и тогда, когда Россия стала грамотной, но изменила свои формы, приспособившись к новой ситуации. Она и в наше время цветет пышным цветом, правда, непохожая на те заплонившие книжный рынок в конце XIX в. грубые дешевые книжонки, которые так охотно покупали народные читатели.

Многочисленные участники дискуссии по проблемам народного чтения говорили о «лубочной чепухе» с удивлением и негодованием, объясняя ее успех недостатком «настоящих книг для народа» и неумением серьезных издателей организовать сбыт своей продукции³. В начале

90-х годов в книжных лавках И.Д. Сытина насчитывалось около 580 названий лубочных книжек, причем тиражам и числу переизданий могли бы позавидовать и современные авторы. Это вызывало гнев «интеллигентных критиков». Народ, утверждали они, давно перерос низкопробную «литературу Никольской улицы» и может воспринять лучшие произведения русских и западных классиков, а также серьезные научные книги, если все это приспособить к уровню его понимания. Заняться этим делом – долг просвещенных русских людей.

Для этого требовалось изучить состояние «народного чтения». Инициатором такого изучения выступил Л.Н. Толстой. В начале 50-х годов через свой журнал «Ясная Поляна» он обратился к сельским учителям и священникам с программой вопросов относительно крестьянского чтения. Примечательно, что сам писатель вовсе не принадлежал к тем, кто твердил о необходимости искоренить лубочную литературу: «Ежели народ хочет читать английского милорда, – писал он, – то какое мы имеем право жалеть об этом и предлагать ему сочинения о том, какие, по нашему мнению, нужны для народа добродетели?»⁴.

Было сделано несколько попыток изучить «народное чтение», среди которых первое место занимает, несомненно, широкомасштабное исследование, предпринятое группой харьковских учительниц под руководством Х.Д. Алчевской, задумавшей не только изучить «народное чтение», но и способствовать «правильному» его развитию.

Х.Д. Алчевская (1841–1920), дочь уездного учителя, вступившая в брак с крупнейшим финансистом и предпринимателем южной России, в течение 50 лет была педагогом; занималась она и литературной деятельностью⁵. Располагая солидным капиталом, она открыла в Харькове частную воскресную школу для неимущих жителей города (возраст учеников – от 9 до 40 лет) и вместе со своими помощницами в течение нескольких лет вела наблюдения за тем, что читали ученики этой школы, а также вечерней школы для взрослых и двух сельских училищ, одно из которых находилось в с. Алексеевке Славяносербского уезда Екатеринославской губернии, рядом с именем Алчевской.

Учительницы устраивали библиотеки и предлагали читателям пересказывать содержание прочитанного, запи-

сывали пересказы и отзывы о книгах, проводили в городе и в деревне небольшие публичные чтения вслух. В городе слушателями чаще всего были ученицы воскресной школы, разных возрастов, преимущественно молодые (прислуга, белошвейки, почти все крестьянского происхождения); в деревне – в основном неграмотные украинские крестьяне (мужчины и женщины, дети и старики). Читали большей частью книги, написанные специально «для народа». Чтицы стремились как можно подробнее записывать свои впечатления о том, как проходило чтение, и зафиксировать реакцию слушателей, воспроизвести их высказывания. Чтение хороших книг неграмотным крестьянам представлялось особенно важным, ибо таким образом мог, по мнению учительниц, формироваться неспорченный вкус.

Предполагалось, выявляя отношение читателей и слушателей к тем или иным книгам, составить для издателей и учителей аннотированные рекомендательные списки литературы «для народа». Плодом этой огромной работы стали вышедшие в 1884, 1889 и 1906 гг. три больших тома, объединенных общим названием «Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения»⁶. Они были представлены на выставках в России и за границей. Первые два тома «Указателя», удостоенные высоких международных премий, заслужили множество лестных отзывов. Это трехтомное издание мы привлекаем в качестве источника для характеристики «народного читателя» конца XIX в. Ценность и даже уникальность данного источника определяются тем, что его материалы позволяют судить не только о том, какие книги и как читали в народной среде, но и о том, как они воспринимались народными читателями.

Указатель построен следующим образом. Для каждой рекомендуемой книги приводятся библиографическое описание, краткое изложение содержания и мнение рецензента. Затем следует запись пересказа содержания книги читателями или ответов на вопросы учительницы. Если книгу читали вслух, то сообщение о том, как воспринимали книгу слушатели. Наиболее интересны подробнейшие записи самой Алчевской, исходившей из установки, «придавая значение подлинным словам и выражениям крестьян... поместить их в книге в полной неприкосновенности» и об-

ращать внимание на мысли, вызванные у читателей книгой, «на те сближения, которые они делали с жизнью; даже самые отклонения в сторону и замечания, брошенные вскользь, мы часто не считали удобным опускать, находя, что все это, вместе взятое, уясняет до некоторой степени мировоззрение слушателей...»⁷.

В 1-м томе указателя были собраны в основном отзывы городских читателей. Создавая 2-й том, учительницы обратились к мнению деревенских читателей, вернее, слушателей. Алчевская устраивала в Алексеевке чтения для небольшой группы крестьян. Они собирались в доме ее бывшей ученицы Маруси, где уже существовала некоторая привычка к чтению: молодая хозяйка читала вслух мужу, свекру и свекрови книжки духовного содержания. Она часто приглашала свою учительницу в гости. Алчевская в первое же посещение пришла с книгой и читала ее вслух Марусе и ее семье. Такие чтения стали постоянными; потянулись и другие жители деревни, сложился небольшой круг постоянных слушателей, которые не стеснялись высказываться вслух и спорить. Иногда читали и не в Марусином доме.

Поскольку помимо общих просветительских задач харьковские учительницы ставили перед собой еще и дополнительную цель – борьбу с лубочной литературой, вредной, по их мнению, для народного читателя, Алчевская решила выяснить отношение к лубочным книжкам своих слушателей и однажды прочитала им знаменитое сочинение Н. Зряхова «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка умирает на гробе своего мужа». На чтение собрались в основном бывшие ученики сельской школы в возрасте от 14 до 18 лет. Алчевская так начинает свою запись об этом чтении: «Представьте себе, что вы (интеллигентный человек) перелистываете московское издание и пробегаете следующие строки: “Вы облегчили страждущую грудь мою, оживотворили мое мнение...”, “В контроль чувств моих я не допускаю никого, даже моих родителей...”. Как смешно, высокопарно и вычурно кажется вам все это, как трудно вам представить себе, что подобные вещи могут произвести на кого бы то ни было сильное и глубокое впечатление»⁸.

Молодые крестьяне слушали затаив дыхание, плакали, восхищались, комментировали, долго рассматривали

картинки. По мнению Алчевской, всем нравятся прославляемые автором «благородные чувства отваги, самоотвержения, борьбы страстей с долгом, решимости, великодушия». Заметим, что и в городе девушки из воскресной школы плакали над страданиями героев этой книжки. Алчевская признала, что «Битва русских с кабардинцами», а также «Гуак, или Непреоборимая верность» пригодны для народного чтения, но книгу «Приключения аглинского милорда Георга и маркграфини Фридерики-Луизы», героиней которой увековечен Н.А. Некрасовым под именем «милорда глупого», заклеила как произведение в высшей степени «циническое» и «чужье». Она недоумевает: как же разошлись 19 изданий этой книжки? Может быть, успех ее возможен только среди фабричного люда, зараженного «городским цинизмом»? Как попала она в деревню? Алчевская вознамерилась проверить свои предположения. Учительница не решилась читать это «собрание грязных сцен», а только показала слушателям книжку и спросила, не читал ли ее кто. Одна девушка сказала, что ей эту книжку брат привез с рудника. Алчевская поинтересовалась, понравилась ли ей книга, ожидая, что девушка сконфузится, но та ответила, что очень понравилась. Что же именно понравилось? «Все, – отвечала она, – одно другого интереснее» – и подробно пересказала содержание. «Циничные сцены» в устах девушки странным для Алчевской образом «утрачивали свой неприятный колорит и носили на себе характер простоты и безыскусственности». Когда юная читательница излагала скабресную, по мнению Алчевской, главу о трех итальянских дамах – ловких и хитрых неверных женах, все весело смеялись⁹.

Стремясь противопоставить лубочной продукции лучшие образцы русской литературы XIX в., уверенные в том, что они вполне пригодны для «народного чтения», учительницы предлагали в указателе не только сочинения, написанные специально «для народа», как, например, книги Л.Н. Толстого, выходившие в издательстве книжного склада «Посредник», или же адаптированные отрывки из книг английских, французских, американских, немецких, шведских, польских писателей, но и много неадаптированных произведений русских прозаиков и поэтов. К их числу относится несколько пьес А.Н. Островского.

В 1-м томе указателя «Что читать народу» помещена статья «Островский в применении к чтению в народе», в которой объясняется, почему составительницы рекомендуют для «народного чтения» пьесы замечательного драматурга: по содержанию они доступны простым людям, поскольку в них изображена обиходная жизнь и герои этих пьес – люди из средних и низших классов. Язык этих людей – язык «обыденной русской жизни» – понятен простым читателям, а драматическая разговорная форма легко воспринимается как при самостоятельном чтении, так и при чтении вслух. Авторы выделяли главное в пьесах Островского – описание самодуров и самодурства и его влияния на семейный и общественный быт.

Учительница, выдававшая в Харькове взрослым ученикам частной воскресной школы книги для прочтения из собственной библиотеки, по каждой пьесе Островского заранее составляла перечень вопросов, предлагала их читательницам и записывала ответы. Эти записи помещены в 1-м томе указателя после рекомендательного разбора нескольких пьес. Книга вызвала горячий отклик А.Н. Островского, который обратился к составительницам с благодарственным письмом.

Х.Д. Алчевская решила читать пьесы А.Н. Островского крестьянам вслух. По собственному признанию, она испытывала сомнения, сумеют ли неграмотные украинские крестьяне, никогда не видевшие театрального представления и не знавшие, что это такое, оценить именно этот жанр. Прежде чем приступить к чтению пьес уже хорошо знакомым ей слушателям, она рассказала им о театре, о труде актеров, о том, как их ценят образованные люди. В своей записи она с некоторой восторженностью описала реакцию крестьян: сначала они молча слушали, но потом вспомнили кучера из крепостных по прозвищу Дзендзик, который очень похоже и смешно изображал людей и даже целые сценки, и стали о нем говорить. «Этот простонародный рассказ о Дзендзике рядом с моими рассказами о Сальвини и Саре Бернар доказал мне, что мы понимаем друг друга»¹⁰.

Мы рассмотрим здесь восприятие читателями, вернее крестьянскими слушателями, некоторых пьес А.Н. Островского, сосредоточившись более всего на пьесах «Гроза», «Бедная невеста» и «Грех да беда на кого не живет». Та-

кой выбор очень неравноценных произведений великого писателя определяется тем, что в содержащихся в источнике записях о чтении этих пьес наиболее рельефно выступают характерные черты и особенности восприятия.

Наибольший интерес и самый живой отклик у слушателей вызвала драма «Гроза», которую Алчевская прочитала в Марусином доме. Чтение пьесы длилось очень долго, потому что крестьяне на каждом шагу прерывали его суждениями о действующих лицах, отнюдь не краткими комментариями по поводу развития событий, причем эти комментарии уводили их далеко от содержания «Грозы», рождали сравнения с тем, что происходило и происходит в их деревне, воспоминания из собственной жизни и горькие признания. Комментируя слова и действия Кабанихи, все дружно и горячо ее осуждали. Молодой крестьянин прервал тщицу взволнованным рассказом о собственной жизни: «Мать родная поедом ест, и его, и невестку; как схватит за чуприну и таскает, пока не выбьется из сил, а он все молчит, лишь бы жену не трогала, на нем на одном все сердце свое сорвала»¹¹.

Всеобщую симпатию и сочувствие вызвала Катерина. Ее тревожные монологи с самого начала привлекли особое внимание. Как только начинались ее реплики, все с напряженным вниманием следили за тем, что касалось именно ее. По мнению Алчевской, крестьяне очень точно поняли ее образ: «спасена душа», «правдива душа, коли и тут цѣму не вивчилась», «як птица у неволі», «сама с собою говорит, сама себя развлекает»¹². В сцене прощания с Борисом, когда Катерина говорит о муже: «Постыл он мне, постыл, ласка-то его хуже побоев», – «“Краще, як би він мене изо дня бів”, – вторит ей, как эхо, чей-то голос», а затем, когда Катерина остается одна и задумывается, тот же голос произносит тревожно: «Не попаде до дому, задумала у річку, от побачите»¹³.

В реакции слушателей на заключительные сцены проявилась одна из наиболее интересных особенностей их восприятия. Они, как пишет Алчевская, «относились непосредственно к тому, что происходит у них на глазах, и жили настоящим». Когда в конце пьесы Катерина уходит, а на сцене появляются Кабановы, Кулигин и работник с фонарем, все тревожно затихли. «“Це вже її шукати! Хоч бы не допустили до гріха”, – говорили слушатели почти шепотом».

том». Когда услышали слова «за сценой»: «Эй, лодку! Женщина в воду бросилась!», слышались громкие возгласы: «Ой, Боже ж мій! Рятуйте, це ж вона». Бабка Параска, во время чтения желавшая выглядеть благочестивой и осуждавшая Катерину за измену мужу, теперь притихла, а «когда вынесли труп Катерины, схватилась за голову и громко зарыдала. “А тій матери, що дитина втопилась, от тій горе!” – голосила она»¹⁴.

По окончании чтения «большинство слушателей – и мужиков, и баб – тихо всхлипывало. Никто не тронулся с места, трудно определить, как долго могла бы продлиться эта молчаливая печаль, если бы старостиха не оборвала ее своим резким голосом: “Буде журиться! Дивітця – музика гра!” – сказала она, указывая пальцем на картину, висящую на стене, изображающую очень живо деревенскую свадьбу, и смеясь своим нервным смехом». Тут произошел настоящий эмоциональный взрыв. Слушатели торопились высказать свой взгляд, горячо спорили, ссорились, кричали; на бледных лицах – слезы, в хате долго стоял несмолкаемый гул голосов. «Ничего подобного мы не видели еще в стенах нашей скромной аудитории», – записывает Алчевская¹⁵.

Все наперебой выкрикивали свои суждения относительно причин разыгравшейся в финале трагедии. «Як же вам, хто винен? И чим її правити, цю Катерину?» (как вы думаете, кто виновен? И чем можно ее оправдать, эту Катерину?), – спросил кто-то. «Мати винна! Мати, мати, мати! – кричала старостиха, стуча кулаком по столу. – Хіба ж так можно – напасті и гризти, гризти, гризти, – вторил ей кто-то». Только свекровь молодой хозяйки хаты решилась сказать: «А як би вона добра була, вона б покорилась, а то зараз топиться, щоб мати корили. Хіба матері не обіда, як її дитини не люблять!». Ей горячо возражали: «Она мук не снесла», «Катерина и так світа Божьего не бачила, чого ж ще дужче їсти!»¹⁶. Самоубийство Катерины все воспринимали как страшную беду, горе, но заметим, что никто из участвовавших в обсуждении не вспоминал о том, что самоубийство – величайший грех христианина, во всяком случае в записи Алчевской об этом нет ни слова.

Понимание и сочувствие, с которым восприняли слушатели трагическую историю Катерины, вызвало у Алчевской умиление и радостную уверенность в том, что негра-

мотные украинские крестьяне способны понимать замечательные творения Островского и, главное, их чувства и мысли, несмотря на всю разницу в выражении, сходны с теми, что испытывает образованный человек.

Об этом, казалось, свидетельствовало необычайно эмоциональное восприятие крестьянскими слушателями пьесы «Грех да беда на кого не живет», в которой купец Краснов, добрый и внимательный муж, пораженный подозрением в неверности супруги и ее признанием, что она его никогда не любила, подстрекаемый родственниками, в заключительной сцене убивает свою жену и произносит: «Вяжите меня! Я ее убил». Вот как описывает Алчевская реакцию слушателей. «Убив! – восклицает Демьян, даже вскакивая с лавки. – На смерть?! Жінку?» – Ой, лихо! – сливаются в общий гул, и в этом гуле не слышится ни одного слова упрека или порицания Краснову. “І убив і сам себе загубив!.. Жінці гріх! Вони ёго живьем пекли! Сам буде перед Богом отвіт держати (это ответ на обвинения старика Архипа, который упрекал Краснова в гордости, толкнувшей его на самостоятельный суд над женой, не дождавшись милосердного суда Божьего. – С. О.). І сама пропала, і ёго загубила! Він гарна людина!”»¹⁷.

Но в описании реакции слушателей на те места пьесы, где, по мнению Алчевской, должен был звучать и не прозвучал смех слушателей, или, напротив, на те пассажи, в которых ничего смешного не было, а смех прозвучал, чувствуется некоторое недоумение. Смеялись словам Тихона, который при расставании говорит жене, что не понимает ее: то от нее слова не добьешься, не то что ласки, то она сама обнимает его. Смеялись словам Кабанихи, которая стыдит Катерину за то, что та прощается с мужем, будто с любовником, виснет у него на шее: «Аль порядку не знаешь – в ноги кланяйся!»; смеялись словам Варвары, когда та, уговаривая Катерину взять ключ, говорит: «Тебе не надо – мне понадобится, возьми, не укусит он тебя!». Но этот неуместный смех Алчевская объясняла (по всей вероятности, справедливо) тем, что слушатели не знали трагического финала, по-иному высвечивавшего смысл тех прежних сцен, которые были смешны слушателям.

Одновременно Алчевскую удивило серьезное отношение крестьян к комическим местам «Грозы», где, по ее

предположению, смех слушателей должен был прозвучать непременно. При чтении комической сцены, в которой странница Феклуша рассказывает горничной Глаше о «судьях неправедных», о странах, где «и царей-то нет православных, а салтаны землей правят» и о людях с песьими головами, данными им «за неверность», «лица окружающих были серьезны, слова странницы слушались со вниманием и интересом, и возгласы носили на себе характер возгласов горничной Глаши (“а мы тут сидим, ничего не знаем!..”): ...Хоть расскажут, спасибо! Земля слухом полнится!». Только старостиха, постоянная слушательница, высказала сомнение: она слыхала, что где-то живут люди, обросшие шерстью, но чтобы с песьими головами – это кажется ей выдумкой. Ее выслушали, но без интереса¹⁸.

Понимание юмора составляет одну из существенных трудностей в диалоге языковых культур. Недаром именно юмор наравне со сленгом вызывает особые сложности при переводе произведений художественной литературы. На нашем примере восприятия юмора образованными учительницами и неграмотными крестьянами эта трудность, как одно из проявлений несовпадения культур, порождающих разного рода недоразумения, выступает особенно рельефно. Еще ярче, чем при чтении «Грозы», она выявилась при знакомстве крестьян с пьесой А.Н. Островского «Бедная невеста». Впрочем, здесь дело было не только в юморе.

«Бедная невеста» не слишком популярная пьеса Островского, во всяком случае по сравнению с «Грозой», поэтому позволю себе очень кратко напомнить ее содержание. Анна Петровна Незабудкина, вдова небогатого чиновника, озабочена необходимостью выдать замуж дочь Машу. Движимая не столько соображениями о будущем счастье дочери, сколько необходимостью разрешить сугубо материальные проблемы, она просит своего старого приятеля стряпчего Добротворского поискать жениха для Маши. Тот, посещая присутственные места, обнаруживает подходящего кандидата в лице состоятельного чиновника Беневоленского. Анна Петровна не сомневается в том, что брак Беневоленского с Машей не только спасет семью, но и составит счастье дочери. Между тем у Маши вспыхивает бурный роман с молодым человеком Владимиром Меричем, который, однако, как выясняется, вовсе не готов жениться. Маша в

отчаянии решает исполнить волю матери и выйти за Беневоленского.

Жених Маши Беневоленский, ничтожный, невежественный, самовлюбленный, беспринципный чиновник, остался совершенно непонятым крестьянами. Слушатели «положительно сочувствуют» ему и его намерению устроить свою жизнь и составить счастье бедной Маши. Этого невежду, со сдержанным возмущением пишет Алчевская, находят умным и дельным, серьезным и образованным! К его речи, «которая так смешит нас в устах талантливого актера» – «Я сам имею сердце нежное, способное к любви; только у нас дел очень много: вы не поверите, нам подумать об этом некогда», – слушатели относятся с серьезным сочувствием и говорят: «Коли ж ему об том думати!». Им недоступен комизм смешного канцелярского слога писем Беневоленского и Добротворского; они одобрительно замечают: «Це вже образованна людина, зараз чуть!»¹⁹.

Все остаются очень довольны рассказом жениха о том, как он, полагая, что в жизни главное – ум и предусмотрительность, выбился в люди: бывало, кланялся всякому встречному, а теперь его рукой не достанешь. Беневоленский приглашает Добротворского полюбоваться его лошадью. «Ах, проказник вы, проказник... Да ведь, чай, не куплена?» – спрашивает Добротворский. «Разумеется», – отвечает Беневоленский. Не поняв намека на то, что лошадь получена в качестве взятки, один из слушателей поясняет: «Нанята»²⁰.

Когда возникает вопрос, пойдет ли за него Маша, чтение прерывается обсуждением. Кто-то из слушателей говорит: «Ні, не буде діла, в неї серце вже тронуте». Но большинство решают, что, конечно же, пойдет, ибо «как можно упустить такого достойного человека». Мать убеждает Машу, говоря о Беневоленском: «А ты подумай, ведь у нас не горы золотые, умничать-то не из чего». «“Може б і мати голову прихилила”, – вторят слушатели, готовые сами убеждать Машеньку выйти замуж по расчету»²¹.

Трагедия Маши не понята, ее слезы на свадьбе вызывают всеобщее удивление и неудовольствие: «Бач, яка радість, а вона плаче. – А шо в неї на серці, – вступається одиноко другой, но не находить ни в ком поддержки»²²: ведь все решилось наилучшим образом. Сомнения слушателей вы-

зывает лишь то, не пьет ли жених (во время визита в дом Незабудкиной Беневоленский выпивает вместе с Добротворским), что могло бы отрицательно сказаться на будущем Маши.

Совершенно непонят и влюбленный в Машу умный и добрый Хорьков. Его осуждают за то, что он пьяным явился в дом, где есть барышня. Он пророчит Маше несчастья в семейной жизни с нелюбимым мужем. «И слова, так много говорящие сердцу интеллигентного человека, – записывает Алчевская, – “Слезы... вечные слезы... чахотка, не живши, не видавши радостей жизни...” – проходят совершенно бесследно»²³.

Алчевская недоумевает. «*Эти люди*, – записывает она, – сочувствуют нытью бедной чиновницы о том, что Маша не выходит замуж, и не находят решительно ничего предосудительного в том, что старик Добротворский... ходит по присутственным местам, разыскивая жениха Маше, напротив, они говорят о нем с чувством: от добра людина! Рутинные рассуждения ограниченной Анны Петровны Незабудкиной находят в них сочувствие и одобрение». Нас смешат, писала Алчевская, жалобы вдовы на то, что она «женщина слабая, сырая», и беспрерывно повторяемые ею слова: «как можно без мужчины в доме», а крестьяне воспринимают их «с комической серьезностью» и комментируют с пониманием: «Як чоловіка нема, куди ж таки бабі одній за всім управлятися»²⁴.

Комические сцены «Бедной невесты» слушатели воспринимали вполне серьезно. Перебранка свих сопровождалась назидательным замечанием: «И как-таки в чужом доме расшуметься – ведь это стыд. Нашли место». Алчевская замечает: «Нас смешит разговор Хорьковой о нарядах, а они слушают его с напряженным вниманием, силясь понять, что это за “черный муаре”, что это за “модная выкроечка”». Рассказ Дарьи о двух сестрах, одна из которых худая, как спичка, а другая румяная и гладкая, и мать боится, что первую муж любить не будет, а вторую, полагает, будет любить, обыкновенно вызывает смех в интеллигентной публике, а крестьяне слушают его «серьезно и со знаками одобрения»²⁵.

Только фат и обманщик Мерич был вполне адекватно понят крестьянами, по его адресу высказывались с презрением и негодованием. На его слова перед свадьбой Ма-

ши, что он ее любит, но жениться не может, реагировали очень живо: «опізнівсь!» (опоздал), «брешеш!», «годі!» (довольно)²⁶.

Алчевская была поражена тем, что искренне радовавшие ее глубокое понимание и тонкая отзывчивость крестьян при чтении пьес Островского «Гроза», «Воспитанница», «Грех да беда на кого не живет» совершенно не проявились при чтении «Бедной невесты». Она пишет: «Пока мы с нашими слушателями стояли на почве общечеловеческих чувств и ощущений, каковы любовь, ревность, мщение, злоба, отчаяние, пока перед нами ярко обрисовывались светлые образы Катерины, Краснова и др., все шло хорошо, но как только началось описание будничной серенькой жизни с ее противоречиями идеалам, созданным интеллигентным человеком, так нежданно-негаданно образовалась под ногами бездна и снова разделила нас на два лагеря, плохо понимающие друг друга. То, что казалось нам смешным и рутинным, принималось народом за чистую монету и вызывало одобрение. То, в чем мы видели несчастье и горе, признавалось им благоприятным исходом, то, от чего страдало наше сердце, проходило для них незамеченным»²⁷.

Представляется, что Алчевская действительно нащупала главное. Наиболее глубокие, важные, рискнем сказать «базовые», «вневременные», человеческие чувства (хотя и здесь, по всей вероятности, существовали различия) оказывались общими для крестьян и образованных людей. Характерно также, что внимание крестьян неизменно привлекали сильные страсти. Некоторые слушатели могли быть подготовлены к этому лубочными книжками, целиком построенными на описании сильных чувств и страстей. Впрочем, в записях Алчевской мы почти не находим следов знакомства крестьян с лубочной литературой.

Однако в понимании проблем повседневной жизни, в оценке проявляющихся в них моральных качеств, ценностных критериев, особенностей поведения Алчевская и ее помощницы весьма существенно расходились с крестьянскими слушателями. Не следует упускать из виду и того обстоятельства, что в сугубо «городских» пьесах, к каковым относится «Бедная невеста», крестьяне не могли адекватно понять многих мелких деталей жизни и поведения действующих лиц.

Отметим особо, насколько различными были у крестьян и учительниц, собиравших материал об их чтении, представления об образованности. Так, харьковская учительница воскресной школы, выдававшая ученицам, по большей части крестьянского происхождения, книги для прочтения, записала их ответы на заранее подготовленные ею вопросы относительно пьесы Островского «Не в свои сани не садись». На вопрос о том, что привлекло героиню пьесы в понравившемся ей молодом человеке, весьма ограниченном и недалеко, учительница ожидала услышать: его красивая наружность, щегольская одежда. Но ответ ученицы оказался совершенно иным и неожиданным: «Ей нравилось, что он был такой образованный... как сама она была девушка простая, он показался ей очень умным, к тому же он был хорошо одетый и в разговорах очень приятный»²⁸. Об образованности молодого человека говорили и другие ученицы. Городские читательницы вообще придавали, по-видимому, большое значение образованности. Это следует из их пересказов пьесы Островского «В чужом пиру похмелье» и отзывов на нее. Все поступки и слова действующих лиц они объясняли и оценивали в соответствии с критерием их образованности.

Привлеченный нами источник не позволяет, конечно, сделать сколько-нибудь всеохватывающих выводов относительно мировосприятия крестьянских слушателей. В нем не воспроизводятся собственноручные записи слушателей; их высказывания даны в записях учительниц, хотя и стремившихся к максимальной точности, но, разумеется, лишь приближавшихся к ней. «Неприкосновенность» крестьянских высказываний, о которой действительно очень заботилась Алчевская в соответствии со своим намерением «уяснить мировоззрение слушателей», все же не могла не быть относительной. Стоит ли говорить о том, что интерпретация, даже невольная, при записи без магнитофона живой речи читателя или слушателя неизбежна? Материалы указателя «Что читать народу» больше проясняют позицию его составителей, но мировиденье и идеология русской интеллигенции конца XIX в. могут быть раскрыты на основании множества других источников.

Вместе с тем материалы указателя позволяют сделать некоторые заключения относительно типологии россий-

ских читателей. Н.М. Зоркая, говоря о типологии читателей с точки зрения психологии восприятия, разделяет их на два типа – «экспертов», размышляющих над текстами, воспринимающих и оценивающих их художественную и иную ценность (у них «исходный», первоначальный, массовый вкус «свернут»), и массовых читателей, для которых характерно «перенесение» в мир вымысла ради развлечения и отсюда – пристрастие к «легкому чтению»²⁹.

К какому из этих двух типов можно отнести простонародных слушателей? Они не просвещенные «эксперты», им в голову не приходит размышлять о качестве текста и давать ему оценку. Но это и не тот искусственный массовый читатель, который переносится в мир вымысла ради развлечения, отвлечения, тип, особенно распространенный в наше время. В конце XIX в. этот тип был представлен большинством городских «простонародных» читателей.

Крестьянский слушатель – это некий иной, третий тип. Крестьяне погружаются в текст как в живой мир, воспринимают его не как вымысел, а как реальность, сопереживают героям от всего сердца, не предполагая, что перед ними вымышленные персонажи. Они относятся к персонажам как к реальным, живым людям и все происходящее с ними воспринимают как имеющее место «здесь и сейчас».

Чтения, устраиваемые Х.Д. Алчевской, для большинства постоянных ее слушателей были первым знакомством с более или менее серьезными книгами светского содержания, для многих вообще с книгами. Процесс чтения являлся для них актом живого общения с чтицей, друг с другом и, не в последнюю очередь, с героями книг. Во время предварительной беседы о театре один из слушателей, уясняя для себя и остальных смысл театра, сказал: «Ну, представление!». «Як же це представление, – возразила другая слушательница, – коли воно правда (какое же это представление, если здесь сама правда)». Это не указание на правдивость изображения, а отражение вышеуказанной особенности восприятия: слушатели считают описанное автором не порождением его фантазии, а безусловно происшедшим или даже происходящим в действительности. При чтении крестьянам пьесы «Воспитанница» один из слушателей, видно, глубоко поглощенный действием, заметил: «Я й забув, що цего не було». «Як же воно не було, коли було», –

горячо возразила другая, по мнению Алчевской, «очевидно, беззаветно уверовавшая в происходящее»³⁰.

Слушатели постоянно прерывали чтение комментариями, объяснениями, обращенными к тем, кто чего-то не понял, иногда уводившими в сторону от читаемого текста, порою вступали в диалог с героями, почти принимали участие в действии, разыгрываемом в пьесе. Хотя заранее договаривались о соблюдении тишины, они вовсе не считали свое вмешательство нарушением порядка. Когда в пьесе «Воспитанница» старуха Уланбекова, обращаясь к своей приживалке, произносит: «Не с тобой говорят, что ты вмешиваешься во всякое дело», слушатели добавляют: «И правда, и чего-таки лезет!». При появлении пьяницы Неглигентова один из слушателей говорит от его имени: «Подивиться, шо я за стория!». Слушатели шумят: «Вчили, вчили, а ума не вставили!»³¹. При чтении сцены из пьесы «Грех да беда на кого не живет», когда слепой старик Архип, входя в комнату, где происходит ссора между домашними, спрашивает: «Что за шум? Не пожар ли?», из публики раздался голос: «Тут еще хуже пожару»³².

Для восприятия текста читателями подобного типа характерны те «сближения с жизнью», на которые хотела обратить внимание Алчевская. Эти «сближения» при чтении пьес Островского были особенно частыми и конкретными. Характеры и ситуации, подобные тем, что содержались в пьесах, слушатели наблюдали вокруг, и многие воспринимали читаемое, как отражение собственной жизни и как некую школу жизни.

В записях учительниц о чтении Островского в городе ученицами воскресной школы мы не встречаем отголосков эмоционального восприятия пьес Островского. Конечно, самостоятельное чтение не может рождать столь бурной реакции, как та, что вызывает чтение вслух. Что касается крестьянских слушателей, то бросается в глаза живость их реакции, в значительной мере определявшаяся, по всей видимости, условиями восприятия – устной речью чтицы. И если содержание речей слушателей так или иначе подвергалось Алчевской если не интерпретации, то некоторой стилизации (хотя бы потому, что вряд ли она могла со стенографической точностью воспроизводить речь крестьян), то все же необыкновенно эмоциональное восприятие кре-

стьян, достигавшее в некоторых местах пьес «Гроза» и «Грех да беда на кого не живет» силы настоящего взрыва чувств, не подлежит никакому сомнению.

Попытаемся все же, опираясь и на записи Алчевской о чтении пьес Островского, и на другие материалы о народном чтении³³, сделать несколько наблюдений относительно отражения в записях Алчевской и других харьковских учительниц ценностных ориентаций крестьян.

Первое, что следует отметить, – это отсутствие религиозных мотивировок в оценках. Конечно, все слушатели Алчевской – люди верующие, впитавшие веру в Бога, можно сказать, с молоком матери, ощущавшие себя христианами и знакомые с евангельскими истинами. Однако, кажется, религиозность не пронизывает всю их жизнь, в данном случае их размышления относительно жизненных ситуаций. Конечно, этот вывод основан на записях Алчевской, принадлежавшей к интеллигенции народнического направления и, может быть, в своей интерпретации высказываний слушателей вольно или невольно опускавшей религиозные моменты в их речах. Но знакомство с ее записями, касающимися других книг, показывает, что в этом отношении она все-таки была, по-видимому, добросовестна³⁴.

Самоубийство Катерины, убийство Красновым жены представлялись слушателям непоправимой бедой, и они тотчас искали ее виновников. Но вопрос о том, что это – страшный, непростительный грех перед Господом, слушателями не ставится. Слово «грех» применительно к поступку Катерины употребляется явно как синоним слова «беда». В рассуждении о поступке Краснова «грех» приписывается его жене, которая сама довела его до такого ужасного поступка. Рассуждение о том, что он сам будет держать ответ перед Господом, означает, что людям не годится его судить, поскольку он скорее всего все-таки жертва, а не палач. Первые монологи Катерины, в которых она рассказывает о своей девической жизни, наполненные воспоминаниями о молитвах, о посещении церкви, выявляют ее глубоко религиозную натуру, но реакция на эти ее монологи обнаруживается только в одной реплике слушателя. Катерина говорит, что во сне летает по воздуху, а слушатель рассказывает о молодом парне из их села, который вообразил, что

может летать, привязал к плечам гусиные крылья, бросился с горы и расшибся.

Алчевскую занимал вопрос о том, насколько крестьяне находятся во власти суеверий. Она заметила, что рассказы о колдунах, ведьмах и привидениях часто вызывали недоверчивое отношение. Люди смеялись и иронизировали, признавая, что в подобных рассказах много выдуманного. Вместе с тем в глубине души они, по-видимому, верили в существование неких темных сил³⁵. Так, при чтении «Грозы» слушатели с тревожной серьезностью восприняли появление безумной барыни, предвещавшей Варваре и Катерине адские муки «за красоту» и всем вообще – геенну огненную; впрочем, эта мрачная перспектива не обсуждалась.

Слушатели не обратили внимания на одну из главных идей Островского – осуждение самодурства и сопоставление его с иной системой нравственных ценностей. Смысл формул самодурства «я так хочу», «у меня слово – закон», произносимых купцом Тит Титычем в комедии «В чужом пиру похмелье», остается непонятым. Характер Дикого в «Грозе», особенности его поведения вызвали добродушный смех, а не возмущение. Первое его появление, брань в разговоре с племянником Борисом были встречены смехом. Стали рассказывать анекдоты о каком-то старике – барине, похожем на Дикого. «От-такий як раз наш старик, – говорит кто-то, – лае и лае. Як на его дивитися, не треба и представления». Борис жалуется Кулигину на зависимость от Дикого, сетует, что, согласно завещанию бабушки, получит свою долю наследства, только если будет почитателен с дядей. «Зроду не бачити ему тіх грошей! – замечают слушатели с одобрением. – Хоч який винуватий старий, а все прав!» Борис рассказывает, что его тетка, супруга Дикого, каждое утро всех умоляет: «Батюшки, не рассердите, голубчики, не рассердите!». Один из слушателей спокойно объясняет: «Тітці, мабуть, за всіх вліза (тетке, верно, за всех достається)»³⁶.

Традиционное распределение ролей в семье, взаимоотношения супругов, отношения между старшими и младшими, традиционные критерии семейного благополучия как будто бы не подвергались сомнению. Но, как пишет Алчевская, «споры на тему о положении мужчины и женщины, об их правах и обязанностях, об отношениях их друг к

другу и детям, как мы заметили, весьма часто возникают среди наших слушателей и бывают чрезвычайно горячими и страстными»³⁷. При том, что в повседневной жизни самым важным признается успешное разрешение простых жизненных проблем, особенно материальных, смирять свои чувства, подчиняя их необходимости, считается естественным; проявляющиеся в экстремальных ситуациях сильные, не победимые рассудком чувства таких благородных фигур, как Катерина или Краснов, вызывают у крестьянских слушателей понимание и сочувствие.

Можно предположить, что за 20 с лишним лет, миновавших после отмены крепостного права, несколько изменилось понимание роли женщины в семье, особенностей ее положения, ее прав и обязанностей. Заметим, что при обсуждении «Грозы» только одна из слушательниц утверждала, что страдающая в семье женщина должна терпеливо сносить муки ради семейного благополучия, и никто не осуждал Катерину за измену мужу.

Одной из бесчисленного количества оппозиций «Я» и «Другой» является проблема культурных несовпадений, возникавших во времени и пространстве в самых различных видах. Среди них – несовпадения внутри одной национальной языковой культуры, связанные с различиями ее участников в социальном статусе, образовательном уровне, принадлежности к различным субкультурам, при том что ментальный уровень тех, в ком эти несовпадения проявлялись, в общем если не вполне одинаков, то, во всяком случае, весьма сходен. Материал чтения пьес А.Н. Островского представляет нам пример такого «культурного несовпадения».

Что можно извлечь из записей Алчевской касательно ее собственного отношения к несовпадениям в понимании образов и ситуаций в пьесах А.Н. Островского? Она воспринимает их весьма драматично как свидетельство существования бездны, которая разделяет интеллигенцию и народ, и вся ее деятельность убедительно свидетельствует о горячем стремлении преодолеть эту бездну. Она понимает, что «будничная серенькая жизнь» простого народа вступает в противоречие с «идеалом, созданным интеллигентным человеком», но различие культурных страт, по-видимому, настолько существенно, что ей трудно преодолеть собст-

венное пренебрежительное непонимание тех, кто находится на другой стороне бездны. Оно прорывается у Алчевской в некоторых оценках реакции крестьян на ее чтение. «*Эти люди*» – так говорит она о крестьянах, слушавших чтение «Бедной невесты» – сочувствуют *нытью* бедной чиновницы... *Рутинные рассуждения ограниченной* Анны Петровны Незабудкиной находят в них сочувствие и одобрение».

Тон этих слов Алчевской, представляющийся нам неожиданно высокомерным, свидетельствует о том, что она странным образом не пыталась вникнуть в сущность несопадений и почти возмущалась тем, что крестьянские слушатели одобряли поиски подходящего жениха для бедной девушки, сочувствовали вдове, комично, с точки зрения просвещенного человека, повторявшей, что трудно «без мужнины в доме».

Крайне отрицательное теоретическое отношение Алчевской к лубочной литературе и то, что, читая лубочную книжку молодым жителям села и воочию убеждаясь в ее необыкновенном успехе у публики, она не пыталась понять, в чем тут дело, проникнуть в природу интереса к этой литературе, говорит о том, что бездна оказывалась непреодолимой не только вследствие непросвещенности простого народа и имела как культурный, так и социальный смысл. Повышение уровня грамотности в России, успехи народного образования, а затем и становление коммуникативного общества, конечно, изменяли и изменили ситуацию, но культурная стратификация сохранилась и оказалась едва ли не более жесткой, нежели стратификация социальная.

Примечания

¹ Пытин А.Н. Русская литература. Народные книги // Современник. 1865. Т. 108. № 5–6. Стоит отметить, что Пытин с давних пор интересовался историей лубочной литературы. См.: Пытин А.Н. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских. СПб., 1857.

² Зоркая Н.М. Фольклор. Лубок. Экран. М., 1994. С. 15.

³ Об этой дискуссии см.: Оболенская С.В. Народное чтение и народный читатель в России конца XIX в. // «Одиссей 1997». М., 1998.

⁴ Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 363–364.

- ⁵ О Х.Д. Алчевской см. в особенности: *Лекаренко Д.М.* Из истории изучения читателя в дореволюционной России. Х.Д. Алчевская // Труды Московского библиотечного института. Вып. 1. М., 1938; *Фридьева Н.Я.* Жизнь для просвещения народа. М., 1963.
- ⁶ «Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения. Составлен учительницами Харьковской частной женской воскресной школы». Т. 1. СПб., 1884; Т. 2. СПб., 1889; Т. 3. М., 1906. Особенно интересен т. 2, где гораздо больше места, чем в 1-м и 3-м, отведено отзывам о книгах, причем помещены материалы не только для чтения в школах, но и для крестьян южнорусских губерний.
- ⁷ «Что читать народу?» Т. 2. С. 1–2.
- ⁸ Там же. С. 549.
- ⁹ Там же. С. 549–551.
- ¹⁰ Там же. С. 512.
- ¹¹ Там же. С. 514.
- ¹² Там же. С. 515.
- ¹³ Там же. С. 516.
- ¹⁴ Там же.
- ¹⁵ Там же. С. 517.
- ¹⁶ Там же.
- ¹⁷ Там же.
- ¹⁸ Там же. С. 515.
- ¹⁹ Там же. С. 522.
- ²⁰ Там же.
- ²¹ Там же.
- ²² Там же. С. 523.
- ²³ Там же.
- ²⁴ Там же. С. 521–522.
- ²⁵ Там же. С. 522.
- ²⁶ Там же. С. 523.
- ²⁷ Там же. С. 521.
- ²⁸ Там же. Т. 1. С. 315.
- ²⁹ *Зоркая Н.М.* Уникальное и тиражированное. Средства массовой информации и репродуцированное искусство. М., 1981. С. 140.
- ³⁰ «Что читать народу?». Т. 2. С. 513.
- ³¹ Там же.
- ³² Там же. С. 521.

- 33 *Оболенская С.В.* Указ. соч. См. там же библиографию работ отечественных книговедов, рассматривавших проблему с точки зрения библиотечного и книжного дела, грамотности и образования в России.
- 34 См.: *Оболенская С.В.* Указ. соч.
- 35 «Что читать народу?». Т. 2. С. 525.
- 36 Там же. С. 514.
- 37 Там же. С. 526.

«Table-talk», или Тетрадь ссылного

В фонде Сергея Владимировича Бахрушина хранится тетрадь, на одном из первых листов которой написано по-английски «Table-talk»¹. Под таким названием в английской литературе в XIX в. родился жанр застольных светских рассказов-анекдотов автобиографического и исторического содержания, кратких записей, содержавших размышления и жизненные наблюдения автора. Эту тетрадь, судя по дарственной надписи, подарил Бахрушину Ива (Иван) Яковлев, сын его близкого друга историка Алексея Ивановича Яковлева. Надпись была сделана 20 апреля 1932 г. В августе того же года на первом листе этой тетради, в правом верхнем углу, Сергей Владимирович написал: «С.В. Бахрушин. Семипалатинск. 1932 г. Август». В сентябре этого года Бахрушину исполнилось 50 лет.

Юбилей Бахрушин встретил в ссылке, в Семипалатинске, куда был отправлен после приговора по так называемому академическому делу. Позади была полувековая полоса жизни: детство, университет, начало научной работы, политическая деятельность (Бахрушин был членом Московской городской думы с 1908 по 1918 г., одним из руководителей Союза городов в годы Первой мировой войны.) После Октябрьской революции он всецело сосредоточился на преподавании и исторических исследованиях, опубликовал ряд статей и книг, и среди них главную – «Очерки истории колонизации Сибири в XVI–XVII вв.». Все это теперь осталось за пройденной гранью. Ссылка тянулась уже почти год, когда Бахрушин начал записывать в тетрадь в темной твердой обложке свои воспоминания о былом и думы.

Это не были мемуары в обычном смысле слова, хотя записки «Table-talk» более всего близки к мемуарному жанру. Как и в любых воспоминаниях, действительность отражена в них ретроспективно, а не синхронно, как в дневниках. В записках ярко проявилось историческое самосознание автора. Подчеркивая эту важную отличительную особенность жанра, А.Г. Тартаковский писал: «В мемуаристике находят отражение переломные этапы развития самосознания личности, понимание ею себя в меняющемся мире»². В начале 1930-х годов, находясь в ссылке, Бахрушин как раз и ощущал себя на грани не только личного, биографического, но и исторического перелома; он стремился понять его с точки зрения закономерностей всемирного исторического процесса.

Как это типично для мемуаров, на первом плане в записках ссыльного историка – индивидуальная биография и его внутренний духовный мир. И в тех случаях, когда Бахрушин не рассказывал о себе, а, например, цитировал произведение даже далекого от него по времени писателя прошлого, в приводимом фрагменте более или менее ясно угадываются параллели с тем, что переживал или что думал о себе и своем времени Бахрушин. Кроме того, в тексте встречаются мемуаризированные письма – деталь, которая сближает записки Бахрушина с воспоминаниями.

Вместе с тем записки Бахрушина заметно отличаются от мемуаров. Такая сторона действительности, как размышления ссыльного ученого над всемирно-историческим процессом, общим ходом и отдельными явлениями русской истории, отражена в них синхронно, как в дневнике. Записки не представляют собою связного, сюжетно организованного рассказа. Они дискретны, как дневники. Они даже включают в себя фрагменты из дневниковых записей Бахрушина, превращаясь таким образом во вторичный дневник. Историк рассказывал то о важном, то о порой совершенно незначительном эпизоде из своей жизни, что опять-таки сближало его записи с дневниковыми.

В отличие от записей в дневнике, записи Бахрушина не расположены в строго хронологическом порядке. Даже в том случае, когда он помещал в свою тетрадь фрагменты дневниковых записей, он делал это с нарушением хронологии.

Таким образом, тетрадь «Table-talk», сближаясь с мемуарами и дневниками, все-таки отличается от тех и других, хотя и относится к тому же виду источников. Пожалуй, по своему жанру она занимает промежуточное положение между мемуарами и дневниками. Ее ведение можно рассматривать как подготовку к написанию мемуаров.

Все содержание тетради представляет собой отдельные записки, каждая из которых имеет номер. В перечне автор дал каждой из записок название³. Никакого хронологического или тематического порядка автор не придерживался. Так, автобиографические заметки в тетради рассыпаны совершенно произвольно, перемежаясь фрагментами иного содержания.

Всего в «Table-talk» 58 заметок, которые можно разделить на три группы. Первая (автобиографическая) содержит воспоминания и жизненные наблюдения, письма, отрывки из дневников, вторая (историческая) – наброски размышлений Бахрушина на исторические темы и записи рассказов других людей о прошлом, третья (литературно-историческая) посвящена художественным произведениям и личностям, сыгравшим видную роль в истории русской литературы. Деление это в определенной мере условно, так как жизненные наблюдения Бахрушина перерастали в размышления на исторические темы, включали в себя известия из истории рода Бахрушиных; наброски по истории и об историках наполнялись личными впечатлениями автора о героях его повествования, литература и история сливались и взаимодополняли друг друга.

По времени создания тексты записей порой сильно отдалены друг от друга. Одни созданы задолго до составления тетради. Это письма и дневники, написанные еще в первые годы XX в., отрывки из которых Бахрушин включил в «Table-talk». Есть стихотворные произведения, написанные знакомыми Бахрушина. Другие сделаны во время ссылки. В записях встречаются интерполяции, зачеркивания. Автор правил текст не только фиолетовыми чернилами, которыми он в основном писал, а карандашом и чернилами черного цвета, что говорит о возвращении его к написанному и о редакторской работе, проведенной какое-то время спустя. Некоторые страницы написаны совершенно одинаковым почерком и чернилами равной густоты цвета,

как это бывает, когда записи делаются в один присест. Вероятно, порой историк посвящал работе над тетрадью целый вечер. У Бахрушина всегда была потребность писать. Он охотно садился за письма даже тогда, когда особых новостей в его жизни не было. В ссылке нерастроченная жажда научной деятельности («письменных дел», как говорил историк) искала выхода и обретала его в составлении записок. Работа над ними погружала его в дорогое памяти прошлое, позволяла отвлечься от семипалатинской жизни. На некоторые страницы Бахрушин клеивал открытки и вырезанные из книг фотографии тех мест, где он бывал и о которых он писал. Видно, что историк работал над тетрадью много и с любовью. В ней заключался своеобразный итог прожитых лет. «События 1930 года (дата ареста Бахрушина. – А. Д.) положили определенную грань в моей жизни, насильственно прервав мою научную работу, и, кто знает, возобновится ли она и в каких условиях. Невольно поэтому хочется подвести итоги своей научно-педагогической деятельности. Мне хотелось бы взглянуть на себя со стороны...»⁴, – писал Бахрушин. Эта мысль, вероятно, время от времени посещавшая его, была импульсом, двигавшим работу.

Начнем рассмотрение содержания тетради ссыльно-го историка с автобиографических записок⁵. Одна из главных тем этой части – процесс формирования Бахрушина как историка. Оно началось, как считал Бахрушин, с детства. Значительный толчок в его развитии дали первые впечатления от Крыма: «В Крым я попал впервые 9-летним мальчиком в 1891 г. Это первое мое путешествие, зажегшее меня страстью к “перемене мест”, этому высшему наслаждению, которое только может быть для человека, не удовлетворяющегося шаблонной обыденностью. Первое ощущение путешествия я испытал в эту крымскую поездку. В Крыму перед глазами 9-летнего мальчика приоткрылся волшебный уголок настоящего Востока, под чарующим впечатлением которого он остался всю жизнь. Этим уголком был Бахчисарай. Но Крым не только приоткрыл передо мною еще в детском возрасте “тайну Востока”... Здесь на берегах вечношумящего Эвксинского понта нашли себе реальное воплощение те неясные представления о классической древности, которые я мальчиком почерпал из прелестных детских книжек Lamau-Fleury; здесь мир мифологиче-

ских богов и героев Греции из области отвлеченной поэзии спустился на землю... Потрясающее впечатление произвели на меня раскопки Херсонеса. ...Я почти ребенком испытал то чувство, которое впоследствии овладевало мною с такою силою всякий раз, как я вступал на историческую почву, чувство близости к прошлому, понимания этого прошлого, способность реально ощущать и переживать ту угасшую жизнь, обломки которой валялись передо мною. В следующую мою поездку в Крым тоже еще мальчиком, не поступившим в школу, я уже вез с собою "Одиссею"... и искал в круглой, окаймленной холмами Балаклавской бухте... ту бухту, в которой хищные лестригоны истребили флот хитроумного царя, а в пещерных городах северного Крыма – следов одноглазого Полифема. И в Херсонесе я уже не довольствовался общими впечатлениями, уточнял свои наблюдения, умилялся на мраморную базу, некогда поддерживавшую статую Диофанта, Митридатова полководца, победителя скифов, искал в развалинах древних черепков...»⁶.

Мемуарные заметки подтверждают то, что присутствует в рисунках Бахрушина. Он обладал даром художника с прекрасной зрительной памятью, с острым восприятием всего колоритного, характерного, с богатым воображением. Артистическая натура, он умел вживаться в далекую историческую эпоху. Все это, проявившись в детстве, повлияло на возникновение и развитие у него интереса к истории, в частности античной.

Яркие впечатления оставил у Бахрушина Московский университет. Возвращаясь мыслью к годам студенчества, он размышлял о том, как в нем тогда воспитывались черты исследователя (в частности, критическое отношение к источникам), как складывались научные воззрения. Бахрушин создал галерею портретов преподавателей университета.

Известно, что в начале учебы Бахрушин предполагал специализироваться в области античной истории. Однако его планы круто изменились под влиянием лекции В.О. Ключевского: «Ясность, законченность, отсутствие разногласий и споров – вот что находили мы, молодые историки, в курсе уважаемого и гениально-талантливого профессора, в течение десятков лет царствовавшего на кафедре».

ре русской истории Московского университета, создавшего целую школу, которая безоговорочно повторяла его схему, объединявшую и может быть даже несколько подавлявшую своим высоким научным авторитетом всю современную ему русскую историографию, верховного судьи в вопросах русской истории, от слова которого зависели научные репутации, успехи и неудачи во всей России, острого критика, язвительной колкости которого опасались враги и друзья, иногда капризного и своевольного, но всегда оригинального и яркого. Русская история представлялась нам каким-то законченным монолитом со строгими и определенными линиями, монолитом, созданным мощной силой мысли тщедушного с виду, скромного и мало представительного старика, вдохновенную речь которого мы слушали, замирая от восторга, обвороженные и ясностью и последовательностью изложения, и еще больше величавою художественностью его яркого слова»⁷.

«Шедевром педагогического искусства», по выражению Бахрушина, были лекции П.Г. Виноградова: «Никогда после ни у кого из самых талантливых преподавателей я не встречал такой ясности мысли, строгости плана, систематичности и последовательности изложения. Раз прослушанная лекция отпечатывалась в памяти на всю жизнь. Виноградов брал источник, подвергал его тонкому критическому анализу и, разрушив усвоенную нами на гимназической скамье традицию, подводил итоги произведенной критической работе. Его критический метод отличался простотой, убедительностью и логичностью. И хотя мне пришлось очень мало работать в его семинариях, я должен сказать, что ему всецело я обязан своими приемами критики источников...»⁸.

На развитие у Бахрушина критического отношения к историческим источникам оказали воздействие также В.И. Герье и М.М. Покровский, преподававший историю античной литературы. О первом из них Бахрушин писал так: «Герье читал необыкновенно ясно и холодно. Его лекции напоминали мне произведения академической живописи, где все условно, красиво, рисунок вычерчен с величайшей тщательностью, но души, жизни, выражения нет. И все же я с благодарностью вспоминаю В.И. Герье и его считаю наряду с П.Г. Виноградовым учителем в области исто-

рической критики. Прекрасное историографическое введение в римскую историю с ясным изложением результатов критической работы, произведенной над источниками древнейшей истории Рима, дополнило и закрепило те критические навыки, которые я приобрел у Виноградова... Наконец, семинарий Герье по истории реформации был единственным семинарием, где мы коснулись общих историко-философских вопросов»⁹.

На следующей ступени образования, в период подготовки к магистерским экзаменам, Бахрушин познакомился с Д.М. Петрушевским, «пытливый и вечно юный ум» которого подталкивал начинающего историка «к более углубленному изучению вопросов, сближающих русское средневековье с западноевропейским». «Не без робости вошел я в обширный, скромно обставленный кабинет в темной квартире... – вспоминал Бахрушин о первом визите к Петрушевскому, – и тотчас ко мне вышел нервно торопливой походкой высокий нескладный человек с опущенной вниз большой головою, и с первых же его слов, приветливых и радушных, я почувствовал себя дома в этом холодном и уютном кабинете с этим крупным ученым, сразу сумевшим стать на равную ногу с начинающим научную карьеру юношей и вникнуть в его интересы, сразу встретившим его как друга. Дмитрий Моисеевич приветливо и с интересом расспрашивал меня о моих занятиях; завязался как-то необычайно легко и просто разговор на научные темы, помнится, по вопросу, тогда меня сильно занимавшему, о русском феодализме, и я вышел от Петрушевского, обласканный, очарованный быстротою и разнообразием его научной мысли, унося от него не только формальные указания, касающиеся программы, но и ряд новых мыслей и идей»¹⁰.

В период подготовки к магистерским экзаменам Бахрушин познакомился не только со старшими по возрасту историками. В той или иной степени он сблизился с другим поколением московских исследователей. «Я думаю, что из всех моих друзей А.И. Яковлев оказал на меня наиболее действенное влияние, – признавался Бахрушин. – Его тонкая мысль, его глубокая и разносторонняя эрудиция, художественная яркость речи, смелость и оригинальность суждений не могли не очаровать юношу, до тех пор знавшего лишь официальную книжную историографию и не имев-

шего случая сталкиваться с живым обсуждением научных вопросов. В первые моменты я всецело подчинился чарующему обаянию его личности, упивался его речью, ловил каждое его слово, впитывал в себя каждое его суждение, ошеломленный полетом, новизной и дерзновением его блестящей мысли. Под эгидой А.И. Яковлева и продолжались мои занятия по подготовке к последним магистерским экзаменам, а затем и к пробным лекциям, и написана была моя первая научная работа “Княжеское хозяйство XV и первой половины XVI века”»¹¹.

Много Бахрушин писал о С.Б. Веселовском. Его суждения об этом ученом не могут не поразить современного читателя, знакомого с научным наследием Веселовского, классика отечественной медиевистики. По мнению Бахрушина, Веселовский сочетал в себе «противоположные свойства крупного ученого и капризного ребенка, европейски образованного *homme de lettres* и подъячего московского приказа, в котором своеобразно сплетались широкое и всестороннее знание печатных и архивных источников с большой узостью исторической мысли, и мелкое тщеславие и эгоизм с радушной готовностью прийти всегда на помощь начинающим неофитам. Никто, как он, не знал русских архивов; его собрание копий с архивных документов не имело себе равного. И свои знания и свои коллекции он одинаково охотно, с искренним удовольствием открывал и друзьям, и случайным знакомым, и молодежи; но его советы в области научных вопросов были часто пагубны, а темы, рекомендуемые им, отличались необыкновенной бесплодностью и бессодержательностью. Самого его обилие материалов захлестывало, топило; крупные вещи, как его “Сошное письмо”, были неудобочитаемы вследствие отсутствия стройности изложения, неумения широко ставить вопрос и обилия деталей технического характера; зато в небольших очерках, вроде “Семь сборов запросных денег”, он был настоящий мастер»¹².

Веселовский сыграл важную роль на начальном этапе научной деятельности Бахрушина. «Я многим ему обязан в первые годы моей преподавательской работы, – писал Бахрушин. – С обычной ему благожелательной готовностью руководил он моими первыми шагами по архивным лабиринтам, открыл передо мною все богатства своего соб-

рания копий и богатейшей своей библиотеки. Он указал мне на Мангазейское сыскное дело в Архиве Министерства иностранных дел, которое послужило толчком к моим занятиям колонизацией Сибири... Веселовский же ввел меня в круг московских и петербургских историков, которых я до тех пор знал лишь по имени. Человек в то время состоятельный, Веселовский устраивал время от времени большие вечерние приемы, на которых собирал представителей московской исторической науки и случайных ученых гостей из Петербурга и провинции. Здесь за роскошным столом, возглавляемым неизменно приветливой и скромной супругой хозяина Еленой Евгеньевной, я познакомился впервые со всеми корифеями русской историографии; здесь единственный раз в жизни видел я в обстановке частного дома В.О. Ключевского»¹³.

Кроме приведенных характеристик, записи Бахрушина содержат его более или менее краткие отзывы о С.Н. Трубецком, Л.М. Лопатине, С.Н. Соболевском, М.И. Соколове, М.К. Любавском, Ю.В. Готье, Р.Ю. Виппере, А.А. Мануйлове, А.А. Кизеветтере, М.М. Богословском, Н.А. Рожкове.

Впечатления Бахрушина, вынесенные от общения со своими учителями и знакомыми историками, нередко односторонни и субъективны. Так, на своих преподавателей он смотрел глазами слушателя их лекций, оценивал их прежде всего или даже исключительно как лекторов, а не как исследователей, сказавших свое слово в науке. Тем не менее записки Бахрушина интересны тем, что представляют читателю того или иного историка в восприятии одного из современников, позволяют узнать о таких чертах их личности, которые не отразились в иных источниках. Главное же значение всех упомянутых характеристик-зарисовок Бахрушина заключается в том, что они содержат информацию об их авторе: о его отношении к современникам, о его взглядах на мастерство университетского лектора, на научную работу.

Бахрушин, очерчивая процесс своего становления как историка, размышлял, в частности, над тем, как складывались и развивались его теоретические представления об историческом процессе. «Московский университет в те годы, когда я его посещал, мало способствовал созданию определенного исторического мирозерцания, – писал Бах-

рушин. – ...Университет дал мне хорошую школу критики источников. Это была не шахматовская критика, углубленная и тонкая, запутывающаяся, как кружево, в изящном сплетении перекрестного допроса летописных редакций; шахматовский метод еще не дошел тогда до Москвы. Критический метод, вынесенный мною из аудиторий Московского университета, был более рационалистичен, менее мелочен, строился на более широких общих основаниях; он был менее глубок, но зато и менее мелочен, и впоследствии он позволил мне оценить по достоинству метод Шахматова, но вместе с тем и к нему подойти критически и взять от него лишь то, что согласовалось с моими собственными требованиями к анализу источников. Зато общего исторического мировоззрения Московский университет мне не дал... К концу факультета у меня сложилось лишь неясное представление о решающей роли экономического фактора в истории, о воздействии его, понимавшимся мною очень смутно, на “идеи” эпохи. В общих чертах я усвоил мысль об единстве исторического процесса у нас и на Западе... Одно было усвоено мною вполне отчетливо – это категорическое отрицание роли личности в истории, почерпнутое мною из лекций Ключевского и из “Очерков” Милюкова и его капитальной диссертации о Петре I»¹⁴.

Бахрушин закончил университет в 1904 г., а в 1908–1909 гг. сдал магистерские экзамены, которые полагалось сдать всякому оставленному при кафедре русской истории для подготовки к профессорскому званию. «На магистерский экзамен я пришел уже с более уточненным взглядом на многие вопросы, хотя все-таки без ясного общего мирозерцания. Самым существенным, что мною было приобретено, было окончательное и на этот раз вполне обоснованное научное признание полного единства русского исторического процесса с западным» – так вспоминал он пору завершения своего образования¹⁵.

«Полемика историков-идеалистов с марксистами как-то прошла мимо меня в описываемые годы. По своему критически подходить ко всем авторитетам, я, относясь недоверчиво к учению, отрицавшемуся всеми крупнейшими представителями тогдашней исторической науки, тем не менее не отрицал его огулом. Я долгое время оставался эклектиком, черпая из обоих источников истори-

ческой мудрости моего времени и часто не без удивления находил в тогдашних работах М.Н. Покровского совпадения с моими собственными выводами. Торжество марксистской школы в историографии после 1917, естественно, должно было заострить мое внимание к ее достижениям. К этому времени вполне определился мой интерес к экономической истории и окончательно оформился взгляд на экономику как на решающий момент в историческом процессе... Перерыв в моем университетском преподавании в 1926–1927 гг. позволил мне в более спокойных условиях вникнуть в существо спора, а продолжение курса, начатого Н.А. Рожковым, которого я имел честь сменить после его смерти, вызвало необходимость в углубленном пересмотре моих общих исторических взглядов. Так постепенно, шаг за шагом, складывалось мое собственное историческое мировоззрение. Я думаю, что в настоящее время оно может считаться сложившимся и окристаллизовавшимся как результат 28 лет самостоятельной научной работы»¹⁶.

Показав историю сложения своих общеисторических воззрений, Бахрушин далее сформулировал систему этих взглядов. Ее изложение интересно и важно для изучения творчества Бахрушина тем, что в своих исследованиях он чрезвычайно конкретен. Его рассказ о прошлом обычно до предела насыщен эмпирическим материалом, почерпнутым из большого количества внимательно прочитанных источников; труды Бахрушина почти не содержат высказываний общеисторического, социологического содержания. Зато в записях из тетради «Table-talk» такого рода рассуждения историка представлены в полной мере.

«Движущим и единственно движущим фактором в историческом процессе является экономика. В этом отношении я материалист и монист в истории, – писал Бахрушин. – Основным отличием моей схемы от марксистской является, несомненно, то, что, выдвигая экономический фактор, в частности роль торговых путей, и подчеркивая зависимость экономики от географических условий и от плотности населения, я придаю меньше значения, чем обычно это делается в марксистской литературе, производственным отношениям и классовой борьбе. Экономика подчиняется в своем развитии непреложным законам, и эволюция хозяйственных форм вызывает неизбежно опре-

деленную смену социальных явлений, которые, со своей стороны, находят себе выражение в области идеологической. Поскольку эволюция хозяйственных форм всюду одинакова, и производственные отношения во всех странах аналогичны. Промысловое хозяйство при начатках земледелия и скотоводства способствует образованию племенных объединений на основах патриархального быта; переход к земледелию вызывает феодализацию общества; феодализм, со своей стороны, в экономической области характеризуется преобладанием натурального хозяйства, а в области политической системой вассалитета и иммунитета, единственно возможной формой объединения при натуральном хозяйстве. Успехи денежного хозяйства (торгового капитала) приводят к разрушению целостности феодальной системы, расшатывая, с одной стороны, силу крупного землевладения и, с другой – выдвигая вперед верхушку торговой буржуазии. Это является условием, благоприятным для создания сословной монархии, опирающейся главным образом на среднее и мелкое землевладение и отчасти на слабую еще буржуазию. Успехи промышленного капитализма разрушают эту систему шаткого равновесия и приводят к образованию буржуазного государства. Эта схема повторялась неукоснительно во всех странах с незначительными по существу различиями, вызываемыми местными географическими условиями...»¹⁷.

Бахрушин полагал, что по такой схеме исторический процесс развивался в античном мире, а потом в средневековой Европе. «Из сказанного явствует, – писал он, – что я представляю себе исторический процесс не как процесс единый, эволюционирующий последовательно от глубокой древности до наших дней, а как процесс циклообразный, как ряд отдельных процессов, развивающихся, однако, по одинаковому шаблону»¹⁸.

Из начальной части рассуждений Бахрушина можно было бы сделать поспешный вывод о его сближении с марксистами. Бахрушин исповедывал некую форму экономического материализма, переходную от идеализма к материализму марксистского толка. Дальнейшие социологические построения историка явно проводили значительную грань между ним и марксистами, яростно отрицавшими цикличность в истории.

Заклячая изложение своих воззрений, Бахрушин уточняет некоторые детали: «Исторический факт, раз он имел место, был, следовательно, предопределен экономическими условиями, был при данной социально-хозяйственной конъюнктуре неизбежен и непредотвратим. Только неумение нашего мышления отрешиться от некоторых условных представлений заставляет нас рассуждать на тему, можно ли было и как избежать того или иного события, или осуждать и, наоборот, восхвалять того или иного исторического деятеля. Тому же недостатку нашего мышления я приписываю и то значение, которое придается иногда различию между эволюцией и революцией как методам исторического развития, поскольку революция является тоже неизбежной при известных условиях формой эволюции, которая при других условиях завершилась бы и без революционного взрыва (например, торжество буржуазии только во Франции приняло форму революции, а в других странах произошло эволюционно). Кажется, такую точку зрения сейчас называют историческим фатализмом»¹⁹. Здесь важно и интересно не только освещение научных взглядов историка. В этом отрывке проступает и определенная жизненная позиция автора – его восприятие Октябрьской революции и ее последствий как закономерной неизбежности, фаталистический взгляд на судьбу²⁰.

Другая полоса жизни историка, которая получила освещение в «Table-talk», – это начало 1930-х годов, главным образом время ссылки. Судя по дневниковым записям, переписанным в тетрадь, летом 1930 г., буквально накануне ареста, Бахрушин побывал на русском Севере. Заметка об этой поездке носит название «Ледовитый океан. Дневник 1930 года»²¹. Очень коротко, почти конспективно он фиксировал свои впечатления от поездки: «12 августа выехал в 17 часов из Архангельска. Ехали вдоль по длинному, окаймленному с обеих сторон лесопильными заводами руслу Маймаксы... С обеих сторон низкие зеленые берега. Водоросли. Чайки. Близ Мудьюжского маяка памятники (жертвам интервенции). Выезжаем в открытое море. Свинцово-серая вода. Мурманск амфитеатром на склонах гранитных холмов. Самый город – жалкие деревянные строения, правильных улиц почти нет, антисанитарное состояние, всюду идешь по помойкам среди отвратительного

запах. 17-го. Прогулка по окрестным высотам. Гранит и болота, мелколесье. Озеро пресной воды. Восхитительный вид на голубой залив. Под жаркими лучами августовского солнца, любуясь на синюю гладь вод, чувствуешь себя как на юге»²².

По возвращении из поездки в Москву Бахрушин был арестован, отправлен в Ленинград и после пребывания там в камере предварительного заключения и вынесения приговора сослан в Сибирь. Первая запись, которая касалась пребывания Бахрушина под стражей, была посвящена заговору против ружья. «Записано для меня на пути из Новосибирска в Семипалатинск молодым вором», – заметил в скобках Бахрушин. Переписав текст заговора, он писал: вор «уверял, что действие его неотразимо, и приводил примеры. Он уверял, что у нашего конвойного ружье не выстрелит, т. к. он его заговорил. Я просил его только не делать рискованных опытов»²³.

Сергей Владимирович прибыл в Семипалатинск больным. «Надеюсь, что когда совершенно избавлюсь от малярии и ее спутников, то стану смотреть на Семипалатинск более благосклонными глазами, а пока он мне кажется отвратительным: это куча мазанок, раскинутых по песчаной степи...» – такова запись за ноябрь 1931 г., взятая, возможно, из письма к близким²⁴.

22 января 1932 г.: «Зима здесь мне нравилась бы, если бы жизнь была более приспособлена к холоду и связанным с ним неудобствам; иногда прямо разводишь руками, что в течение века с лишним, как существует наш богоспаемый Семипалатинск, жители не додумались до самых элементарных удобств. Когда нет ветра и сияет солнце, никакой мороз здесь не страшен; ночи дивные, звездные»²⁵.

16 августа: «Все идет изо дня в день по одинаковому. Не живешь, а как-то прозябаешь. Разговоры о том, в каком распределителе что выдают и какие цены на базаре, а т. к. цены очень мало доступные, а распределители все пустуют, то даже эти разговоры лишены актуального интереса. Впрочем, есть еще одна тема, которая волнует мой казачий форштадт: поливка огорода, тема, которая заслоняет собою даже страшные рассказы о похищении киргизами детей и о людоедстве. Город полумертвый. Зимой мы были свидетелями, как из степи хлынула голодная толпа киргиз с деть-

ми и с женами и с хламом, навьюченным на верблюдах. Все это кишело на улицах, мерло на глазах у нас, хворало всякими эпидемическими болезнями, нищенствовало. Потом их куда-то убрали, а большая часть сама убралась к праотцам. Никогда я не представлял себе, что воочию увижу, как целая народность вымирает поголовно. Говорят, что от киргиз осталось не более трети: остальные все перемерли либо бежали за границу. В степи кругом Семипалатинска валялись трупы, и зимою в окрестностях города, говорят, бродили волки... Мне все живо напоминало рассказы иностранцев о голоде в России при Борисе Годунове»²⁶.

Прислушиваясь к говору местных жителей, Бахрушин замечал: «В Семипалатинске можно услышать много словечек и выражений, не всегда понятных для человека “из России”, иногда напоминающих старинную речь XVII века. Здесь, как и всюду в Сибири, любят без всякого значения, не меняя интонации голоса, вставлять в контекст фразы слово “однако”. Вместо “да” говорят “ага”, вместо “раскрытый” – “полый” (полая дверь, полое окно). Слова “говядина” не услышишь – “скотское мясо” (это звучит XVII веком)»²⁷.

Ученого интересовали исторические представления местного населения: «В Семипалатинске мне пришлось слышать следующее производство названия города. Будто раньше здесь жил... (текст неразборчив, так как испорчен клеем. – А. Д.) народ с очень сложной политической конституцией из семи палат представителей, которые и собирались на месте города. Очень любопытный образчик словотолкования в стиле “преданий”, сочиненных местными “летописцами” XVIII ст.»²⁸.

22 сентября 1932 г.: «Степь мне понравилась. Правда, ландшафт очень грустный: все кругом выжжено, ни травки, только черный перекасти-поле, да дно высохшего соленого озера сплошь заросло маленькими фиолетовыми ромашками с тонким, слегка приторным ароматом. Зато роскошные дали, прозрачный воздух, серо-голубое небо, в котором тонут караваны гогочущих гусей и курлыкающих журавлей. Мы вспугивали степных жаворонков, чибисов и зайцев. Что-то своеобразное во всем этом.

...Осень лучшее время года в Семипалатинске: очень хороший воздух; прохладно; блестящее, ослепительное, но не жгучее солнце. Жаль, что все это только рамка, в кото-

рую вместо картины вставлены лишь печальные улицы и мазанки, которые ниже меня ростом»²⁹.

Как ученый, Бахрушин не мог не воспринимать окружающую действительность через призму собственных исторических представлений. Современность виделась ему полным трагизма историческим тупиком. Заметке на эту тему предшествовала другая, представлявшая собой цитату из стихотворения Е.А. Баратынского «Последний поэт»:

Век шествует путем своим железным;
В сердцах корысть и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы³⁰.

Фатализм в восприятии исторического процесса, собственной судьбы и личности, которую Бахрушин отождествлял с «последним поэтом», а не с сугубо практически настроенными новыми поколениями, – все это по содержанию и по интонации тесно связано с настроениями Бахрушина в пору пребывания в Ленинградском ДПЗ в 1930–1931 гг. Тогда он читал своему сокамернику Н.П. Анциферову отрывок из драмы А.Н. Майкова «Три смерти»:

Наш век прошел. Пора нам, братья!
Иные люди в мир пришли,
Иные чувства и понятия
Они с собою принесли...³¹.

Смена поколений как закон истории и драма уходящих, неумолимый закон времени – вот что осмысливал историк.

Поэтически выраженная мысль из стихотворения Баратынского получила развитие в записке, которую Бахрушин поместил непосредственно после цитированного отрывка из произведения Баратынского, как бы продолжая его. Записка названа в оглавлении к тетради «Циклический процесс в истории».

«Кризис, охвативший мир, исхода из которого не видит буржуазная мысль, невольно заостряет внимание к тем

историческим эпохам, когда земной шар уже переживал в меньшем масштабе подобные же катастрофы, – писал Бахрушин. – Уже не раз мир был свидетелем гибели мощных и ярких культур; и в настоящий момент, мне кажется, мы стоим накануне того дня, когда культура, которая, казалось, подвела синтез всем предшествующим ей проявлениям человеческого творчества, которая еще недавно казалась абсолютно непреложной и вечной, – рушится в силу противоречий, кроющихся в ней самой. Между известными нам в прошлом катастрофами и той, которая проходит у нас на глазах, есть одно основное различие. Культуры, сметенные историей, были строго организованы территориально; культура, гибель которой мы наблюдаем, господствует во всем мире. У прежних великих покойников оставались наследники, которые на их могилах строили здание новой культуры; у умирающей Европы нет наследников»³².

Заметка, из которой процитирован этот фрагмент, в наибольшей степени дает почувствовать драматизм положения Бахрушина. Она представляется ключевой в понимании состояния ссыльного ученого, начиная со времени ареста и предварительного заключения. Ее содержание точно соответствует рассказу Н.П. Анциферова о его беседах с Бахрушиным в камере и схеме исторического процесса в России до XVII в., которую выше дал Бахрушин. Иными словами, цитированные рассуждения не свидетельство случайного и временного мрачного настроения историка, а продуманные, выношенные в течение сравнительно долгого срока выводы.

В автобиографических заметках Бахрушин ничего не писал о людях, которые его окружали в ссылке. Между тем известно, что в Семипалатинске в 1931 г. он встретил знакомую своего брата – Веру Дмитриевну Дикареву, которая бывала в доме Бахрушиных в Москве. К Дикаревым Сергей Владимирович приходил еженедельно, играл с детьми. У них же останавливалась его сестра Вера, приехавшая повидать брата в ссылке. В 1932 г., в то время когда Вера Дмитриевна была в Москве, ее муж скончался и был похоронен, а двое детей оставались до приезда матери на попечении Бахрушина. В Семипалатинск к Сергею Владимировичу приезжала мать, и, кажется, не один раз. С какими-то людьми из Семипалатинска он переписывался многие годы и

после ссылки, что свидетельствует о более или менее близких отношениях. Бахрушин работал в библиотеке, в школе и в пединституте. Однако в тетради «Table-talk» об этой стороне жизни ссыльного историка нет ни одного упоминания. Быть может, тут сказались осторожность человека, пережившего арест, допросы, ожидание приговора. Важно было не погубить себя и не навлечь несчастья на других. В 1933 г. ссылка Бахрушина досрочно закончилась, он вернулся в Москву. Началась новая полоса жизни, для которой в тетради «Table-talk» уже не было места. Таким образом, тетрадь навсегда осталась памятником пребывания Бахрушина в изгнании.

Вторая группа заметок, как уже указывалось, была посвящена раздумьям Бахрушина над историей. Здесь содержится любопытное рассуждение Бахрушина о «Слове о полку Игореве» («Мнение о народном происхождении “Слова о полку Игореве” (“Ироическая песня, подобная Оссиановой”) – неверно; в нем напрасно искать признаков народного творчества и народной мифологии. Это чисто книжное произведение, сочиненное под сильным влиянием переводной литературы “Девгениева деяния”, “Истории” Иосифа Флавия. Всеволод Миллер доказал книжное болгарское происхождение многих поэтических образов (Трояна, Бояна и др.). Сравнение с Ипатьевской летописью показывает общность литературного стиля. Это талантливое художественно-публицистическое произведение с определенной тенденцией (идея единства Русской земли)»³³.

Последнее утверждение о сходстве стиля «Слова» с Ипатьевской летописью, на наш взгляд, является результатом исследовательской работы Бахрушина. Историк был прекрасным знатоком раннего летописания. В 1920-х годах он изучал текст Начальной летописи с точки зрения степени достоверности ее известий и сделал доклад на эту тему в Обществе истории и древностей российских в 1922 г., позже он продолжил свою работу, но не опубликовал ее. Она появилась в печати спустя много лет после смерти автора³⁴. Возможно, преподавание истории русского языка в семипалатинском педагогическом институте (он назывался Инпрос – Институт просвещения) натолкнуло Бахрушина либо на воспоминание о давнем наблюдении, либо на сопоставление обоих памятников древнерусской письменности.

Его вывод вписывался в систему оценок, разработанную другими специалистами, и, вероятно, способен заинтересовать современного исследователя.

Одной из исторических фигур, которые всплывали в памяти Бахрушина, был Иван Грозный: «Думая о нем, я всегда вспоминаю один случай из французской уголовной хроники, когда один дегенерат, совершивший зверские убийства несомненно на почве патологической, на суде очень умно и убедительно доказывал, что он сумасшедший и неменяемый. Такое сочетание остроты мысли с психической болезнью вполне возможно. Об Иване как о больном писал, кажется, доктор Коваленский». Бахрушин размышлял о грозном царе, мысленно полемизируя с Р.Ю. Виппером и С.Ф. Платоновым, которые в 1920-х годах издали небольшие книжки, посвященные этому правителю. В противоположность названным историкам Бахрушин не считал Грозного сильной личностью, но признавал, что это «не мешает ему (Грозному. – А. Д.) быть очень умным, острым и тонким». Историк полагал, что Иван постоянно попадал под влияние той или иной группы лиц, становясь на время орудием их деятельности: «Он всю жизнь был игрушкой в руках тех, кто умел к нему подойти и найти нужные слова в нужную минуту. Потом он разочаровался, жестоко расправлялся с теми, кого недавно слушал, но и эти пароксизмы ярости были обычно результатом сторонних влияний. Психически больной, физически расшатанный пьянством и развратом, вечно увлекающийся очередными “временными людьми”, – он при его крупных талантах и явился наиболее подходящим выразителем тех настроений, которые нарастали в среде овладевшего его милостью помещичьего дворянства и проводником угодной ему политики, а личные свойства его больной души делали его склонным к жестокости и террору, к которым взывали обойденные детишки боярские. С этой точки зрения не лишено значенья выяснить мотивы, руководившие им при браках (кроме личного чувства), те социальные группы, из которых выходили царицы и торжество которых подчеркивалось браком с одной из (их) представительниц... Уже брак с Романовой знаменовал разрыв с титулованным боярством (дело кн. Ростовского); то же желание освободиться от влияния титулованного боярства, которого царь боялся, заставляет его искать не-

вест за границей и остановить выбор на черкесской принцессе; последний выбор его разочаровал, и не случайно он ищет жен среди мелкого дворянства. Царские браки отражали борьбу внутри служилого класса, и на этом фоне личность каждой из цариц приобретает свою социальную физиономию, начиная с Анастасии Романовой, интриганки и заклятого врага Сильвестра и Адашева, через посредство которой действовали ее братья (некто вроде Александры Федоровны)»³⁵.

Характеристика Грозного как личности слабой, находившейся под воздействием разных влияний, резко противоречит тому, что писал о Грозном Бахрушин в конце 1930–1940-х годов, когда в советской историографии и в художественных произведениях расцвел культ Ивана Грозного. Сопоставление этого текста с более поздними работами Бахрушина приводит к выводу о крутом переломе, который произошел в оценках историка, и укрепляет в предположении о вынужденном характере эволюции его научных взглядов.

В другой заметке Бахрушин писал об Александровой слободе: «Раскопки, производившиеся в 1929–30 гг. в Александровской слободе, показали, что слобода была окружена каменной стеной, что подтверждается и известным рисунком Ульфельда. Подобно другим царским усадьбам она была, следовательно, крепостью и, повидимому, первоклассной... Несколько причин заставляли его (Ивана Грозного. – А. Д.) предпочесть именно Александрову слободу и Старице, которую он выменял у Владимира Андреевича, чтоб создать там свою опричную столицу, и Вологде, которую для тех же целей он энергично принялся было укреплять. Близость к Москве позволяла ему легче властвовать над мятежной столицей, а Переяславский уезд, самый старинный и почетный домен великокняжеской короны, тесно связанный с династией Калиты и персонально близкий Ивану Грозному, самое рождение которого приписывалось молитве переяславских монастырей, как будто мог почитаться наиболее лояльным в отношении династии. Было бы интересно выяснить, в какой степени Переяславский уезд участвовал в создании самого контингента опричнины. Нам известно, что некоторые видные опричники, например Малюта Скуратов-Бельский, имели здесь свои поместья,

но мы не знаем, были ли то “старинные” поместья или результат испомещения, имевшего целью стянуть вокруг Александровой слободы наиболее надежные опричные кадры; в первом случае роль Переяславского уезда в формировании опричнины была бы, конечно, совершенно исключительной. Как бы то ни было, преданность памяти Ивана Грозного является одной из ярких черт в его истории в последующую эпоху; еще в начале XVII в. переяславские помещики, вчерашние опричники, решительно поддерживают кандидатуру мнимого сына их опричного царя – тушинского царька и с исключительным остервенением участвуют в рядах его войск при попытке взять Ярославль, обстоятельство, отмеченное летописями, но не могущее себе найти какое-либо иное объяснение»³⁶.

Рассуждения и наблюдения Бахрушина над темами из истории средневековой Руси свидетельствуют о пытливости его исследовательской мысли, работу которой не могли остановить даже неблагоприятные для ученых занятий условия семипалатинской ссылки. Как уже подчеркивалось, сделанные им в начале 1930-х годов выводы и высказанные предположения любопытны и для современного исследователя.

Третья группа записей, «литературная», богата и разнообразна по содержанию. К ней с определенной долей условности отнесены отзывы Бахрушина о произведениях и отрывки из произведений, созданных профессиональными писателями и поэтами либо любителями (в том числе и Бахрушиным) в XIX–XX вв.

Среди этих заметок историка привлекают к себе внимание его размышления над записками А.О. Россет³⁷ и воспоминаниями А. Белого³⁸. «Д. Благой в предисловии к “Автобиографии” известной фрейлины двора Николая I А.О. Россет (Смирновой) замечает, что “пушкинистов... подлинная автобиография Смирновой несколько разочарует”. Надо признаться, что она может разочаровать не только пушкиниста, но и вообще читателя, ищущего в записках прославленной умом женщины, друга Пушкина, Гоголя, Жуковского и чего-либо выше заурядной болтовни и мелкой сплетни. ...Нельзя не признать, что записки Россет-Смирновой не могут не разочаровать хотя бы по сравнению с талантливо написанными, умными и стилистически обра-

ботанными дневниками другой фрейлины – А.Ф. Тютчевой. У Россет-Смирновой нет ни такта, ни умения выбирать эпизоды; у нее не найдешь ни продуманных характеристик, ни яркой картины быта. При всем том в отдельных случаях сквозь набор анекдотических подробностей пробивается неожиданно поэтическая картина... показывающая, что автор владела пером и тонко чувствовала.

Все это свидетельствует о том, что отзывы современников были не совсем несправедливы и что, может быть, отмеченные выше стороны ее мемуаров надо объяснить преклонным возрастом, когда она приступила к их написанию, притупившим природную остроту ее ума, и даже той душевной болезнью, которой она страдала в последние годы жизни. И все-таки, закрывая книгу, остаешься с неразрешенным вопросом, чем, кроме внешней красоты, умела эта женщина привлекать внимание наиболее даровитых своих современников... Читая бессвязные записи мелких эпизодов из жизни многочисленных знакомых, с которыми она сталкивалась в жизни, можно лишь догадываться, что в живой беседе все эти пустяки слушались с большим интересом, чем читаются теперь, когда они утратили и соль злободневности, и легкий флер сплетни, и ту прелесть, которую придает женской болтовне блеск “черкесских очей”, и невоспроизводимая на бумаге интонация.

Мне кажется, что тайна успеха Россет лежит не в “умных речах”, а в той атмосфере свободы и непринужденности, которую она умела создавать вокруг себя. Воспитанная в глухой южной провинции среди простоты и немудреных требований быта мелкой среды несостоятельного дворянства, она вносила в лицемерную и чопорную жизнь дворца струю жизни, самостоятельности, а главное, некоторой распушенности, которая нравилась мужчинам пушкинского круга»³⁹.

В «литературную группу» включен и отзыв Бахрушина о книге А. Белого «На рубеже двух столетий». Споря с Белым, не без доли язвительности историк указал на мелкотравчатость и претенциозность автора: «Нашумевшая в Москве книга А. Белого “На рубеже двух столетий” является, несомненно, одним из самых ярких образцов мемуарной литературы последнего времени... Яркие, красочные характеристики крупных и мелких людей, с которыми автор

встречался в детстве и в молодости, тянутся живой цепью талантливо вылепленных образов... Но соль мемуаров Белого, что это злая и талантливая сатира на профессорскую среду того времени. Вся цель его воспоминаний – показать пошлость этой среды, кричащее противоречие между мнимой высококультурностью людей науки и тем “бытиком”, в котором они погрязли с головой в своих “профессорских квартирках”, ограниченность господствовавшего среди высшей интеллигенции неглубокого либерально-позитивистического мировоззрения. Не он первый, впрочем, с этой стороны подошел к “жрецам” науки; напомним роман Сташкова “Жрецы”. Ново то, что автор себя хочет представить революционером, Геркулесом, борющимся с гидрой мещанства, взрывающим на рубеже двух столетий своим символизмом болото профессорского благополучия. И вот тут, мне кажется, слабая сторона мемуаров. Очевидно, Белый выносил чуть не с детских лет это противопоставление себя как символиста презируемой им среде; в этом был смысл его жизни, его литературной деятельности. Он был героем Ибсена, бросающим обществу перчатку. Такой взгляд на себя он взлелеял; он идеализировал, полюбил себя именно в роли такого ибсеновского героя. Возможно, что в конце 90-х годов, в начале 900-х годов, когда кругозор ограничивался очень узенькими рамками интеллигентного общества, такое построение имело свое основание. Но странно, что сейчас, после тех грандиозных социальных переворотов, которые перенес мир, Белый не чувствует ничтожность, ничкемость той борьбы, героем которой он себя мнит, и продолжает носиться с переживаниями бунтующего символиста. Что в сущности живописует он в своей книге? Небольшую размолвку в мелкобуржуазной интеллигентской среде предреволюционной эпохи, очередное столкновение отцов и детей... Автор продолжает бряцать оружием и восклицать “победихом!”, не замечая, что он сам является типичным представителем той среды, на которую он ополчается. В мелочности, в неумении подняться выше “бытика”, в стремлении довольно обычные в семьях разногласия расценивать как драму, разве во всем этом не чувствуется печать того же мещанства, которое он бичует с такой талантливостью. И когда со свойственным ему талантом он дает нам широкими мазками наряду с фигурами поистине пошлыми зарис-

совки таких крупных и ярких натур, как собственный его отец Бугаев, как Усов, Умов, Менабир, Тимирязев и другие, все выходцы из той же презируемой им среды, невольно закрадывается мысль, что “бытик” квартир не мешал развиваться выдающимся личностям, и вспоминается одна из героинь Белого, которая, “увидевши талантливое человека, подмигивала на... его... экскременты”⁴⁰.

Критический отзыв о книге Белого – это выступление Бахрушина в защиту дореволюционной «профессорской» культуры, признание в нежелании поддаваться на легковерное и поверхностное разоблачительство прошлого, столь характерное для духовной жизни в СССР послереволюционных лет. Судя по тетради «Table-talk», в поле зрения историка находились разные слои российской культуры – народная, представленная поверьями, заговорами, поговорками, архаизмами в семипалатинской речи, и верхушечная, западноевропейская по происхождению, в частности «профессорская». Одна интересовала его как живой след прошлого, к другой принадлежал он сам и дорожил ею, тревожился за ее судьбу, казалось, не сулящую ничего хорошего в будущем.

Тетрадь «Table-talk», составленная Бахрушиным в трудные годы семипалатинской ссылки, раскрывает читателю такой слой напряженной духовной жизни Бахрушина, о котором мы ничего бы никогда не узнали бы, не будь этой тетради в архиве ученого. Для биографии Сергея Владимировича – это драгоценнейший источник. «Table-talk» не только представляет читателю жизнь историка, разбитую на отдельные эпизоды, и его размышления над прошлым и настоящим, но и отражает черты эпохи, духовный облик и путь русского интеллигента в первой трети XX столетия.

Примечания

¹ Архив РАН. Ф. 624. Оп. 2. Д. 70. Л. 1–126а.

² *Тартаковский А.Г.* Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в. От рукописи к книге. М., 1991. С. 3.

³ I. Глава Александра II

II. С.М. Соловьев

III. Заговор против ружья

IV. Речь, посвященная памяти Ключевского

- V. Легенда о смерти Николая I
VI. Старец Федор Кузьмич
VII. Князь Владимир Михайлович Голицын. Фаворитка Александра II
VIII. Московские генерал-губернаторы
IX. Окончание университета
X. Поездка в Зарайск
XI. Лондонские дневники 1907 г.
XII. Лондонские дневники 1909 г.
XIII. 1901. Экзамен по логике
XIV. Домовой
XV. Студенческая экскурсия в Грецию в 1903 г.
XVI. По поводу книги А. Белого «На рубеже двух столетий»
XVII. Ледовитый океан. 1930
XVIII. Амстердам. 1909
XIX. Выборы в Московскую городскую думу в 1908
XX. Семипалатинская речь
XXI. Записки А.О. Россет
XXII. Елена Павловна
XXIII. Как сложилось мое историческое мирозерцание
XXIV. Краткая схема русской истории до XVII в.
XXV. Крым
XXVI. Татарское происхождение Бахрушиных
XXVII. Александр III
XXVIII. К.А. Алексеев
XXIX. Отзывы обо мне как об историке
XXX. Зарайск и Бахрушины
XXXI. Магистерские экзамены
XXXII. Из народных поверий
XXXIII. Слово о полку Игореве
XXXIV. Служение дервишей
XXXV. Заграничный дневник 1905 г.
XXXVI. «Встреча»
XXXVII. А.Ф. Тютчева и Александр II
XXXVIII. «Цикады» из Алкея
XXXIX. Александрова слобода
XL. Из Баратынского
XLI. Циклический процесс в истории
XLII. Хлебниковские экспромты
XLIII. Из «Rubaiyat» Омара Хайяма

- XLIV. Домовой
XLV. Поверие о мертвецах
XLVI. Название Семипалатинска
XLVII. И.А. Хворостинин
XLVIII. К студенческой экскурсии в Грецию
XLIX. Детское мышление
L. Университет 1901, 1903
LI. Из Миханла Акомината
LII. 1928. Вологда–Архангельск
LIII. Иван Грозный
LIV, LV. Семипалатинск 1930–1932
LVI. «Куда же смысл девался здравый»
LVII. Поговорки
LVIII. Конец речи «Москва в 1812 г.»
4 Архив РАН. Л. 170.
5 Часть этих заметок опубликована. См.: *Бахрушин С.В.* Из воспоминаний / Подгот. А.М. Дубровский // Проблемы социальной истории Европы: от античности до нового времени. Брянск, 1995. С. 141–174.
6 Архив РАН. Ф. 624. Оп. 2. Д. 70. Л. 53, 55, 57, 57 об., 59.
7 *Бахрушин С.В.* Из воспоминаний. С. 159.
8 Там же. С. 162.
9 Там же. С. 162–163.
10 Там же. С. 154.
11 Там же. С. 148, 149.
12 Там же. С. 150.
13 Там же. С. 151.
14 Там же. С. 157, 164–165.
15 Там же. С. 166.
16 Там же. С. 166–167.
17 Там же. С. 167–168.
18 Там же. С. 169.
19 Там же. С. 169–170.
20 Вера Дмитриевна Бахрушина, супруга Сергея Владимировича, не раз в беседах с автором этих строк говорила о том, что он был фаталистом. Ее слова, в которых отразились какие-то устные признания историка, вполне соответствуют содержанию и терминологии цитированного фрагмента из записок Бахрушина.
21 Архив РАН. Ф. 624. Оп. 2. Д. 70. Л. 31–32.
22 Там же. Л. 31.

- 23 Там же. Л. 2а.
- 24 Там же. Л. 115.
- 25 Там же.
- 26 Там же. Л. 114об.
- 27 Там же. Л. 35а–36б.
- 28 Там же. Л. 105.
- 29 Там же. Л. 114.
- 30 Там же. Л. 32.
- 31 См.: *Дубровский А.М.* С.В. Бахрушин и его время. М., 1992. С. 78–79.
- 32 Архив РАН. Ф. 624. Оп. 2. Д. 70. Л. 99.
- 33 Там же. Л. 88
- 34 См.: *Бахрушин С.В.* Труды по источниковедению, историографии и истории России эпохи феодализма (Научное наследие). М., 1987. С. 15–35.
- 35 Архив РАН. Ф. 624. Оп. 2. Д. 70. Л. 113–114.
- 36 Там же. Л. 98.
- 37 С.В. Бахрушин рассматривал новейшее по тому времени издание этих записок [*Смирнова-Россет А.О.* Автобиография (Неизданные материалы). М., 1931 (с предисловием Д.Д. Благого)].
- 38 С.В. Бахрушин мог пользоваться одним из двух близко по времени вышедших изданий: *Белый А.* На рубеже двух столетий. М.; Л., 1930; *Он же.* На рубеже двух столетий: Воспоминания. М.; Л., 1931.
- 39 Архив РАН. Ф. 624. Оп. 2. Д. 70. Л. 38.
- 40 Там же. Л. 30–31.

*М.В. Боровикова, Т.Т. Гузаиров,
Р.Г. Лейбов, М.А. Смержевских-Смирнова,
И.Д. Фрайман, Т.Н. Фрайман*

Русские мемуары в историко-типологическом освещении: к постановке проблемы

Д.В. Григорович начинает свои «Литературные воспоминания» следующей фразой: «В кругу русских писателей вряд ли много найдется таких, которым в детстве привелось встретить столько неблагоприятных условий для литературного поприща, сколько их было у меня». Далее речь идет о не замутненном трагедиями детстве автора, которого воспитывали мать и бабушка, обе – француженки; в сложности овладения русским языком, собственно, и состоят неблагоприятные условия, о которых сообщает автор, но эта тема в дальнейшем изложении никак не педалируется. Однако первая фраза сразу задает общую перспективу повествования: встречающий нас на первых страницах маленький мальчик, выучившийся русскому языку у дворовых людей, должен превратиться в автора, чье имя стоит на обложке – известного русского литератора, на закате дней пишущего мемуары.

Специфика любого мемуарного текста состоит в двойственности повествователя, являющегося в тексте одновременно в двух временах – настоящем (время написания) и прошедшем (время действия). Реалистическую литературу часто сравнивали с дагерротипом – фотографическая техника неслучайно активно развивалась в эпоху «физиологического очерка» и предъявляемых к литературе требований «правдивого воспроизведения действительности». Становившаяся в России именно в эту эпоху фактом литературы мемуарная проза парадоксальным образом ближе всего к антиподу фотографии – рисунку по памяти, когда требование достоверности сочетается с требованием индивидуальности, субъективности.

Эта особенность мемуаров роднит их с лирическими жанрами (ср. жанр лирического «воспоминания» и встречавшиеся уже в XIX в. лиро-эпические стихотворные тексты, игравшие по сути роль мемуаров), с их особыми приемами построения повествования. Поэтому мемуарная литература должна изучаться как в ряду исторических источников, так и в более широкой перспективе литературных жанров.

Нами предпринята попытка построения внутрижанровой типологии мемуаров. До настоящего времени такая типология не была построена, хотя мемуары и становились объектом источниковедческого, исторического и литературоведческого анализа¹. Из предшествующих исследований для нас наиболее существенными являются книга Л.Я. Гинзбург «О психологической прозе», фундаментальные монографии А.Г. Тартаковского «1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковедческого изучения» (1980), «Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в.: От рукописи к книге» (1991), «Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века» (1997), а также его статья «Мемуаристика как феномен культуры»². Специально останавливаться на истории изучения мемуаристики мы не будем, поскольку она подробно освещена в работах Тартаковского. Мы не стремились охватить все возможные источники и рассматривали преимущественно литературные мемуары. Как кажется, мемуары представителей других социальных и профессиональных групп будут менее разнообразны в отношении приемов повествования.

Тартаковский исследовал генезис русских мемуаров и дал описание жанра в диахронии. Он также рассмотрел культурно-исторический статус мемуаристики в русском общественном сознании XIX в. Таким образом решались задачи первоначального описания жанра в исторической перспективе, но задачу построения внутрижанровой типологии исследователь перед собой не ставил.

В исследовательской традиции существуют расхождения в определении хронологических и жанровых границ мемуаров. Мемуары, как правило, исследуются в ряду других жанров документальной литературы, отграниченность которых от художественных текстов кажется достаточной для того, чтобы свободно оперировать этим жанровым опре-

делением. Между тем нельзя не обратить внимания на неопределенность жанровых границ внутри документальной литературы. (Ср., например, состав вышедшей в 1999 г. книги «Жуковский в воспоминаниях современников», в которой наряду с мемуарами публикуются эпистолярные тексты³).

При обращении к конкретным мемуарам исследователь зачастую сталкивается с трудностями в определении жанровой природы текста и места внутри системы жанров. Эти трудности обусловлены синтетичностью мемуаров и общей теоретической, равно как и терминологической, неразработанностью вопроса. Граница между художественной и документальной литературой нуждается в постоянном культурном осмыслении.

Мемуары – нехудожественное повествование, предполагающее доминанту нефикциональности. При этом повествователем является конкретный индивидуум. Вследствие такого сочетания вымышленности и субъективности мемуары помещаются между историческим повествованием и беллетристикой.

Возникновение мемуаров связано с появлением потребности в историческом повествовании, не преломленном через авторитет: свидетельство очевидца или участника событий приобретает отдельную ценность именно как личное свидетельство, выделяясь из общего исторического повествования. Потребность читателя в подобного рода текстах позволяет нам говорить о выдвигаемой в системе культуры специфической мемуарной функции. Функция мемуаров заключается в удовлетворении потребности читателя в индивидуализированной и достоверной исторической информации. Установка на достоверность является обязательной для мемуарного текста.

Функция источника, которую выполняют мемуары, обслуживается и другими жанрами, в частности дневниками и эпистолярием. Однако исследовательская традиция не всегда разграничивает разные типы документального повествования, несмотря на принципиальную разницу в позиции повествователя. По заданному в жанре временно-му разрыву между повествованием и действием, а также по ориентации не на конкретного адресата (как в переписке) и не на автокоммуникацию (как в дневниковом жанре), мемуары безусловно должны рассматриваться отдельно. Они,

впрочем, могут строиться по модели дневников, имитируя отсутствие дистанции между моментами действия и говорения. Таким образом повышается степень предполагаемой достоверности текста (ср. «Записки современника» С.П. Жихарева и мемуары Н.В. Кукольника).

В отличие от дневников мемуары гораздо активнее взаимодействуют и соприкасаются с жанрами художественной литературы⁴. Фикциональность, которая в прозе мотивируется вымыслом, в мемуарах, с одной стороны, является их признанным недостатком (ошибки памяти), с другой – входит в горизонт читательских ожиданий и может включаться в авторский замысел⁵.

Элементы документальности вовсе не исключаются, когда речь идет о художественных жанрах. Достаточно вспомнить о реальных персонажах в «Евгении Онегине». Они присутствуют не только в авторских отступлениях («второй Чадаев, мой Евгений» или «как Дельвиг пьяный на пиру»), но и в сюжете (исторический Каверин ждет вымышленного Онегина в модной ресторации). По предположению Ю.М. Лотмана, десятая глава «Евгения Онегина» представляет собой имитацию мемуаров – записок Онегина: здесь реальные и исторические персонажи вводятся в речь героя романического повествования.

Широкое распространение мемуарного жанра в XIX в. способствовало появлению мнимых мемуаров (одни, как «Посмертные записки старца Феодора Кузьмича» Л.Н. Толстого, будут чистой беллетристикой в форме мемуарного текста, другие, как «Записки Омер де Гелль» П.П. Вяземского, станут выполнять функцию мемуаров реальных. О фальсификации можно говорить только тогда, когда такая установка сознательно предусматривается подлинным автором текста).

Мемуарная функция присутствует в культуре всегда. Ее могут осуществлять тексты самых разных жанров, в том числе и устных (ср., например, практику рассказывания в деревне: старухи повторяли истории по заказу, эти повторения неоднократны). Явно связаны с этой разновидностью устных «мемуаров» ахматовские «пластинки» (истории, рассказываемые автором почти в неизменном виде для разных слушателей. Об этом говорится в воспоминаниях А. Наймана).

Однако не всегда тексты с доминирующей мемуарной функцией поднимались до уровня издаваемых и широко распространенных. Так, многие русские мемуары XVIII в. публиковались в XIX в.

Произошедшие в России в середине XVII – начале XVIII в. культурные сдвиги обусловили актуализацию категории авторской личности. Создаются предпосылки для появления автобиографии как разновидности мемуарного жанра. Возникают автожития, которые можно рассматривать как протомемуары (ср. автожития Елеазара Анзерского и протопопа Аввакума). Основание для подобного рассмотрения – превращение в автожитии собственных воспоминаний в некоторый сюжет и переход «базовых» сюжетов, являвшихся моделью для описания своей жизни (пророк, грешник, странник и др.), в более позднюю традицию.

С другой стороны, в рассматриваемую эпоху появляется сугубо документальный жанр свидетельских показаний: собирались рассказы очевидцев событий, рассказы группировались в зависимости от объекта повествования и публиковались (например, свидетельства участников военных действий – «Гистория Свейской войны»).

Таким образом, вырисовываются две линии мемуаров с точки зрения генезиса: одна восходит к юридическим документам (свидетельские показания), вторая ориентирована на житейскую традицию в перспективе русской культуры и на обширные переводные автобиографические тексты («Мемуары» Сен-Симона и другие французские тексты XVII–XVIII вв., рассматривавшиеся русскими читателями как жанр беллетристики).

Значимость мемуаров, восходящих к юридическим документам, оправдывается не биографией автора, а фиксируемыми им событиями. С другой мемуарной линией дело обстоит как раз наоборот: значимость личности и биографии мемуариста обосновывает его право на говорение о себе.

Эти две линии дают два основных типа мемуарных текстов, которые можно обозначить как объектно-ориентированный и субъектно-ориентированный. Они противопоставлены друг другу и по нарративной организации: в объектно-ориентированных мемуарах нарратив строится вокруг объекта повествования, в субъектно-ориентированных – вокруг субъекта, автора.

Русская мемуарная традиция насчитывает по меньшей мере три столетия. В XVIII в. начал складываться мемуарный канон, но мемуары еще, как уже было сказано, не предназначались для публикации, не говоря уже о широком распространении. В XIX в. появилась традиция публикаций: 1812 год задал отношение к современности как к истории, а массовое вовлечение образованных слоев общества в описываемые события имело результатом увеличение количества мемуарных текстов⁶ (об этом подробно пишет А.Г. Тартаковский).

Для развития мемуарной литературы в XIX в. важную роль сыграло становление реалистических жанров в литературе. Значимой вехой в истории жанра стала эпоха реформ, «гласность»: если до этого происходило накопление «критической массы» мемуаров, то затем начинается волна публикаций. Мемуары захватывают не только основные исторические журналы («Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник»), но и русскую периодику в целом.

В конце XIX – начале XX в. дистанция между временем рассказа и временем действия сокращается настолько, что ломается традиция мемуаров и появляются гибридные жанры, например «роман с ключом». На мемуарные тексты начинают влиять эстетика и идеология модернизма; понятие реальности размывается, а представление об историческом значении современности выходит на первый план.

Ранняя советская эпоха характеризуется всплеском «некрологических» мемуаров. Это вызвано не только рядом смертей, вполне закономерно сопутствовавших великим катаклизмам (Л. Андреев, Блок, Гумилев), но и историческим сломом: отчуждение от недавнего прошлого (разрушение старого мира) дает возможность писать о недавнем прошлом в плюсквамперфекте. Название мемуарного цикла Вл. Ходасевича – «Некрополь» демонстрирует отрефлексированность этой особенности. У мемуаристов-эмигрантов временная граница дополняется (заменяется) пространственно-политической.

В советской подцензурной литературе 1930–1950-х годов устанавливается «неожитийный», биографический и соответственно мемуарный канон, влияющий не

только на создаваемые в то время мемуары, но и на отбор старых мемуарных текстов, предназначенных для публикации. Ослабление цензурного давления в конце 1950-х годов вновь, как и за 100 лет до того, способствует расцвету мемуарного жанра. Это связано и с общей тенденцией к реабилитации культурных фигур 1920–1930-х годов, вычеркнутых из официальной истории («Люди Годы. Жизнь» И. Эренбурга, «Повесть о жизни» К. Паустовского и др.). Мемуарные тексты активно функционируют и в неподцензурной литературе – «тамиздате» и «самиздате» (воспоминания Н.Я. Мандельштам, «Крутой маршрут» Е. Гинзбург).

Обширный корпус русских мемуаров можно классифицировать по разным параметрам. Типы представлений об истории диктуют выбор стратегии повествования: если описываемые события выглядят в сознании автора как ординарные, повторяющиеся, избирается дескриптивная стратегия, в случае изображения экстраординарных событий усиливается сюжетная составляющая текста, т. е. избирается нарративная стратегия. В дескриптивных мемуарах силен историко-этнографический пласт. Яркий пример нарративных мемуаров – исторический анекдот (короткая история с четким сюжетом и финальным пуантом).

Для анекдота характерно повествование о конкретном событии (анекдоты часто начинаются с указания на время события, в зачинах – слова «однажды» и «как-то»), основное грамматическое время – прошедшее совершенное. Противоположность этому – дескриптивные мемуары: даже если они ориентированы на изображение отдаленного временного промежутка, ситуация в них изображается суммарно. Это входит в конвенцию, читатель ожидает именно такое повествование. Основные слова-маркеры повествования такого типа – обстоятельственные наречия (темпорально-аспектуальные спецификаторы) «часто», «обыкновенно», «всегда», «иной раз», «иногда» и т. п. и несовершенный вид глаголов прошедшего времени. Для примера приведем эпизод из «Старой записной книжки» П.А. Вяземского, содержащий описание образа жизни Карамзина:

«Он вставал довольно рано, натошак ходил гулять пешком или ездил верхом в какую пору года ни было бы и в какую бы ни было погоду. Возвратясь, выпивал две чашки кофе, за ним выку-

ривал трубку табаку (кажется, обыкновенного кнастера) и садился вплоть до обеда за работу, которая для него была также пища и духовная и насущный хлеб. За обедом начинал он с вареного риса, которого тарелка стояла всегда у прибора его, и часто смешивал его с супом. За обедом выпивал рюмку портвейна и стакан пива, а стакан этот был выделан из дерева горькой Квассии. Вечером, около 12-ти часов, съедал он непременно два печеных яблока. Весь этот порядок соблюдался строго и нерушимо, и преимущественно с гигиенической целью: он берег здоровье свое и наблюдал за ним не из одного опасения болезней и страданий, а как за орудием, необходимым для беспрепятственного и свободного труда»⁷.

А вот как описывается московский бульвар в июне 1812 г. в воспоминаниях А.Г. Хомутовой «Москва в 12 году»⁸.

«...Тревожные толпы в мрачном настроении проходили по нем, прислушиваясь к речам говорунов... <...> Н.Н. Демидов, в коротком плаще, из-под которого были видны его вышитые панталоны, шел с грустным видом, совершенно расстроенный, испускающая вздохи – не все однако о бедствиях отечества. В.П. Бахметьев, в изящном костюме, устремлялся вслед за ним со своими племянницами и дочерьми, свеженькими цветочками <...> но которым суждено было скоро погибнуть. Оне кокетливо кивали головой князю Николаю Гагарину, который в небрежной позе сидел на скамейке, не слушая болтовни семенившего около него Бартенева. Вяземский порхал около хорошеньких женщин, мешая любезности и шутки с серьезными тогдашними толками. Василий Пушкин подвигался за ним тяжелым шагом; его широкое добродушное лицо выражало полнейшую растерянность; впервые, при разговоре о Наполеоне, он не решился рассказать, как имел счастье представляться ему. В обществе господствовала робкая, но глухая тревога...».

В приведенном отрывке характерна смена вида глагола при вставке в «суммарный» описательный текст бытовавшего в 1812 г. анекдота о Василии Львовиче Пушкине⁹. Как мы видим, разные принципы повествования могут варьироваться на протяжении одного текста, даже на субфразовом уровне.

Следует отметить, что, казалось бы, формальный критерий длины текста оказывается критерием содержа-

тельным. Разделение мемуарных текстов на «длинные» и «короткие» напрямую соотносится с жанрами художественной прозы. На одном полюсе находятся очерк или новелла, а на другом – крупный эпический жанр. (На неразрывную связь психологической прозы и мемуаров указывала Л.Я. Гинзбург. Когда в XIX в. складывается канон обширных мемуарных текстов, то он взаимодействует с основным современным ему прозаическим жанром – романом¹⁰.)

«Короткие» мемуары, в зависимости от их ориентации на нарративный или дескриптивный модус повествования, взаимодействуют с жанром новеллы или очерка (например, биографического; так, указывая в качестве жанрового образца на Ретифа де ла Бретона, строит «Капище моего сердца» И.М. Долгорукий). В первом случае повествование оправдывается увлекательностью излагаемого сюжета, во втором – точностью или яркостью в изображении деталей.

Новеллистические или очерковые мемуарные фрагменты могут объединяться в более обширные тексты путем «склеивания». Иногда весь текст строится именно как ряд эпизодов (с промежуточными фразами, призванными заполнить хронологический разрыв: «прошло три года» или «в следующий раз мы встретились уже в Париже»; выбор такой формы повествования зависит от жанрово-тематической природы текста). В крупном жанре, соединяющем автобиографическое хронологическое повествование с историко-философской рефлексией (лучше всего описанном заглавием эпопеи Герцена) введение новеллистических эпизодов или анекдотов часто выполняет иллюстративную функцию, подтверждая обобщающие суждения или характеристики автора мемуаров.

Можно выделить разные виды текстов в зависимости от того, апеллирует ли мемуарист к собственным воспоминаниям о событиях (прямые мемуары) либо пересказывает чужие свидетельства (непрямые). Возможен тип записи чужих устных рассказов с указанием автора; в этом случае автор-посредник выполняет роль редактора (может дополнять, уточнять, придавать связность рассказу). Промежуточный рассказчик (тот, кто фиксирует чужие тексты) может сознательно устранять себя из текста как субъект

повествования (см. «Рассказы бабушки» Д. Благово). Если же он не устраняется (например, когда чужой рассказ инкорпорируется в собственный текст), существенным является указание на достоверность или недостоверность передаваемых рассказов, соответственно на авторитетность или неавторитетность их автора.

Внутри прямых мемуаров можно выделять два полюса в зависимости от степени вовлеченности автора в описываемые события. На одном полюсе находятся, например, тексты, написанные с точки зрения стороннего наблюдателя, на противоположном – тексты, автор которых максимально вовлечен в события. На уровне текста это может сопровождаться смещением точки зрения (введение интроспекции, совмещение точки зрения повествователя и героя. Так, в «Записках» Е.А. Сушковой точка зрения автора сближается с точкой зрения всезнающего романного повествователя).

Возможна классификация мемуарных текстов и по типу объекта. Предварительно можно выделить три типа воспоминаний – *о событиях, о времени, о лице*. При этом второй тип будет синтетическим, сочетая воспоминания и о лицах, и о событиях, приписываемых определенному временному промежутку (ср., например, «Замечательное десятилетие» П.В. Анненкова).

Соотношение субъекта и объекта повествования также может служить основанием для выделения разных видов мемуарных текстов. Можно классифицировать мемуары по типу амплуа, набор которых существует в социальной практике эпохи и описывается в понятиях общественной, возрастной, семейной иерархии: учитель–ученик, взрослый–ребенок, начальник–подчиненный. Один из примеров – короткие, новеллистического типа, воспоминания о Николае Павловиче; о его государственной, официальной деятельности рассказывают преимущественно мужчины – военные, чиновники, о частной жизни – женщины, придворные дамы (Михаил Соколовский рассказывает об участии Николая в юридических процессах¹¹, А. Соколова – о приватной жизни Николая, его домашнем времяпрепровождении¹²). Принципиальную роль играет соотношение известности/неизвестности субъекта и объекта воспоминаний: мемуары об известных людях

обычно ориентированы на сложившийся образ этих людей в культурной памяти аудитории. Отдельную группу текстов составляют мемуары «о былой любви» (ср., мемуары А.П. Керн о Пушкине или Е.А. Сушковой о Лермонтове), а также «детские» мемуары (воспоминания ребенка о взрослом или воспоминания о детстве великого человека).

Переломным этапом в эволюции мемуарного жанра является переход от текстов, функционирующих преимущественно в семейном и дружеском кругу в рукописной форме, к мемуарам, ориентированным на публикацию. Отношение автора к изданию своих воспоминаний является важным структурным признаком текста. Представляется возможным обозначить два основных направления в отношении мемуариста к этой проблеме:

1. При написании текста воспоминаний автор учитывает возможность его публикации.

2. Вопрос о публикации не становится предметом отдельной рефлексии автора.

В первом случае можно выделить несколько подтипов мемуаров:

1) тексты, ориентированные на посмертную публикацию, что, как правило, определяет этическую позицию автора по отношению к информации, содержащейся в тексте (объектные мемуары с описанием конкретных (известных) лиц, в том числе и самого автора; например, воспоминания бывших возлюбленных или описывающие чьи-то интимные отношения. В этом случае текст может исключать из читательской аудитории определенных лиц. Особо выделяются случаи публикации таких текстов без согласия автора;

2) тексты, ориентированные на прижизненную публикацию. Такие тексты по-разному могут структурировать свою аудиторию, но в любом случае имеет место ее иерархическое деление: участник; свидетель; читатель, информированный об описываемом событии из других источников (устные/письменные); читатель, минимально информированный о событиях.

Актуальными параметрами в данном случае могут являться место и время публикации, которые способны провоцировать диалогические отношения между данным текстом и предыдущими публикациями, а также вызывать возникновение ряда полемических текстов, в том числе ме-

муарных. Полемический элемент иногда заявлен самим автором, а иногда присутствует в тексте имманентно (например, «Мой лунный друг» З. Гиппиус)¹³.

Среди таких текстов особое место занимают мемуары с четко осознанной причиной их возникновения: а) некрологические мемуары; мемуары, восходящие к традиции торжественного красноречия (например, мемуарный текст, инкорпорированный в речь М.П. Погодина на обеде, данном в его честь¹⁴), а также мемуары, написание которых спровоцировано обостренным ощущением финальности предыдущего жизненного отрезка и необходимостью обнародовать эту финальность (например, эмиграция, революция, переворот и т. д.); б) мемуары, претендующие на перлокутивный эффект, т. е. на прямую реакцию аудитории. Сюда в той или иной степени относятся мемуары, написанные с целью создания репутации. Это может быть, например, вписывание себя в определенный контекст или выражение лояльности по отношению к государству. Возможна крайняя степень такой прагматики – мемуары, пишущиеся ради продвижения по службе. (Другой пример – воспоминания Цветаевой о Бальмонте, которые заканчиваются прямым призывом к оказанию помощи Бальмонту.)

Сочетание невымысленности и субъективности предполагает возможность нескольких описаний одного и того же события. Приведем цитату из мемуаров В. Яновского «Поля Елисейские»: «И пусть живописания часто искривляются, подчиняясь законам искаженной (личной) перспективы. Чем больше таких субъективных свидетельств, тем образ полнее. Так, два глаза воспроизводят предмет выпукло»¹⁵. Рефлексия над этой особенностью жанра приводит авторов к осознанию вариативности собственного текста, что зачастую может становиться предметом отдельных рассуждений в метаописательных фрагментах текста.

Наиболее ярко идея вариативности выражена в том случае, когда субъективные точки зрения различных вариантов совместятся в произведении одного мемуариста (как это, например, происходит в двух редакциях «Воспоминаний о Блоке» А. Белого); хотя следует отметить, что «переписывание» мемуаров зачастую связано с цензурными запретами.

Отдельных замечаний заслуживает проблема временной дистанции между событием и временем его описания. Идея финальности, лежащая в основе мемуарного жанра, позволяет предположить, что особо значим временной промежуток между окончанием описываемого периода и моментом написания. Здесь возможны две противопоставленные друг другу группы текстов: мемуары, перетекающие в дневники, т. е. доходящие в своем рассказе о событиях до момента повествования, «сейчас»; мемуары со строго осознанной границей между «сейчас» и «тогда». Маркерами такой границы в тексте могут выступать высказывания типа «думал ли я тогда, что буду писать об этом мемуары».

В заключение укажем на темы, которые остались незатронутыми, но которые необходимо учитывать при описании истории жанра и отдельных текстов.

Специального рассмотрения требует проблема канонических мемуаров. Речь идет, с одной стороны, о жанровом каноне, задаваемом наиболее авторитетными текстами (образцом такого текста является автобиографическая эпопея Герцена), а с другой – о «тематических» канонах – признанных наиболее достоверными/авторитетными текстах, посвященных тому или иному времени, лицу или событию. Введение в культурный обиход новых мемуарных текстов при наличии «канона» всегда осуществляется на его фоне.

Мемуары необходимо исследовать не только на основании источниковедческого критерия «достоверность/недостоверность» (учитывающего осведомленность автора, его объективность, временной промежуток между действием и созданием текста и другие факторы), но и на основании безоценочного анализа поэтики мемуарного текста. Здесь помимо отмеченных нами особенностей, связанных с использованием глагольных времен, следует обращать внимание на другие способы выражения точки зрения. Особого внимания заслуживают автометаописательные фрагменты (часто приуроченные к зачинам текстов) и другие способы преодоления временного разрыва между «я»-рассказчиком и «я»-персонажем.

Мы попытались указать на параметры, существенные для типологического описания мемуаров. Нам представляется, что при анализе мемуаров следует активно использо-

вать филологическую методику анализа текста (в том числе на низших уровнях структуры). Сказанное, впрочем, относится и к другим нехудожественным жанрам словесности.

Примечания

- ¹ Ср. опыт описания жанровой специфики мемуаров, представленный в коллективных тезисах: *Александрова Т., Билинскис М., Зуева С. и др.* Жанровые и текстовые признаки мемуаров // *Материалы XXII научной студенческой конференции. Поэтика. История литературы. Лингвистика.* Тарту, 1967. С. 127–133.
- ² *Тартаковский А.Г.* Мемуаристика как феномен культуры // *Вопр. литературы.* 1999. № 1. С. 35–55.
- ³ В.А. Жуковский в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста, вступ. ст. О.Б. Лебедевой и А.С. Янушкевича. М., 1999.
- ⁴ Об отрефлексированности этой тенденции мемуаристами свидетельствует использование жанровых дефиниций художественной прозы в качестве заглавий текстов воспоминаний, например «Повесть о великой разлуке» А. Амфитеатрова (1922), «Роман моей жизни» И. Ясинского (1926), «Роман без вранья» А. Мариенгофа (1927), «Повесть о разуме» М. Зощенко (1943), «Повесть моей жизни» (опубл. 1985) В. Зеева-Жаботинского, «Повесть о жизни» К. Паустовского (1966). При этом использование заглавий, отсылающих к смежным с воспоминаниями жанрам документальной литературы, призванных, на первый взгляд, повысить степень достоверности описания, в действительности лишь подчеркивает «литературность» мемуаров (ср., например, «Дневник моих встреч» Ю. Анненкова, в котором автор даже не пытается имитировать дневниковые записи, или «Зоо. Письма не о любви» В. Шкловского, где в конце книги автор разоблачает фиктивность использованной им эпистолярной формы).
- ⁵ Исследовательское противопоставление «мемуаров» и «автобиографической прозы» касается чаще всего не специфики объекта, а специфики взгляда исследователя. Один и тот же текст, взятый в функции источника, может причисляться к мемуарам, а описанный с точки зрения имманентной поэтики – к разряду художественной прозы. Мы принципиально не противопоставляем мемуары и ав-

тобиографическую литературу, признавая при этом, что термины отражают двойственную специфику объекта.

- 6 Подробнее об этом см.: *Тартаковский А.Г.* 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980.
- 7 *Вяземский П.* Старая записная книжка. М., 2000. С. 177–178.
- 8 Русский архив. 1891. Ч. 29. № 11. С. 312–313.
- 9 О В.Л. Пушкине в 1812 г. см. в статье: *Лейбов Р.* 1812: две метафоры // Тр. по русской и славянской филологии. Литературоведение. II (Новая серия). Тарту, 1997. С. 76–78.
- 10 Ср. также высказывание Льва Лосева в предисловии к публикации воспоминаний Е. Шварца: «Нам кажется, что в основном мемуары суть разновидность одного из жанров художественной прозы, а именно романа. Любое мемуарное произведение – это роман, в котором в качестве материала использованы не фиктивные, а реальные события. Разновидности мемуаров легко различимы по тем же структурным принципам, что и разновидности романов: мемуары монологические (в основе – судьба, карьера героя-автора, развитие его отношений с миром...), мемуары полифонические (в основе – многие образы-голоса; 2-й и 3-й тома “Былого и дум”, “Люди. Годы. Жизнь” Эренбурга), мемуары эпические (в основе – ход времени, портрет эпохи: 1-й том “Былого и дум”, отчасти “На рубеже двух столетий” Белого), мемуары орнаментальные, “с установкой на выражение”, пользуясь формалистским жаргоном (Паустовский, Катаев)» (*Лосев Л.В.* Мемуары Е.Л. Шварца // Шварц Е.Л. Мемуары. Paris, 1982. С. 18–19).
- 11 *Соколовский М.* К характеристике императора Николая Павловича // Николай Первый и его время (документы, письма, дневники, мемуары, свидетельства современников и труды историков). М., 2000. С. 213–224.
- 12 *Соколова А.И.* Император Николай Первый и васильковые дурачества // Николай Первый и его время С. 224–233.
- 13 Показательно обилие полемических откликов на последние публикации, посвященные С.Д. Довлатову – автору, активно работавшему в жанрах, смежных с документальной литературой. Это не только «несвоевременные мемуары», как, например, книга Аси Пекуровской «Когда случилось петь С. Д. и мне» (СПб., 2001), но и публикации писем

(см. скандальную публикацию переписки Довлатова с И. Ефимовым).

¹⁴ *Погодин М.П.* «Речь Погодина на обеде, данном в его честь» // *Жуковский в воспоминаниях современников.* С. 467–470.

¹⁵ *Яновский В.* Поля Елисейские. СПб., 1993. С. 11.

Ц 40 **«Цель непрерывного предания...»:** Сборник памяти А.Г. Тартаковского/Сост. В.А. Мильчина, А.Л. Юрганов.

Серия «История и память». М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2004. 361 с.

ISBN 5-7281-0063-3

А.Г. Тартаковский, памяти которого посвящен сборник, был в первую очередь исследователем Отечественной войны 1812 г. и русской мемуаристики XVIII – первой половины XIX в. Поэтому естественно, что в книгу вошли статьи о борьбе генеральских группировок в 1812 г., о наполеоновских войнах в мемуарных очерках Фаддея Булгарина. Однако проблема достоверности изображения прошлого в литературных произведениях и человеческих документах – вечная. Потому в сборнике эти вопросы рассматриваются на широком материале – от «Исповеди» Блаженного Августина до дневников русского историка XX в. С.В. Бахрушина, от донесений русских дипломатов, служивших во Франции накануне Июльской революции 1830 г., до мемуаров русских высокопоставленных чиновников, готовивших реформу 1861 г. Все статьи основываются на неопубликованных архивных материалах либо на новом прочтении известных литературных текстов.

ББК 63.3(0)я43

Ц40

Научное издание

«Цепь непрерывного предания...»

Сборник памяти А.Г. Тартаковского

Редактор
С.М. Пчеляная

Художественный редактор
М.К. Гуров

Корректоры
Т.М. Козлова, А.И. Сорнева

Технический редактор
А.Ю. Ефимова

Компьютерная верстка
Н.Н. Аксеновой

Лицензия ИД № 55992, выд. 05.10.2001.

Подписано в печать 15.12.03

Формат 84x108¹/32.

Усл. печ. л. 19,1.

Уч.-изд. л. 20,0.

Тираж 1000 экз.

Заказ № *22*

Издательский центр РГГУ.
125267, Москва, Миусская пл., 6.
Тел. 973-4200.

**«ЦЕПЬ НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕДАНИЯ...» —
ВЫРАЖЕНИЕ БИБЛИОГРАФА XIX ВЕКА
М. Н. ЛОНГИНОВА,
КОТОРОЕ ЛЮБИЛ ЦИТИРОВАТЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ РУССКОЙ
МЕМОАРИСТИКИ XVIII—XIX ВЕКОВ
АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ТАРТАКОВСКИЙ**

**В СБОРНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЕГО ПАМЯТИ,
ВОШЛИ СТАТЬИ, НА САМОМ ШИРОКОМ
МАТЕРИАЛЕ ИССЛЕДУЮЩИЕ СПОСОБЫ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОШЛОГО
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
И ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ**

